

# РОМАН СЕНЧИН ПЕТЛЯ

СОВСЕМ НОВАЯ ПРОЗА

— И что, — спросил, —  
я должен как бы  
погибнуть, а потом  
воскреснуть?

РОМАН СЕНЧИН

# ПЕТЛЯ

СОВСЕМ НОВАЯ ПРОЗА



ИЗДАТЕЛЬСТВО

**АСТ**

МОСКВА

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С31

Художник — *Владимир Мачинский*

**Сенчин, Роман Валерьевич.**  
С31      Петля [повесть, рассказы] / Роман Сенчин. —  
Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шу-  
биной, 2020. — 384 с. — (Актуальный роман).

ISBN 978-5-17-122137-9

«Тема этой книги — перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая людей в среднем возрасте. Добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, они чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Он вторгается в границы чужого опыта с серьёзным намерением его прожить — да ещё в самых тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах» (*Валерия Пустовая*).

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-122137-9

© Сенчин Р.В.  
© ООО «Издательство АСТ»

# Моглось

**Х**очется написать: «такого Сенчина мы ещё не знали», — но это неправда: перед нами рывок писательского таланта к новой зрелости.

Тема этой книги — перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая людей в среднем возрасте, которые, именно добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Таков и сам Роман Сенчин в этой книге, и его герои, в которых нам хочется по инерции видеть альтер эго автора. Однако в этих рассказах мастерство Сенчина-реалиста достигает такой пристальности и зоркости, что помогает рассмотреть ключевой сюжет в опыте не просто чуждом — а принципиально закрытом от подглядывания.

Тот, кто годами ждал просвета в творчестве этого писателя, сможет найти здесь долгожданную альтернативность жизненных сценариев. Теперь его герои получают не только возможность — но и умение выбирать. Даже узнаваемое, фирменное сенчиновское «все мы буд-то спим» — уже не приговор, а образ такого общения, которому не нужны слова.

На место типологии пришёл тонко настроенный психологизм: автор внимательно уточняет причины реплик и реакций героев, показывая, как мелкая моторика души рассинхронизируется с программными установками разума.

Мазохистское самокопание обратилось в желание по-настоящему услышать себя. «Хотелось» — в этом слове раньше был лишь вялый вздох сожаления, теперь же в нём — порыв что-то сделать, и героям Сенчина правда удаётся если не добиться желаемого, то по крайней мере покончить с тем, что стало невоготу.

Но перемены здесь — не возрастной фетиш, а концепт, всесторонне исследованный в художественной лаборатории. Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Начиная как один из ведущих авторов исповедальной прозы и опять расписавшийся в преданности литературе «честной и искренней», он помещает свидетельство в токсичный контекст, по действию сравнимый с постмодернистской иронией.

Новая искренность Сенчина изливается из столь разных источников, а новая честность приводит к таким противоречивым выводам, что исповедь превращается в эксперимент. Это правда, помноженная на контекст.

В каждом рассказе открываются по три и больше контекста, среды восприятия: некоторые проговорены прямо и безыскусно, об иных приходится делать выводы, а какие-то введены цитатами — причём факты истории, культуры и фактография чужой жизни цитируются на равных основаниях.

При этом соседствующие рассказы и сами играют значениями друг друга: вроде бы твёрдо усвоенный нами опыт перемен опровергается в следующем тексте с зеркальным, едва ли не пародийно похожим сюжетом.

И более того: в книге есть рассказы, реалии которых исключают исповедь или тормозят её. Самый опасный

трюк исполняет автор, вживаясь в своего коллегу и современника, — не названного, но легко узнаваемого по цитируемым постам из «Фейсбука» журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Вывести в прозе известную фигуру, особенно в сатирическом духе, — приём распространённый. Но Сенчин вторгается в границы чужого опыта с серьёзным намерением его прожить — да ещё в самых тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах: он реконструирует подвижки в идейных мотивах, подробности быта политического эмигранта и, наконец, скандальную инсценировку покушения. А всё для того, чтобы постичь ценность перемен и в таком масштабе: ввиду реального риска утраты и родины, и верности себе, и жизни.

И даже в тех рассказах, где Сенчин с полным правом свидетельствует о своих мотивах и личной жизни, он рискует куда больше, чем раньше: это исповедь «в реальном времени» — как пишет он о новом счастье, особенно цепком к настоящему ввиду такого же, в реальном времени, страха, что там, за гранью «здесь и сейчас», всё опять переменится и рассыплется.

Никогда ещё в героях Сенчина, не исключая образ его самого, я с такой охотой не узнавала себя. Диалогичность, многослойность, тонкий слух к нюансам и оговоркам, наконец, полный смысловой оборот, который совершает здесь концепт «перемен»: от другой семьи до предощущения смерти, — эти особенности его прозы располагают и читателя к отзывчивости и открытости. И хотя новый Сенчин не раз обманывает наше доверие, за это чувствуешь только благодарность. Ведь книга с такой убедительностью показывает, как тягостно жить, уставившись в одну точку зрения.

*Валерия Пустовая*



# Немужик

## 1

Аркадий боялся родного города — сразу всё вспоминалось. Он был особенным ребёнком, и его часто били, теперь он стал особенным человеком, и его уважали. Уважали во многих городах России и мира. Были те, кто гордился им в родном городе, но, как только Аркадий попадал сюда или хотя бы представлял, что попал, сразу начинало потряхивать от воспоминаний. Нехороших.

А город к себе тянул. Тянул так сильно, что приходилось срываться и ехать.

Он находился на Урале. Принято уточнять — на Среднем Урале. Считался старинным, хотя от старины — восемнадцатого-девятнадцатого столетий — сохранился лишь пятачок на берегу запруженной речки Капухи. Заводское управление, склады, сам завод из багрового кирпича — всё это теперь превращено в музейный комплекс. В основном же были дома сороковых и пятидесятых годов. Огромные, облицованные керамическими плитами, с лепниной, статуями на крышах.

Многие статуи разрушились, и торчали лишь ноги с частью туловища, и это пугало ещё в детстве, рождало в воображении жуткие истории про окаменевших людей. Эти люди хотели жить вечно, забрались на крыши, чтоб ближе к небу, стали каменными, но дождь, мороз, ветер оказались сильнее камня...

Улицы непомерно широки для размеров города. Не улицы, а настоящие проспекты. Правда, короткие. В центре площадь с памятником Ленину, от которой расходятся в четыре стороны света четыре проспекта. Проходишь по любому из них буквально пятьсот — семьсот метров, и вот вместо красивых домов — гаражи, ангары, ремонт машин... Проспекты превращаются в трассы, по обочинам которых — тайга или болота.

При Петре Первом на месте будущего города поставили медеплавильный завод, Капуху перекрыли плотинами; вокруг завода, конечно, настроили жилищ для рабочих.

В те времена подобных заводов по Уралу были чуть ли не сотни: железоделательные, чугунолитейные, медеплавильные, металлургические. Появился даже термин «горнозаводская цивилизация»; писатель Иванов написал о ней книгу-путеводитель.

Многие заводы зачахли ещё в позапрошлом веке, исчезли, теперь вместо них лишь горки битого кирпича да изржавевшее до полной непригодности железо; но несколько заводов стали городами. В том числе и их.

Медеплавильный завод был закрыт при Николае Втором, зато в окрестностях перед самой войной выросли два других, огромных — металлургический и машиностроительный. А после войны принялись за перестройку города. Появились проспекты,

необъятная площадь, дворцы с колоннами и статуями на крышах.

Город должен был стать одним из воплощений советского рая, но к концу восьмидесятых этот недоовоплощённый рай стал ветшать. Заводы работали вполсилы, здания потихоньку разрушались, магазины пустели, люди уезжали... Аркадий родился в восемьдесят первом, застал самый краешек расцвета. А потом наступил вечный сумрак.

Всё было пропитано памятью о героических стройках: заводы, железная дорога, театр, Дворец пионеров, Дворец металлургов. Разговоры велись о выполнении и перевыполнении плана не только на собраниях, но и на свадьбах, днях рождения... Пацаны с детского сада мечтали стать похожими на отцов. Даже их, отцов, болезни, заработанные в горячих цехах, воспринимались как признак героизма.

Аркадий выделялся — о заводах не мечтал, по стопам отца идти не хотел. Да и отца не знал. Может, потому и вырос таким...

Правда, у старшего брата Юрки отца тоже не было, вернее, тот никогда его не видел, но Юрка не выделялся. Ни характером, ни внешностью, ни поведением. Крупный, каменно-плотный, задиристый, а когда требовалось — послушный и терпеливый. А Аркадий, непоседливый на уроках, мог подолгу смотреть на пруд, на всегда зелёные из-за сосен гривы за ним, на облака; читал книгу за книгой, не отличая в то время хорошую от плохой, скучную от увлекательной.

— Ты учебники давай открывай, — сколько раз требовала мама. — Опять вон химию запустил, физику. Скажу библиотекарям, чтоб не выдавали. Мозги только засорять...

Мама тоже работала на заводе — плела и плела на своём станочке металлосетку для воздушных фильтров; продавщиц и прочих из сферы обслуживания не уважала.

Точные науки Аркадию давались плохо, да он и не особо стремился их постигать. На уроках труда был вялый и равнодушный. С неохотой участвовал на физкультуре в командных играх, зато с удовольствием бегал, прыгал, подтягивался, отжимался. Хотя крепким не становился — скорее, гибким.

В их городе жили съехавшиеся из разных мест огромного Союза. Были и блондины, и смуглые, рыжие, монголистые. Многие пережились, и их дети часто имели очень странную внешность. Но всех объединяло нечто такое, что сразу указывало: это уральцы. У Аркадия этого «нечто» не было. Пацаны, да и девчонки — девчонки, кстати, особенно — с детского сада воспринимали его как чужака. Презрение девчонок ранило сильнее пацанских тычков и подножек.

Мама не защищала и не жалела — ласковость была ей не свойственна, — но иногда смотрела на Аркадия с такой какой-то грустью, не печальной, а светлой, что ли, доброй, что у него становилось горячо под горлом и хотелось заплакать. Она словно бы видела в Аркадии следы чего-то хорошего и безвозвратно потерянного.

Как-то раз, когда он прибежал из школы заплаканный и бросился к ней, прижался, потрепала по голове и сказала:

— В честь Гайдара тебя назвала... Фильм был такой, когда он ещё красный командир, за бандитами гоняется. Его Ростоцкий играл, мы все в него тогда влюблялись... А ты вот Аркадий, но не Гайдар совсем... Не Гайдар.

Юрка, брат, относился почти так же, как и пацаны. Разве что, когда травля готова была перерасти в избиение, останавливал особо жестоких:

— Хорош, хватит ему. Ещё из окошка спрыгнет. Он у нас ранимый.

Дома они почти не разговаривали, общих увлечений и дел не было.

Впрочем, Аркадий ничем особо не увлекался. Если бы хорошо рисовал, пел, танцевал, любил бы шутить, балагурить, его наверняка бы не воспринимали чужаком, не выпихивали прочь. Но он не удивлялся, никак не пытался войти в мир тех людей, среди которых родился и рос.

Он любил читать, много смотрел телевизор, учился средне, держался в стороне от групп сверстников, и эти группы, устав от вражды друг с другом, то и дело нападали на него, иногда объединяясь. Часто словесно, а иногда — с кулаками.

Изучая себя как бы посторонними глазами, стараясь быть объективным, Аркадий приходил к выводу, что он не урод. Невысокий, но с тонкой костью, стройный, волосы почти чёрные, глаза тёмные, выразительные — не какие-нибудь там щёлочки или прозрачные кружочки, как у многих; нос, правда, крупноватый, зато с тонкой переносицей, губы пухлые, яркие. Парни и мужчины с подобной внешностью часто появляются в иностранных фильмах, и там они — герои, в них влюбляются, а здесь он удостаивается в лучшем случае как-то с сожалением производимого слова «смазливенький». Вроде — бракованный...

Юрка, окончив девять классов, поступил в училище, а после него ушёл в армию. Попал в ВДВ. По комплекции подходил, да и по характеру тоже — эта-

кий солдат от природы. Слал домой короткие, зато радостные письма, жалел, что война в Чечне кончилась, — призвали его в декабре девяносто шестого, а то бы «показал этим шавкам, как на Россию наезжать».

Мама читала его письма вслух и Аркадию, и соседям, и наедине себе самой. Гордилась. Но всё-таки переживала. И младшего решила учить до полного среднего, а потом — в какой-нибудь институт.

Призывного возраста ожидал со страхом, его начинало мутить, когда думал об армии. Конечно, пугала дедовщина, о которой слышал с детства, но по-настоящему ужасало это существование в казарме, где нет своего личного места, где всё время на виду, даже в туалете.

— Ремень на шею — и в позу орла, — смеялся Юрка. — Как птицы на проводах.

У них с братом была одна комната на двоих, и лет в двенадцать Аркадий при помощи шкафа — небольшого и лёгкого — выгородил себе отдельный уголок с кроватью и столиком. Мама сначала была против: «Темнота ведь тут, нора мышиная», — а потом махнула рукой. Брат тоже вскоре привык, да и дома бывал редко: кружки, улица, компания...

В выпускном классе Аркадий словно очнулся от того тревожно-сонного состояния, в каком жил. И экзамены сдал отлично, хотя специально не готовился — просто всё то нужное, что услышал на уроках, вычитал в учебниках и книгах, увидел по телевизору, вспомнилось, превратилось в некие кристаллики знаний и выплёскивалось в ответах учителям.

Аттестат получил вполне приличный для попытки поступления в вуз.

— Поступай, поступай, — говорила мама, — что тебе ещё делать такому. В армии задавят как пить дать. К тому же опять война вон...

В их городе были два филиала известных в стране университетов, но учили там на технических специалистов — чтоб выпускники пополняли кадры местных заводов. И Аркадий отправился в областной центр.

Запомнил в момент прощания на вокзале взгляд брата, к тому времени уже два с лишним года как женатого, работавшего машинистом завалочной машины. Юрка вслух не осуждал его, но глаза говорили: ошибку ты совершаешь, чумачача, непоправимую ошибку, откалываешься окончательно. Аркадий отворачивался, будто провинившийся щенок...

До того в областном центре бывал два раза. Первый — лет в десять: мама получила какую-то премию или, может, денежный подарок на день рождения и решила показать сыновьям столицу их края.

Аркадию казалось, что едут очень долго, хотя путь на самом деле занял чуть больше четырёх часов. Но он не привык к поездкам и изъёлся, замутил маму вопросом: «Скоро?» За окном поезда было скучно: лес, лес, лес... Потом же ударили шум, мелькание людей, какофония музыки из привокзальных киосков, голова закружилась, глазам стало больно наблюдать постоянно сменяющуюся картинку... У них в самые людные часы, в самые большие праздники такого никогда не бывало.

Потом гуляли в каком-то парке, катались на каруселях, ели вкусное и сладкое, но ничто не радовало. Ни Аркадия, ни Юрку, ни саму маму. Вечером еле живые от усталости попадали на полки в поезде, а ночью проводница еле добудилась их: «Ваша станция!»

Второй раз приехали всем классом. С ночёвкой. Было им лет по четырнадцать. В плане значились музеи, театр, обзорная экскурсия. Ребята ходили как каторжники, еле передвигая ногами, угрюмо и затравленно озирались, на спектакле многие спали...

Но Аркадию в тот раз город понравился. Вернее, не так ошеломил и придавил. Он увидел, что областной полуторамиллионник и их стодвадцатитысячник похожи. Дома такие же, и проспекты, и памятники, и выражение лиц прохожих: какая-то на них мрачная сосредоточенность. Не враждебность, не злоба, а именно сосредоточенность. Но мрачная. Будто каждый точит, скребёт слабым инструментарием мозга твёрдую, как гранитный камень, проблему.

И ещё Аркадию открылось тогда, что и его родной город, и этот — не просто скопление домов, автомобилей, человечков на освобождённом от чашобы пространстве, а нечто живое, мыслящее, страдающее и иногда радующееся. С душой. Но души у обоих городов строгие, недобрые. Они не распахиваются каждому, не согревают, хотя притягивают, как магнит металлическую пыль на уроках физики, этих самых человечков. И чем больше город, тем сильнее он притягивает...

Пылинки-человечки один за другим прилипают к магниту-душе, но внутрь попасть суждено единицам. Это нужно заслужить, что-то такое сделать. Большинство же облепляет её — душу — снаружи и висит гроздьями, давясь и задыхаясь.

Конечно, открылось это Аркадию не словами — слова, да и то не совсем подходящие, не совсем те, нашлись много позже, когда стало необходимо объяснить другим, что он делает, что стремится создать.

Поступил в недавно открывшийся Социогуманитарный университет, о котором узнал ещё дома. Его хвалили: прогрессивный вуз, новые программы, выпускников расхватывают работодатели... Выбрал отделение психологии и сдал экзамены с блеском. Преподаватели так и говорили: «Блестяще!» Баллы позволили занять одно из немногих бюджетных мест.

Почему психология? Позже Аркадий часто пытался найти для себя самого точное, внятное объяснение. Мол, нужно было разобраться, из-за чего к нему так относятся, он ли виноват или окружающие, как устроено сознание людей, что побуждает их совершать определённые поступки. Но сам по настоящему не верил в эти доводы. Скорее, на его выбор повлияла тогдашняя мода на психологию и сопутствующие ей науки и лженауки. Была уверенность, что с дипломом психолога можно легко найти денежную и несложную работу. Сложной работой Аркадий всегда считал физический труд. Удивлялся, почему большинство его выбирает. Выбирает и украшает романтикой.

Однкурсники поначалу проявили к нему явный и откровенный интерес. Аркадия поразила их раскованность — в родном городе девушки с детства вели себя как тётки, относились к мальчикам-парням словно старые жёны: командовали, помыкали, фыркали, досадовали, ни капли не уважали, но боялись, когда напарывались на ответ.

Аркадий бросился однкурсникам навстречу: в компаниях был открытым и светлым, разговорчивым, остроумным — часто слишком, будто навёр-

стывая годы одиночества, изгойства, — но, когда оказывался с девушками один на один, терялся и костенел. И они, такие желанные, милые среди других девушек и парней, становились пугающими, их страстность казалась опасной. В чём опасность, Аркадий не понимал, но это чувство было таким сильным, что он ничего не мог — ни говорить, ни обнять. Девушки сначала недоумевали, потом злились, потом или уходили, или требовали, чтобы ушёл он.

И очень быстро потеряли к нему интерес. Точнее, перестали слать сигналы, что готовы быть с ним, а лишь как-то насмешливо поглядывали. Наверняка рассказывали друг другу о его так называемых осечках.

Он покупал порножурналы в магазинчике возле вокзала, иногда смотрел с парнями порнуху по видеаку, и возбуждался, и никаких осечек потом, когда запырался в душе или туалете, не было. Но с реальными девушками — не получалось. Даже не доходило до поцелуев. И с ужасом, таким сильным, что возникала мысль не жить, тянула к окну, заставляла разглядывать крючки на стенах и потолках, он понял, что не получится уже никогда.

Странно, но, готовясь стать психологом, сам Аркадий к ним за помощью не обращался. Обращаться казалось глупым и унижительным. Да и к девушкам тянуть вскоре перестало — они всё сильнее напоминали ему одноклассниц. Пугали, а не манили.

Появились приятели, товарищи. Многие были по-настоящему увлечены учёбой, читали книги одну за одной, обсуждали их, заочно спорили с лекторами, а очно — друг с другом. Девушки приходили на такие посиделки редко, да и, кажется, не затем, чтоб

поговорить о пирамиде Маслоу или «Человеке в поисках смысла» Франкла; даже Фрейд с Юнгом их мало интересовали — в отличие от прилежных и строгих одноклассниц, однокурсницы Аркадия явно хотели лишь весело выпить, потанцевать, а потом заняться сексом.

Гадал, почему так, ведь эти девушки по большей части съехались из таких же городов, что и он... В его городе не было особых развлечений. Один ресторан, который обыкновенно пустовал: там отмечали юбилеи, гуляли свадьбы и справляли поминки по знатым покойникам, но это случалось далеко не каждый день. Ещё — два кафе, и они использовались для тех же целей: жители города ели и пили дома. Многие служащие ходили домой в обеденный перерыв, рабочие брали бутерброды и кашу в стеклянных банках на заводы, и не только из экономии — в столовых питаться было просто не принято. Дискотеки и в свободные девяностые устраивались лишь по субботам, в воскресенье народ отдыхал перед трудовой неделей и пять дней напряжённо работал. Включая школьников. Примерно те же традиции существовали и в других небольших городах области.

Здесь же, в областном центре, с его кабаками, ночными клубами, роскошными, построенными в позапрошлом веке для уральских миллионщиков ресторанами с лепниной на потолках и позолоченными дверными косяками, девушек понесло. Не каждая могла позволить себе часто ходить в кабаки и клубы, но устроить маленький кабачок в общаговской комнате казалось вполне возможным. Главное — выпивка, закуска и кавалер...

С парнями Аркадию было интереснее и легче. Таких, что населяли его город и травили с детского сада, в универе он почти не встречал. Да и те, поступившие в основном на платное, очень быстро уходили: «Эт не моё». Их не держали.

И всё равно найти настоящих друзей не удавалось. В определённый момент в мозгу будто щёлкал рубильник: дальше сближаться нельзя, — и опускалась решётка. Приятели, товарищи — это не друзья. Им многого не расскажешь, а если расскажешь, будешь потом дрожать, что они начнут передавать другим. С приятелями и товарищами всё равно держишь дистанцию.

И на первом, и на втором курсах он продолжал, по сути, оставаться одиночкой. В комнате общежития, рассчитанной на четверых, отгородил, как и дома, уголок слева от двери. Даже шторку повесил между стеной и шкафом. Соседи покосились недоумевающе, но приняли это без подзуживаний и шуток.

На каникулы приезжал в родной город. Куда ещё было ехать? И на что?.. Стипендию выплачивали символическую, подработки — примитивные, вроде раздачи объявлений, флаеров, колки наледи на тротуарах, для которой жилищники нанимали студентов, — приносили копейки, мама присылала переводы редко и скупно. Сколько могла... На море или Питер скопить не получалось, да он и не особо пытался копить.

О доме тосковал. Заставлял себя не тосковать, старался убедить, что ничего там не было хорошего и ничего дорогого не осталось, что это дыра, в которой можно пропасть, но мозг оказывался слабее

того, что называется душой. Иногда так там скребло, жгло, царапало, что Аркадий не мог уснуть, ворочался на панцирной кровати и боялся — парни решат: подрачивает наш монах...

Тоска казалась тем более неприятной, досадной, лишней, что тосковать-то на самом деле было не по чему. По наездам пацанов, издевательствам девчонок? По брату, которого он никогда настоящим братом не чувствовал? По огородику на краю города — этим трём соткам земли с постоянно зарастающими грядками? По квартирке, из которой с детства хотел исчезнуть, даже боженьку об этом молил?

Любимых мест на родине не появилось — горка, с которой часто смотрел на пруд, на лес вдаль, на небо, была не любимым местом, а... Наверняка и в тюремной камере, где торчишь много лет, появляется пятачок, на котором предпочитаешь находиться. Но это не значит, что пятачок этот любимый.

И всё же — тянуло. Воображение, опять же какое-то не мозговое, а душевное, что ли, — ни один из терминов, услышанных на лекциях, не подходил, — рисовало город светлым и мягким, их панельную пятиэтажку — свежей, узкий прямоугольник их с Юркой комнатки — самым уютным и надёжным местом на свете... Аркадий понимал: это простая идеализация. Объяснял себе: когда не живёшь в том месте, где родился и вырос, оно кажется всё лучше и лучше; когда не видишь людей, с которыми провёл рядом много лет, они в воспоминаниях становятся добрее и дороже, даже враги...

Однажды в общежитии Аркадий слышал песню.

Вообще пели часто, разное, и он всегда с интересом слушал, но эта песня проколола так, что он съёжился, будто действительно раненный в грудь, рядом с сердцем; чуть не заплакал. Выбрался из-за стола в той комнате, где сидели, ушёл к себе. Потом разузнал, что это за песня, чья. Оказалось, Егора Лётова. Нашёл запись и часто слушал через наушники «пуговки», таращась в потолок, перебирая прошлое, сожалея, мечтая.

Мама, мама — мы с тобой  
Над землёю — под луной.  
Тихо-тихо снег идёт,  
Кто-то плачет и поёт.

Тихо слышен тихий смех,  
Белый-белый, словно снег.  
Кто-то плачет, кто-то спит.  
Тот, кто плачет, — не убит.

Снег закроет нам глаза,  
Там, где память — там слеза.  
Мы забудем свою боль,  
Мы сыграем свою роль...

Слова, может, и не такие уж сильные — Аркадий вообще относился к русскому року равнодушно, предпочитая англоязычный блюз, — но в сочетании с мелодией, спетые как-то особенно, они, слова, рождали тоску совсем другого свойства, чем донимавшая его обычно. Эта тоска была острее, болезненнее, но она не прибывала, а толкала вверх. Из душного мрака к кислороду и свету... Если бы-

вает угнетающая тоска, то должна быть и возвышающая.

Мама редко проявляла свою материнскую любовь. Любовь заменялась заботой. Вспоминая их жизнь дома, Аркадий видел, что достатка никогда не было: мама сэкономила, выкраивала рубли на подарки на дни рождения, Новый год. И всегда подарки были полезные: новый портфель в школу, новая рубашка, новые кроссовки. Игрушки, велик доставались и Юрке, и Аркадию от других, уже выросших детей.

Мама заботилась. Кормила, стирала, гладила — гладила даже трусы и носки, видимо, то ли помня по детству, то ли зная от своей мамы, что горячий утюг убивает прячущихся вшей, клещей; она водила в парикмахерскую, к зубному, проверяла домашние задания, сама в свободное время читала учебники сыновей, чтоб понимать, что они проходят; она укладывала спать, а утром будила, пусть не ласково, но без визга и упрёков. Мама поддерживала в квартире порядок и старалась создавать какой-никакой уют.

Да, заботилась о них с Юркой, и это немало. Изо дня в день отбивалась от лезущей в дом бедности, не успевая целовать и ласкать, не имея возможности баловать. И её саму вряд ли баловали родители — о них, оставшихся где-то в степях между Омском и Новосибирском, она за всё время упомянула раз пять... Кажется, её просто выставили за дверь и сказали: взрослая, теперь кормись сама.

Получила профессию, заняла место за станком и принялась плести сетку. Появлялись и исчезали мужчины, от каких-то из них появились сыновья. И она старалась их вырастить, вывести в люди так, как она сама это понимала.

Мама, мама... Слушая эту песню, Аркадий представлял их вдвоём в ночном заснеженном поле. Они не идут, а скользят в нескольких сантиметрах от земли. Они куда-то крадутся, к какой-то цели — наверное, к свету и теплу, — а вокруг во тьме посмеиваются завистливо-зло, тихо плачут те, кто не выдержал и опустилсЯ, увяз в топких сугробах.

Песня кончалась так:

Мы покинем этот дом,  
Мы замёрзнем и заснём.  
Рано утром нас найдут,  
Похоронят и убьют.

Но Аркадий редко дослушивал до этих слов — нажимал «стоп». Последний куплет, вернее, три последние строки казались ему нелогичными, не соответствующими предыдущим куплетам. Ведь куда правильней, что мама и сын, покинув старый дом, долетают до того райского места, где забывают свою боль и совершают что-то такое, для чего созданы. «Мы сыграем свою роль».

И как-то ночью в своём крошечном закутке, с ушами, заткнутыми «пуговками», в очередной раз остановив песню, Аркадий поклялся маме, что изменит её жизнь. Она покинет эту пятиэтажку, она поселится в просторном, с большими окнами доме, она не будет больше экономить на всём подряд вплоть до спичек у газовой плиты, не будет ездить на завод, а потом, когда заводу не станет нужна, ждать почтальонку с жалкой пенсией. Он сделает маму счастливой.

Поклялся, конечно, себе. Но был уверен, что мама почувствует его клятву. И примет.

В начале третьего курса у него появился друг. Неожиданно, сразу. Но, наверное, так и должно происходить: долгое знакомство вряд ли может перерасти в дружбу. Дружба — это как любовь: с первого взгляда, слова. Будто некая сила берёт и соединяет двух людей. Или для дружбы, любви, или для лютой вражды.

Его звали Машак, но здесь он стал Михой, Мишей. На два года старше Аркадия, но только-только поступил в Архадемку — Архитектурно-художественную академию. До этого дважды штурмовал Московский архитектурный, между попытками отслужил в армии.

Миха родился и до восемнадцати лет жил в крупном райцентре, расположенном, правда, далеко в горах. Впервые в городе оказался подростком.

— Ущелье, а на дне сотни полторы домов, один-два этажа. Даже минарет у мечети коротенький, такой вот, — Миха показывал мизинец. — Как, слушай, всё боится с горами спорить, к земле жмётся. В старые времена, наоборот, вверх тянулись — у нас там такие башни есть! Как ракеты на старте. Но это прошлые люди строили. «Той говзанч» — мастера камня, по-нашему. А теперь... Скучно строят, прячутся, что ли...

Миха говорил без акцента, даже интонация была не кавказская. Только если сильно волновался, проскакивало что-то такое джигитское.

С детства он собирал картинки дворцов, небоскрёбов, замков, смотрел передачи, где показывали Ленинград, Москву, Париж, Венецию. Любимым занятием было лепить из пластилина или глины кра-

сивые дома. Занимался этим даже в старших классах под ухмылки ребят.

Лет в четырнадцать решил стать архитектором. Готовился к поступлению в институт, но больше в мечтах. В селе не было учителя черчения, библиотека скудная, про интернет у них только слышали, на уроках информатики компьютеры изучали по учебникам, верхом прогресса были калькуляторы... Да что там — свет давали по два часа утром и три часа вечером: электричество вырабатывали дизели.

В общем, в Москву Миха приехал с огромным желанием, но почти без знаний.

— И хорошо, что не поступил, — с чем-то похожим на благодарность в голосе признавался позже. — За это время столько узнал, увидел. Идей появилось — полная голова. Особенно в армии. Казарма очень способствует развитию фантазии. — И вполне искренне смеялся.

Аркадий и Миха познакомились в «Алёнушке» осенью две тысячи первого. Это было хорошее время: девяностые кончились, многое как-то обновилось, жизнь ощутимо пульсировала свежими токами...

Официально «Алёнушка» имела статус рюмочной — исчезающего советского аналога капиталистических пабов и баров; на деле же являлась клубом, где собиралась творческая, интеллектуальная молодёжь. И не только молодёжь. Да и всяких прочих посетителей было предостаточно — от малоимущих бизнесменов до бомжей, насобиравших мелочи на стопарик. Но каким-то чудесным образом и бомжи, и футбольные фанаты, и бизнесмены, и студенты мирно уживались в этом небольшом пространстве с десятком высоких столов, вели беседы

обо всём на свете. От бесконечности Вселенной до повышения акцизов...

Кажется, в первую встречу Аркадий с Михой не обменялись напрямую ни словом, зато с интересом слушали друг друга, внимательно друг друга рассматривали.

Аркадий в тот момент был увлечён взаимосвязью работы человеческого мозга и окружающей среды и пытался всем рассказать, что спокойная, умиротворяющая среда мозг усыпляет. Сыпал цитатами из Джеймса Гибсона, не всегда, правда, дословными... А Миха говорил об аскетическом комфорте, функциональном минимализме.

Поведать о своих теориях подробно ни тому ни другому не удалось — рядом было ещё несколько ребят тоже с теориями и потребностью ими делиться.

Заодно опрокидывали рюмашки, жевали кисловатые бутеры, запивали пивом, и как разошлись, Аркадий помнил смутно... Вообще-то он не был любителем алкоголя, но иногда в то студенческое время перебирал.

Несколько следующих дней ему как-то упорно — будто зажигали внутри экранчик — вспоминался тот вечер в «Алёнушке», и неизменно в центре экранчика был парень, которого называли Михой.

Невысокий, широкий, в каком-то лохматом пальто, напоминающий медведя; глаза тёмные, блестящие азартом, крепкие скулы двигаются, играют — Миха ожидает короткой паузы в галдеже за столиком, чтоб продолжить своё — о пространстве, в котором человеку станет не просто удобно: он будет жить полезно. Не только для самого себя, но и для общества...

Эти слова о пользе, обществе не казались смешными и наивными — то ли Миха произносил их по-настоящему искренне, то ли — и скорее — действительно атмосфера была такая: тогда ещё верили, что вот-вот начнётся некая новая эра, что они в самом деле первое поколение новой России. Вот окончат институты и войдут в большую, взрослую жизнь хозяевами, произведут ремонт, расчистят кучи хлама и мусора.

Да, подъём был мощный, энергия захлёстывала. Её и сейчас хватает — и это отлично, — но Россия уже давно не видится единственным местом приложения своих сил. Вернее, прикладывать здесь силы всё рискованней, да и попросту слишком много их нужно приложить, чтоб сделать даже самое малое, пустяковое...

В Мике Аркадий сразу узнал друга, соратника по будущему делу. Потому, наверно, и не гас этот внутренний экранчик, не давая сосредоточиться на другом, — светил, убеждал: найди, познайся как следует. И Аркадий пошёл в комнату к парню со второго курса, Сергею, который тоже был тогда в «Алёнушке», общался с Михой как с давним приятелем.

Как и Аркадий, он приехал из какого-то периферийного городка, поражал начитанностью, кругозором. Казалось, всё знал. С Сергеем советовались пятикурсники насчёт дипломов, преподаватели предрекали ему большое будущее. Ходили слухи, что ректор хочет оставить его при универе.

Позже Аркадий часто о нём вспоминал, пытался найти через соцсети, общих знакомых, но никто о Сергее ничего не знал. Даже не могли вспомнить, окончил он Гуманитарку или нет. Потерялся, растворился — и всё. Такое случается...

В общежитии Сергей уже на втором курсе находился в привилегированном положении — ему дали отдельную комнату. Не совсем это была, конечно, комната — изначально наверняка нежилое помещение, склад для каких-нибудь тумбочек-полочек, инвентаря уборщицы, — но там были оконце, батарея, место для кровати, стула, стола. Так что Сергею завидовали — готовиться к зачётам, читать, когда у тебя соседи, невозможно. Оставалось или болтать, выпивать, или идти в библиотеку, искать пустую аудиторию в учебном корпусе. Благо общага находилась от него через квартал...

Чувствуя странную, какую-то новую для себя неловкость, хотя чего проще — спросить контакты такого-то чувака, Аркадий, стоя в дверях, понёс что-то про связь психологии с архитектурой, потом как бы случайно вспомнил о разговоре в «Алёнушке» и между прочим о Михе.

— Кстати, — вывернул на цель визита, — ты не знаешь, кто это? Интересные у него мысли, кажется, хотя и странные.

Сергей, явно удивлённый всей этой речью, ответил, что знает Миху — познакомились с месяцем назад в дискуссионном клубе.

— По субботам собираемся. Базар, понятно, но взбадривает. Даже бред ведь полезен — есть от чего отталкиваться. — Второкурсник Сергей говорил тоном пожилого профессора. — Есть Михин пейджер, могу дать.

В то время почти все носили пейджеры. В карманах, футлярах, пристёгнутых к ремню. Это изобретение казалось чудом: где бы ты ни был, где бы ни был нужный тебе человек — можно послать несколько слов, решить проблему, договориться о встрече.

Конечно, у некоторых уже появились мобильники, но стоили дорого. Нет, на саму мобилу можно было скопить, а вот оплачивать связь — нереально... Если б тогда кто сказал, что года через три о пейджерах и не вспомнят, мало бы кто поверил.

Теперь Аркадий слышал это слово разве что на радиостанциях — «эфирный пейджер». И начинали накатывать, как мелкие волны на пляже, воспоминания о студенческом времечке. Но иногда приходила волна такая, что накрывала с головой, заливала уши, перекрывала дыхание, и Аркадию требовались усилия, чтоб вернуться в разговор в студии...

Получив номер Миши, ещё дня два не решался послать сообщение. Выстраивал мысленно текст, и всё казалось то наглым, то двусмысленным... Другим парням отправлял запросто, первыми пришедшими в голову фразами, а тут застопорился. Но в конце концов послал — напомнил про «Алёнушку», предложил в ней же встретиться. Очень быстро пришёл ответ: «Конечно! Тоже хотел».

Ещё по одному сообщению — уточнение времени. Потом — встреча. Так началась их дружба.

Учёба быстро отошла на второй план. Главным стало общее дело — антропологическая архитектура и дизайн. Звучит и теперь странновато, а тогда однокурсники попросту хмыкали и пожимали плечами: фигня какая-то. Одно дело поболтать под рюмку, а другое — тратить многие часы.

Это было новое направление. Не направление даже, а философия. Молодые ребята в разных точках мира пытались создавать здания и пространства внутри и вокруг них такие, чтобы человек был по-настоящему счастлив. Не в узком смысле,

а в глобальном. Счастье — это ведь не валяться сутками перед плазмой, счастье — желание что-то делать с удовольствием. «Деятельность души в полноте добродетели», как сформулировал Аристотель. В трущобах или заваленных дорогим хламом дворцах душа не хочет жить, и человек или впусую злится, или впадает в тяжёлую, бесплодную дремоту.

— Конструктивисты тоже добивались пробуждения души, — объяснял Аркадий, часто пересказывая слова Михи. — Чтобы душа начала действовать. Для двадцатых годов их идеи были прогрессивными, и люди с радостью селились в домах, создаваемых ими. Или взять американскую традицию коттеджей на одну семью. С лужайкой, садиком... Жить в квартире на каком-нибудь тридцатом этаже — там признак бедности... Деревья в парках, цвет мебели, расположение окон — всё это очень важно.

— А ты-то здесь при чём? — спрашивали однокурсники. — Ты ж психолог, а не архитектор, не этот... не дизайнер.

Слово «дизайнер» тогда ещё у многих вызывало иронию.

— Вот поэтому у нас столько уродливого в архитектуре, что психологи к ней не имеют отношения. — В таких разговорах Аркадий постепенно оттачивал дикцию, учился выражать мысли стройно и внятно. — Вернее, их не очень-то пускают... Но цивилизация пришла к мысли, что в разрешении каждой проблемы должны участвовать представители разных профессий. А среда обитания человека — не только в экологическом смысле среда — это проблема. Психологическая среда, наверное, проблема ещё большая, чем экология.

Кроме недоумевающих, готовых крутить пальцем у виска, находились и поддерживающие, и те, кто видел в их с Михой идеях способ заработать.

Начали поступать предложения от строительных, дизайнерских фирм проконсультировать, спланировать. Платили неофициально, в конвертах. Деньги были невеликие, да и работа не такая уж сложная, главное — по душе... Количество предложений росло, стало ясно, что вскоре пойдут и настоящие заказы.

#### 4

Раньше, сдав летнюю сессию, Аркадий отправлялся домой на два месяца — до сентября. Теперь же, после третьего курса, лето обещало быть насыщенным делами. Но маму навестить он считал необходимым. Хоть неделю провести с ней.

Без всяких опасений позвал с собой Миху. Тем более тот на свою родину вроде не собирался, да и вообще о семье говорить не любил.

— Поехали. У меня там комната отдельная. Посмотришь на наш город. Пруд есть — купаемся.

— Да, — Миха согласился без показушного стеснения, — поедem. А потом в Москву.

В Москву собирались не просто так — там появились заинтересовавшиеся их работой, наметились партнёры и клиенты...

Мама встретила Аркадия с другом растерянно, даже ничего сказать не могла. Потом отвела сына на кухню, закрыла дверь.

— Думала, невесту привезёт, а он вон чего! — глядя не на него, а в сторону, словно там стояла сосед-

ка, или Юрка, или кто-то ещё, стала жаловаться. — И что теперь? Позор-то-о...

— Мама, — вставил Аркадий, — это мой друг.

— Знаю я таких друзей, с первого взгляда вижу. Ой, позор-позор!.. Ну а что, этого и следовало ожидать: яблоко ведь от яблони... Господи-и...

— В каком смысле «яблоко от яблони»?

— А в таком... — Мама повернулась к нему, распахиваясь стремительно и всё сильнее. — В таком!.. Папуля твой таким же был. Красавчик порченный... Поэтовал тут меня, а потом — извини, я вообще-то не женщин люблю. И — ту-ту. Командировочный, опыт передавал...

— Что? Не понимаю. — От таких новостей Аркадий забыл про Мишу и всю эту ситуацию.

— Я чуть не повесилась тогда... Черноглазый, белозубый, улыбка как у Челентано, а сам... И ты теперь, оказалось, такой же...

— Ничего я не такой. Я ничего не понимаю, объясни.

— Да нечего объяснять... Мы тогда с итальянцами дружили, вот и приехала делегация. И он... Не могу я сейчас. Всё. Потом. Выпроваживай этого своего.

— Мама, Миша мой друг, у нас общее дело. Зарабатываем уже...

— Угу, угу, знаю я.

— Что ты знаешь?! — Кажется, первый раз Аркадий повысил на неё голос. Но голос оказался не твёрдым, а каким-то тонковатым. И мама, на мгновение вроде бы усомнившись, что её младший «такой же», испугавшаяся своих обвинений, после этого вскрика окончательно поняла — Аркадий увидел по её глазам: нет, такой.

И она зашипела страшно, как змея, готовая укусить:

— Ты тут мне повизжи-ы! Повизжи-ы-ы ещё... Отправляй его обратно сейчас же. Из моего дома.

— Три дня поживём и поедем.

— Сейчас же, сказала. Сейчас Юрка придёт. Ты крови хочешь?

— Тогда я тоже...

— Не смей. А на огороде кто будет? И ремонт надо делать — обои вон валяются. Тебя ждала... — И у неё запрыгал подбородок. Теперь не от злобы.

Аркадий уступил. Вошёл в комнату — бывшую их с братом спальню, — где Миха разглядывал небогатую библиотечку, и стал натужно выдавливать междометия, стараясь отыскать в опустевшей или, может, чудовищно перегруженной голове нужные слова. Такие, чтоб Миха не обиделся, понял.

Он понял без них:

— Нужно уйти?

— Ну-у, мать что-то... Ты, пожалуйста, извини.

— Не парься. Всё нормально. — Поднял с пола сумку. — Жду тебя, а потом — в Москву.

Аркадий молчал.

— Да?

— Конечно, Мих, конечно!

Проходя через зал, Миха кивнул маме Аркадия:

— До свидания, Ирина Анатольевна.

«Запомнил, как зовут», — отметил Аркадий, и волна тепла и уважения к другу обдала изнутри, и следом — волна стыда за произошедшее.

Мама не отреагировала, механически передвигала посуду на раздвинутом праздничном столе — Аркадий сообщил, что придет не один, но не сказал с кем...

— Давай, дружище, взбодрись, ведь домой вернулся. — Миха на прощание обнял его, погладил по спине, словно жалея.

...Потом пришёл Юрий с женой Светланой и детьми — пятилетним сыном и трёхлетней дочкой. Все плотные, приземистые, надёжные. Сидели за столом, ели тушёную капусту с мясом, салат «Мимозу», нажаренные мамой пирожки с луком и яйцами; Юрий разливал детям морс, женщинам — креплёное вино, им с Аркадием — водку... Аркадий пил мало, оставляя в стопке.

— Ну, эт некрасиво! — в конце концов возмутился брат. — Допивай давай.

— Не хочу.

— А-а, чумачача.

Так Юрка называл его с детства. Непонятно, откуда выкопал такое словцо и что оно вообще означало. Но произносил с таким презрением, что Аркадия обжигало. Даже теперь. Хотя ведь так, по сути-то, просто: посмотреть на брата так как-нибудь, чтобы понял, что выглядит глупо со своей чумачачей и другими подколами.

Да, вроде бы просто, а вот не получалось. Наоборот, Аркадий почувствовал, как стало печь щеки, а в глубине горла, между ключиц, заплясал горьковатый комок.

— Кстати, а где подруга-то? — спросила Светлана и даже огляделась, будто кого-то здесь могла до сих пор не заметить. — А, Аркаш?

— Не получилось у неё, — быстро и тоном, отсекающим дальнейшие вопросы, ответила мама. — Накладывайте салат давайте. Для кого я столько наделала...

— Только это, и уже всё? — Юрка посмотрел на Аркадия не с издёвкой, а с чем-то типа сочувствия.

— У них всё нормально, — ещё строже сказала мама. — Не получилось, говорю.

— Как хоть зовут?

Понимая, что отмалчиваться — только множить число вопросов и вызвать подозрительность, Аркадий бормотнул:

— Маша.

Брат кивнул, Светлана одобрила:

— Хорошее имя.

Некоторое время ели молча. Дети не торопились из-за стола — сосредоточенно жевали, время от времени бросая на Аркадия угрюмые взгляды. Так смотрели на него одноклассники в садике, одноклассники... «Мнюха, что ль, накрывает, — поддел себя. — Просто редко видят дядю, вот и смотрят так, привыкают».

После самовнушения стало полегче. Но тут брат ковырнул новым вопросом:

— Что после универа-то делать думаешь?

Вообще-то нормальный вопрос, но вот интонация...

— Работать думаю, что ещё.

— И куда ты со своей психи... психологией, так?.. Нам, трудягам, будешь впаривать: пашите, пашите и не думайте ни о чём.

— Во-первых, психологи не впаривают. А во-вторых, на завод я не собираюсь ни в каком качестве. Мы с... — Вовремя осёкся, поняв, что произнеси он «с Михаилом», начнутся расспросы о нём, да и мама наверняка рассердится. — Мы с моим знакомым один проект начали. Может быть, раскрутимся.

— Проектёры. У всех сейчас проекты.

— погоди, — остановила Юрку Светлана. — И что за проект?

Объяснять очень не хотелось. Но было надо — не сидеть же так, нахохлившись. И Аркадий, сначала с усилием, а потом увлечшись, рассказал об их с Михой концепции новой среды обитания, синтезе архитектуры, дизайна и психологии.

Светлана, в отличие от остальных, слушала внимательно, задавала уточняющие и дельные вопросы, и Аркадий опасался, что она попросится в их команду. «Возьмите, я рисую неплохо, вкус имеется...» Частенько подобное бывает: найди идею, расскажи о ней, и тут же начнут прилепляться.

Светлана работала учительницей начальных классов, уставала от детей, всё собиралась найти новое место.

Не попросилась. В тот раз.

...Вряд ли мама рассказала Юрке, что Аркадий приехал вместе с каким-то парнем и она того выпроводила. Скорее всего, соседи увидели, передали, напридумав кучу подробностей. И, когда снова встретились через пару дней на огорожке, брат смотрел на Аркадия с явной брезгливостью, кривился, наблюдая, как он полет грядку, и в глазах читалось: погонишь морковку.

До разборок не дошло — всё время поблизости находилась мама, которая тоже заметила перемену в старшем, давала понять, что настороже.

Аркадий пробыл дома немногим больше недели. Несколько раз пробовал расспросить маму о своём отце. Она сразу каменела, выставив предупреждающе руку... Удалось выяснить, что он итальянец, приезжал на их завод для обмена опытом в составе делегации. Мама была одинокой, у них закрутилась любовь — по крайней мере, она так реши-

ла, — а потом он сказал, что любит мужчин, извинился и уехал.

— А как его звали?

Мама нахмурилась, делая вид, что вспоминает. Потом вдруг — коротко, но ясно так, светло — улыбнулась:

— Вико.

— Вико? А почему я Андреевич?

— Что, Виковичем тебя надо было записать?

— Ну, хотя бы Викторовичем.

— Слушай, это моё дело. И не лезь.

Дома было тяжело. Каждый день начинался и тёк словно со скрипом. Утром ржавые шестерёнки приходили в движение, вращались медленно, натужно, обдирая кожу, зажёвывая мясо... Аркадий собрал сумку, но ещё день боялся сказать. Наконец решился.

— Надо ехать.

Мама дёрнулась.

— Как это? До учёбы ещё два месяца.

— У меня дела. Я говорил, что мы работать стали...

— К этому своему?

— Мама, я работать.

Он ожидал, что она встанет перед дверью и не даст выйти. Уже планировал, что дождётся, пока уснёт, и тихонько сбежит. Но после нескольких секунд какой-то внутренней борьбы она отмахнулась. Медленно, устало.

— Иди.

И он в первый раз увидел её старой. До этого была такой же, к какой он привык с детства, с того момента, когда начал осознавать и запоминать этот мир. И вот мгновенно изменилась — не крепкая жен-

щина, а почти старушка. Хотя ей слегка лишь за сорок...

Шагнул, обхватил, зашептал:

— Мама. Мама, я стану богатым, успешным, известным. Я куплю тебе большой дом, ты будешь покупать самое лучшее. Лучшую еду, одежду. Будешь отдыхать на море. Тёплое море... Мама, мы с тобой будем самыми счастливыми. Честно.

Она не отозвалась ни словом, ни малейшим движением. Просто стояла внутри его рук. А когда он их опустил, повторила бесцветно:

— Иди.

— Мама, поверь мне — я еду работать. У нас дело. Настоящее, большое.

— Всё, иди, ради бога.

## 5

С тех пор прошло много лет. Аркадию тридцать семь. Он стал богатым, успешным, известным. Вместе с Михой они ездят по всему миру — их приглашают планировать виллы и парки, они читают лекции, консультируют, дают мастер-классы. Их агентство стабильно в мировых рейтингах. До вершин далеко; впрочем, само попадание в них значит очень много.

Под Петербургом, в Берлине и Бильбао у них свои дома. Не роскошные, но просторные, удобные, с кусочком земли.

Два-три раза в году Аркадий бывает в родном городе. Обязательно в апреле — на дне рождения мамы, часто летом, иногда — на Новый год.

Чем старше становится, тем сильнее тянет не только к маме — зовёт к себе сам город. Аркадий бо-

ится его, собираясь, вспоминает неприятное, обидное и всё-таки едет. Те несколько дней, что проводит на своей родине, где был и остаётся чужаком, давно стали как допинг, что ли, заставляющий двигаться дальше. Допинг горький, укол им болезненный, но он необходим.

Наверное, не будь там мамы, Аркадий бы не приезжал. Заставил бы себя забыть, вычеркнуть, стереть. Но мама продолжала жить в той же двухкомнатке, в окружении той же мебели, носила такую же одежду — удивительно, она находила халаты, вязанные шапочки, сапоги, юбки точно как тридцать лет назад.

В каждый приезд, во время каждого телефонного разговора Аркадий предлагал ей переехать. Сначала, когда агентство только разворачивалось, когда очень многое было лишь в перспективе, покупка дома или квартиры лишь планировалась, мама отказывалась уклончиво: «посмотрим», «пока ведь неясно», «надо подумать, взвесить», — а потом стала отвечать твёрдо: «нет, никуда не поеду», «дело решённое», «я ведь уже сказала».

Аркадий продолжал уговаривать, приводил новые и новые аргументы, расписывал удобства свежего, не заросшего хламом дома, красоту природы, показывал фотографии.

— Вот это под самым Питером. Официально — Петербург, Курортный район, но уже не город. Еловый лес вокруг, триста метров до Финского залива. Часть земли под солнцем, можешь огородничать... Или вот — Берлин. Далем, это район такой, в основном виллы. Парки, сосны. У меня сад, беседка в плюще... А это Испания, Бильбао, сказочный город. Прямо из центра за полчаса можно до моря доехать.

На суставы жалуешься, а морская вода в этом случае — лучшее лекарство.

Она как-то слепо смотрела на фотографии в планшете, а потом говорила:

— Нет, не поеду.

Сначала ссылалась на внуков, а когда внуки выросли — на привычку:

— Как я там на новом месте? Не приживусь. Не хочу, боюсь.

Однажды, как показалось Аркадию, он почти уговорил, убедил маму, в тот момент разболевшуюся, злую на то, что лекарство, которое ей помогало, исчезло в аптеках — не прошло какую-то сертификацию. И тут Юрка ушёл от жены, поселился в маминой квартире.

Аркадий решил было: эта перемена может наконец столкнуть её с места, но, оказалось, она даже рада... Нет, не радовалась открыто — горевала, даже плакала, жалела о распавшейся семье и в то же время тепло говорила о Юрке, который с ней, нуждается в заботе, внимании, домашнем питании. И оправдывала его уход от жены и детей.

— А что, ребята выросли, оба — взрослые люди. Светлана себя независимой считает — ну и пускай. Юре отдых нужен, не мальчик ведь. Вот и пусть отдыхает. Заслужил.

— Пусть отдыхает, — соглашался Аркадий, — но и тебе отдых нужен. Поехали. Я всё оформлю. Там море, пальмы прямо на улице, каждый дом — произведение искусства, глаз не оторвать... Мама, поедем, пожалуйста.

Мама морщилась, будто Аркадий делал этими словами ей больно.

— А Юре кто будет готовить? Стирать? Мужчинam в этих делах помощь нужна.

Аркадий вспоминал себя. Если приходил со школы и мамы не было, то, поев, мыл посуду, прибирался на столе. Бывало, варил, жарил что-нибудь простое — картошку, яичницу. И маму это не умиляло. Потом пять лет в общаге сам себя обслуживал и опять же не замечал, чтобы мама этой его самостоятельности радовалась, волновалась, как он.

А тут сорокалетний мужик ушёл от жены, вернулся к матери-пенсионерке, и она должна с ним нянчиться... Нет, главное — мама действительно с ним нянчится, причём с удовольствием.

В этот раз, в июле, Аркадий приехал домой уже без всякой надежды уговорить её изменить жизнь. Понимал: не сдвинется, даже в каком-то чудом построенный в их вымирающем городе новый дом, с большими окнами, с улучшенной планировкой, не переберётся. Будет здесь, в этой двушке, перегруженной в основном совершенно ненужными вещами, пропитанной пылью, которую не выскоблить никакими щётками, затхлостью, перед которой бессильны самые мощные моющие средства.

И серьёзный ремонт, с бригадой рабочих, заменой провисших антресолей, мутных окон на стеклопакеты, не разрешит сделать — Аркадий не раз заикался, но получал резкое, грубое «нет».

Поразительно, что мама не соглашалась даже облагородить огородик: забетонировать дорожки, поставить сарайчик для инструментов и навес, где можно посидеть в жару, обнести вместо бортов от грузовиков и сеток от кроватей нормальной изгородью. «Пусть так остаётся».

Это, конечно, вызывало досаду, обиду — ведь стать нынешним его заставило желание помочь ей, клятва, данная тогда, под горькую песню «Мама,

мама, мы с тобой...». И вот он готов понести её над землей в ласковые края, поселить в светлом, свежем доме, окружить заботой, кормить самой вкусной едой, которую только придумало человечество. А она не хочет. Ей немного за шестьдесят, но она давным-давно поставила на себе крест. Быть может, ещё когда они с Юркой были маленькими.

И вместе с досадой и обидой росла любовь к ней. Не жалость, а именно любовь, и мама, особенно когда долго её не видел, не разговаривал по телефону, представлялась Аркадию какой-то святой. Мученицей, которой нужно поклоняться... Во время общения, правда, это чувство слегка пригасало...

Вылетел из Берлина, в Москве пересел на самолёт в областной центр, а оттуда на «Яндекс.Такси» рванул на родину. Недёшево, но Аркадий может себе позволить.

С собой вёз большой чемодан, набитый одеждой для мамы и продуктами. Знал, что одежду она наверняка отдаст Светлане и внучке, и большую часть еды тоже раздаст или скормит Юрке. Впрочем, какое его дело. Его дело — подарить ей, а она пусть поступает как хочет.

Магазинов с качественными продуктами в их городе давно немало, но покупает мама по-прежнему самое дешёвое. И с годами эта привычка переросла в настоящую манию. Вместо того чтоб идти в ближайший «Магнит», она отправляется в «Дикси» за несколько кварталов, потому что там то-то и то-то на два-три рубля дешевле. Хотя Аркадий каждый месяц переводит ей немалые суммы.

Да и качество, конечно, сомнительное — российские продукты с европейскими не сравнить.

Вроде одно и то же, судя по упаковке, но сорт здесь всегда второй, если не третий.

...Такси въезжает в город. Трасса превращается в один из четырёх проспектов — проспект Труда. Сначала за стёклами «шкоды октавии» тянутся длинные склады за заборами из бетонных плит, мелкие предприятия, ангары и боксы, гигантские бочки нефтебазы. Вдалеке видны трубы машиностроительного завода, благодаря которому город ещё населён.

Лет десять назад возникли — именно возникли, сперва как шепоток, потом всё громче — разговоры о том, что завод нерентабелен, необходима оптимизация — страшное слово для рабочих, — но затем главный человек в стране объявил: никакого закрытия не будет, назвал завод стратегическим, даже побывал на нём. Люди ликовали, благодарили главного человека, до сих пор он чуть ли не небесный покровитель для них... А может, и стоило оптимизировать — покатались бы отсюда жители, и маму бы удалось увезти...

Гаражи личных автомобилей — постройки разной высоты, ширины, напоминающие Город мёртвых в Каире. Ворота зелёные, коричневые, синие или просто ржавые, а кое-где ворот нет вовсе и видно чёрное нутро брошенного убежища для машины... За гаражами ветхие фанерные будки с яркими вывесками «Шиномонтаж», «Масла, антифриз», следом — строительные магазины, оптовая овощебаза, а после начинаются жилые дома.

Конечно, ни один населённый пункт не открывается сразу дворцами и фонтанами, и любимый, пожалуй, город Аркадия Бильбао тоже окружён складами, заводиками, в нём тоже есть спальные

районы, но здесь всё это было каким-то сгущённым, утрированным, особенно резким — режущим глаза и душу.

Каждый раз, въезжая сюда, Аркадий надеялся, что за три-шесть-десять месяцев что-то изменилось. Нет, унылость заборов, тоска одноцветных пятиэтажек становились только сильнее... Сейчас, летом, листва деревьев, трава, высокое небо слегка разнообразили палитру, а осенью, зимой, ранней весной хотелось завывать, забиться, закричать водителю: «Поворачивай обратно!»

Нельзя, что ли, выделить совсем небольшие средства и хотя бы раскрасить дома в разные цвета? Конечно, по науке, желателен подбор цветов, создание благоприятного для психики спектра, но можно и наугад: один дом салатовый, другой — розовый, третий — пусть останется серым, четвёртый — голубой, пятый — оранжевый. А если у властей нет средств, обратиться к жителям: давайте сделаем наш город красивым. И наверняка они откликнутся.

Но даже в областном центре огромные массивы такие же, как лет тридцать назад. Нет, хуже, мрачнее, конечно, — стареют, тускнеют. Есть, например, район Молодёжный, который в народе называют Панелька. Строили для себя молодые семьи — было такое движение в советское время: МЖК. Десятки абсолютно одинаковых панельных девяти-«свечек».

Может, в то время казались прогрессивными, симпатичными, квартиры в них — пределом мечтаний, но сейчас они вызывают ужас и панику: не «свечки» это, а гигантские обелиски, в которых легко заблудиться, глаза слепнут от серого цвета — цве-

та не бетона, а сухого цемента. Действительно, словно кладбище, а не часть города, населённого живыми людьми, рождёнными для радости, красоты, любования миром...

Не так давно появилась строительная компания «Кандинский». В разных микрорайонах областной столицы она возводит весёлые, с большими окнами, пёстрые многоэтажки. Но они, к сожалению, только подчёркивают главенствующую, властвующую серость.

— Здесь налево, пожалуйста, — сказал Аркадий; даже с навигатором многие водители пропускают этот узенький, один из многих, переулок.

Машина свернула и сразу заскакала по колдобинам. Асфальт на проспектах содержат в относительном порядке, а большинство улочек и переулков — как после бомбёжки.

Тряслись недолго — вот уже родная пятиэтажка: бетонные панели с чёрными швами, забитые всякой всячиной балконы, крошечные и хлипкие, два подъезда, выщербленные козырьки над ними. Внутри — сорок квартир. В одной из них он вырос.

## 6

— Привет, — зашептала мама, — заходи. Тише только — Юрка спит с дежурства.

Тут, как назло, чемодан ударился о тумбочку.

— Ну не греми ты, говорю!

Уже такой встречи Аркадию хватило, чтоб раскаться. Зря приехал. Помешал...

Стало неловко за себя, за маму, за громоздкий чемодан, наполненный ненужными, по сути, подар-

ками. Даже за это ласково произнесённое «Юрка». Его мама никогда «Аркашка» не называла, в последние годы только «Аркадий». Ни нотки теплоты. Как к чужому обращалась.

Обнял маму, она тут же попятилась:

— У меня там варится...

Но не ушла на кухню.

— Как дела? — спросил Аркадий. — Юра всё с тобой?

— А куда ему? И зачем? Нормально... Живём.

В этих коротких фразах слышалось: не лезь не в своё дело.

Аркадий пожал плечами, вошёл в зал. Постоял, потом сел на диван. Пружины со скрипом сжались, и скрип тоже был враждебный, недовольный.

— Голодный? — спросила мама.

— Да так...

— Юрку тогда дождёмся и поедим.

— Хорошо...

Она чем-то занималась на кухне, а он сидел и ждал. Начать сейчас разбирать чемодан — значит производить звуки и тем самым раздражать маму. Книги были в той комнате, где спал Юрка. Телевизор включать не стоило даже без звука, да Аркадий и не смотрел его.

Зал с каждым приездом становился всё меньше. Будто съёживался, ссыхался. Может, из-за вещей, которые старели, темнели, а скорее, Аркадий просто отвыкал от подобной планировки, такой мебели, ковра на стене, съедающего пространство. И жил, и бывал в основном в домах светлых, свежих, с продуманной цветовой гаммой, правильным освещением. Даже самое маленькое пространство можно сделать просторным, если подойти к его устрой-

ству с умом. А тут... Мебель не подбиралась, а поступала по случаю, предметы не соответствовали друг другу. Ковёр...

Этот ковёр Аркадия раздражал больше всего. Глупый советский ярлык того, что квартира не из бедных. Теперь же он давно демонстрирует, что в таких жилищах обитают отсталые, безвольные, косные люди.

Мама звякнула крышкой кастрюли и тихо, но зло заругалась на себя. И Аркадий мгновенно тоже наполнился злобой — злоба втекла в него бешеным потоком, забурлила, утопила сердце, мозг в едком яде. Злоба была не на маму, а на брата. Брат сейчас мирно спал, а Аркадия колотило от ненависти.

Представилось, что Юрка вышел из спальни. Да нет, Аркадий увидел его отчётливо, будто в реальности. В широченных клетчатых шортах до колен... Толстые волосатые голени... Застиранный домашний майка... Мускулы давно спрятались под слоем сала... Кожа бледная, рыхлая, с веснушками... На левом плече расплзшаяся по лишней коже татуировка — парашют, самолёт и буквы «ВДВ»... Волосы редкие, недлинные, но при этом спутанные, над висками торчат в стороны, как у клоуна... Глаза маленькие от долгого сна, на подбородке и щеках седоватая щетина... Майку задирает круглое тугое пузо, темнеет ямка пупа...

Злил не сам вид стареющего брата, а эта его вопящая о себе запущенность. Этаким пупс, но не пятилетний, а на пятом десятке. Сейчас раскроет пасть и тонким голосом потребует: «Мама, ням-ням». И мама, забыв о другом сыне, который давно привык сам о себе заботиться, сам себя кормить, бросится к этому пупсу с тарелкой и ложкой...

Пупс нажрётся и плюхнется перед теликом. И, поглаживая пузо, порыгивая и попукивая, станет комментировать происходящее на экране, то и дело переключать каналы, ни на одном не находя для себя интересного. И бубнить, бубнить.

Отвратительное это действо прошлым летом Аркадия взбесило. Брат наткнулся на репортаж о гей-параде в Киеве.

Выковыривая спичкой из дуплистых зубов остатки хамона, тяжело выдыхая пары граппы, Юрка отложил пульт и заворчал:

— О, пидоросня веселится. Хе-хе... Да мордой об асфальт и яйца вырвать... Твар-рюги, а...

Вроде ворчал, но так, чтоб слышали. Наверняка обращался к Аркадию. Аркадий молчал. Брата его молчание распаляло — голос стал громче, с окраской:

— Ненавижу! Животные! — И оглянулся, затеребил взглядом: ну давай, чумачача, скажи что-нибудь, скажи; Аркадий смотрел на него и продолжал молчать — не хотелось грызни. А Юрка не унимался: — А вы-то с этим как? Как его? Вы-то не ходите на такое? — Подмигнул с усмешкой, мол, не стесняйся, поведай.

Аркадий надеялся на защиту мамы. Но она, словно ничего не происходило, собирала в стопку пустые тарелки. И тогда Аркадий ответил.

За минуту сказал брату всё: про его никчёмную жизнь, паразитство на материнской шее, показательную тупость, про все эти идиотские словечки, которые произносит с таким удовольствием, — «зашквар», «бетонить», «не отразил», «чурь», «ватокаты».

— Ты и есть животное, Юрий. Бесплезное и агрессивное.

Ожидал, что брат вскочит и кинется в драку, но тот не двигался. На широком мятом лице сохранялась усмешка, точно был рад, что Аркадия прорвало.

Да и случись драка, вряд ли бы старший победил — вялый, размякший, потерявший здоровье в этом продавленном кресле. Три-четыре раза в неделю посещавший фитнес-залы Аркадий теперь наверняка был сильнее. Никогда не дрался, но грушу бил так, что в ней надолго оставались вмятины от его шингарт. Так что вломить, особенно в таком состоянии, мог прилично. Был готов, глазами звал Юрку. Разобраться, расставить точки...

Но Юрка продолжал сидеть. Держал губы в усмешке. Зато накинута мама. Не буквально — словами, но хлесткими как пощечины:

— Прекрати сейчас же! Ишь ты! Чего разошёлся-то, а? У тебя одна жизнь, у него — другая. И нечего судить. Ещё посмотреть надо, кто полезный, а кто нет. Он столько лет на заводе, двое детей — род наш продолжил. А ты чего? Ты-то чего?.. Мне тоже эти, — мама кивнула на телевизор, — поубивала бы.

Аркадий ушёл в соседнюю комнату. Взял первую попавшуюся книгу, сел на свою кровать. Делал вид — для самого себя делал вид, — что читает. А на самом деле невидяще смотрел на страницу, стараясь унять колочение, проглотить ком обиды. Но он, этот ком, прыгал и прыгал в горле, и во рту стало кисло... Ночью долго лежал с открытыми глазами, прислушивался, ждал, что брат налетит, станет колошматить или душить. Обычно раздражающий храп Юрия в эту ночь был приятен — означал, что тот спит, и Аркадий тоже засыпал под храп, а просыпался от тишины.

Ссора на другой день не продолжилась, но обстановка была натянутая. Особенно в отношении мамы к Аркадию. Она не разговаривала с ним, не смотрела на него; Аркадий не решался обсудить вчерашнее, боясь нового потока обидных слов. Юрка же, помалкивая, явно торжествовал от того, что мама заступилась за него, а Аркаша-какаша остался виноват.

Через два дня Аркадий уехал, потом побывал на мамином дне рождения — всего сутки, — а теперь приехал, как думал, недели на полторы. Но сейчас понял: вряд ли выдержит так долго. Его откровенно не хотят здесь видеть. Нет, увидеть, может быть, хотят, а видеть изо дня в день — нет.

И он, тридцативосьмилетний человек, известный, успешный, уважаемый и любимый многими тысячами, почувствовал себя здесь, в родной квартире, на диване, где играл первыми кубиками и погремушками, обложенный подушками и одеялом, чтоб не свалился на пол, таким маленьким, одиноким, незащищенным, что потянуло забраться на диван с ногами, свернуться, спрятаться в себе самом. Тихо, без всхлипов, заплакать.

Выскочило воспоминание, и лечь, свернуться, заплакать сразу расхотелось. Воспоминание это когда-то уже выскакивало из глубин памяти, очень глубоких глубин: он, Аркадий, просыпается, он ещё не умеет вставать и ходить, поэтому лёжа зовёт маму, зовёт не словами, а крикливым плачем — слов он тоже пока не знает.

Но не подходит ни мама, ни брат, которого она часто оставляла с ним. И Аркадий — сколько ему было тогда, он теперь боялся даже гадать, чувствуя, что это будет возраст, от которого не может оста-

ваться воспоминаний, — Аркадий осознаёт: он один. Один. Никто не накормит, не согреет, не скажет хороших слов, и он не улыбнётся в ответ и не забудёт ножками, ручками... Обрушился страх — тот страх, какой не даёт даже плакать, — и Аркадий чуть не захлебнулся им.

Кто в конце концов подошёл, кто стал успокаивать, гладить, он не знал. Да и не хотел знать ни тогда, ни теперь — главное, кто-то появился. Родной, чужой... И страх сменился тем, что принято называть счастьем, и воспоминание обрывалось. Обрывалось на ощущении счастья.

Потом вспоминалось не раз — в дошкольном детстве. Года в четыре, в пять, в семь — в тот период, когда Аркадий ещё не свыкся, не сросся со своим «я», со своей отдельной жизнью, не научился быть один. Когда зависел от других, близких, и боялся возможного одиночества. Не какого-нибудь там душевного, духовного, а самого настоящего. Просто го и по-настоящему жуткого, когда ты — один.

Но быть один приучился, даже стремился к этому — окружающие чаще всего обижали, а одиночество подсовывало интересные книги, передачи в телевизоре, учило фантазировать, мечтать. И вот сейчас, спустя годы, этот страх навалился снова, схватил так, что стало невозможно дышать...

Вскочил, потёр горло, пошёл на кухню.

Там что-то жарилось, тяжело пахло жирным и несвежим. Мама скоблила картошку.

— Мама, — хрипло, сквозь удушье, спросил Аркадий, — почему ты меня не любишь?

Она с готовым, словно отрепетированным недоумением глянула на него.

— Как не люблю — люблю.

И продолжила царапать ножиком угреватый клубень. Но царапала торопливее.

— Нет, мама, не любишь. Я... я вот там сижу, и ты даже... — Хрип исчез, вместо него возникло повизгивание; Аркадий прокашлялся громко и некрасиво. — И ты даже ни о чём меня не спросила, ушла сразу... а я там...

— Чего спрашивать? Всё ведь знаю. Готовлю вот... Юрка встанет, сядем за стол и поговорим.

Он слушал эти слова, вроде бы здравые, справедливые — ну да, сядем за накрытый стол и будем разговаривать, — но уверенность, что прав, только крепла. И вместе с этой уверенностью чувствовал, как слабеет. И снова захотелось лечь на диван, свернуться, сжаться...

— Неправда. Когда любят — не так всё... не так встречают, смотрят... Я раньше думал, что у тебя времени не хватает меня любить, что устаёшь, что постоянно ищешь, чем нас накормить, одеть... — Аркадию было стыдно это говорить, но не говорить он не мог. — Мечтал: вот я заработаю много, и изменится, будем путешествовать, и ты изменишься... Твоё отношение. Я ведь для тебя всё это делал, чтоб ты по-другому жить стала, в другом во всём... А потом понял: не в этом дело — что б я ни сделал, ты такая же... Ко мне... Думал, ты Юру слабым считаешь, хотя он такой... крепкий... был, поэтому так его... как с маленьким. А я сильный, дескать... Нет, не так, не это... Просто его ты любишь, мама, а меня — нет. Видно же, когда любят, а когда не любят. Терпят. Меня ты терпишь. Но я ведь не этого... Мне не это нужно.

— Да люблю я тебя, господи! — Мама бросила картошку в раковину. — Что за истерика? Люблю.

А Юрка — у него видишь как всё случилось. Ему действительно поддержка нужна. А кто его поддерживает?

— Поддержка — это одно. Это другое совсем... Я просто вижу, как ты на него смотришь, как всегда на его сторону, если что... Ты с ним всегда.

Аркадий привалился к стене — боялся, что упадёт. Ноги сделались совсем слабыми. Мама снова взяла картошку, заскобила; нож сдирал и шкурку, и уже очищенное.

— Ну да, — согласилась, — с ним. Он здесь всю жизнь. Рядом.

— Я не про то.

— А про что?

— Про любовь.

— Заладил. Мне никто про любовь эту не говорил, так с чего я должна...

— Не обязательно говорить. Любят и без слов. Я вижу, что Юрия ты любишь, а меня...

Что-то не позволило ему договорить, повторить это «нет». Наверное, лицо мамы — такого выражения Аркадий ещё не видел... Она отчётливо и мучительно пыталась проникнуть в то, о чём говорит младший сын, в чём её упрекает. Может, копалась в себе, ворошила прошлое, чтобы ответить, — не отмахнуться словами, а действительно ответить. Объяснить ему и себе, почему же так. И Аркадий замолчал, боясь разрушить это её состояние.

— Ты другой, — сказала. — Юрка — он мужик. И всегда им был, даже когда в пелёнках лежал. А ты, Аркаша...

«Аркаша» упало ему на душу, как горячая капля.

— Другой ты, не такой. Чужой какой-то. Как... ну, как не мой сын. Но, — мама спохватилась, — мой,

я знаю, вижу. Ты на своего отца очень похож. И он другой был, не как все, и ты... И взгляд другой, и всё. Движения, запах. Немужик, понимаешь? Немужик... И я не знаю, как с тобой. Как относиться, говорить что. Юрка понятный, а ты... И ни семьи, ни детей. И вот я не знаю... сердцу, народ правильно говорит, не прикажешь. Уж извини, но не прикажешь себе ведь.

Последних слов Аркадий уже не слышал — в голове билось это «немужик». Странное, непривычное, уродливое. Билось, постепенно входя глубже и глубже, как тупой гвоздь. «Немужик... немужик... немужик... немужик...»

Вышел из кухни. Постоял, часто моргая, оглядел зал, будто видел его в первый раз. Тесный, убогий, нечистый. Подумалось: «Что я требую от них, какой любви?» Шагнул широко, как через яму, в прихожую. Снова постоял, потрогал высокий — ему почти по пояс — чемодан. Там сыр, колбаски — надо их в холодильник...

Стал обуваться.

— Ты куда? — за спиной оказалась мама.

— Я... пройдуся немного... посмотрю...

— Недолго только давай. Юрка встанет — и сядем.

— Да.

Снял с вешалки куртку. Нашупал в одном кармане бумажник, в другом — плашку айфона.

— Зачем куртка-то? Там жара такая — спечёшься.

— Так... Пусть будет. — Открыл дверь.

Задержался на пороге, ожидая, что мама ещё что-нибудь скажет. Одёрнет, сделает замечание... что-нибудь. Молчала. Чувствовал — она здесь, смотрит на него. Наверное, мысленно торопит, чтоб скорей вышел...

Во дворе было тихо, безлюдно. Взрослые на работе, дети на прудах.

Медленно, как старый или больной, Аркадий добрёл до скамейки. Сел, потёр ладонями виски, пошлёпал по щекам. Хотелось как-то проснуться, что ли. Очнуться.

«И чему ты так поразился? — спросил себя. — Ты про это всю жизнь знал. Чего теперь разыгрывать трагедию? Сам маму вынудил сказать. Заставил. Она сказала, а ты расстрадался».

— Правильно, — ответил вслух и повторил твёрже: — Всё правильно.

Рефлекторно вынул айфон, зажёл дисплей. Коснулся пальцем зелёной иконки с белой трубкой. Появились столбиком имена тех, кому он недавно звонил. Выше всех — «Машак». Да, разговаривали сегодня утром, когда прилетел в область.

Миха сейчас в Кракове, занят новым проектом, их совместным проектом, но Аркадий сорвался сюда. На несколько дней. Миха отпустил, конечно, он понимает, что значит мама, семья. Он давно лишён этого. Ему нельзя домой. Со своей мамой виделся несколько раз, тайком от отца и братьев, то в Геленджике, то в Анапе.

И сюда Михе нельзя... Вот кто по-настоящему может остаться одиноким. А у него, Аркадия, это всё ерунда. Семейные тёрки, хе-хе... У него ерунда.

«Переоформи билет и лети сегодня. Завтра к обеду будешь там, — велел тот же голос, что минуту назад объяснял: ты сам вынудил, а теперь страдаешь. — Лети, увлекись работой».

Действительно, вызвать такси. И всё. Сразу в аэропорт. Рейсов в Москву вечером несколько. Там пересадка до Варшавы, оттуда — в Краков. И отсечь вот

## Немужик

это всё. Иногда звонить, присылать деньги, но убедить себя, что в родной город больше не попасть — он в другом измерении, на другой орбите... Да, звонить, переводить деньги, но не приезжать. Отсечь и перестать мучиться.

Аркадий убрал айфон, снова пошлёпал себя по лицу. Глубоко вдохнул и выдохнул, поднялся и пошёл домой. К маме и брату.

## А папа?

**Н**аверное, и до этого у Гордея была жизнь. Наверное, он плакал, смеялся, смотрел телевизор, играл в игрушки, рыл пещерки в песочнице, знакомился, дружил и ссорился с мальчиками и девочками. Но теперь он ничего не помнил о том времени. Ещё совсем недавно, вчерашнем. Оно забылось, как сон утром. Лишь пёстрые блики, ощущение, что там было важное — хорошее и плохое, — а что именно, пропало. Стёрлось, испарилось, исчезло.

Остались лишь мама, знакомая одежда на нём и две большие сумки, возле которых он, Гордей, стоял недавно, радостный и довольный, ел что-то сладкое и душистое. И воздух пах тогда вкусно, и много-много тёплой воды было перед его глазами, и нестрашно кричали бело-серые быстрые птицы в небе... Но где это было, где он стоял...

Теперь эти сумки мама катила так, будто у нее совсем кончились силы, и стонала. Гордей пытался ей помогать, а мама говорила сердито и мокро:

— Да не висни ты! Не висни, господи!

Пришли туда, где много людей, и все с сумками, чемоданами, тележками. Одна тележка чуть не сбила Гордея с ног; он вовремя спрятался за маму...

Остановились у вереницы одинаковых домиков на колёсах. Домики походили на лежащие на боку огромные чемоданы, но в них были окна.

— Мама, это поезд? — спросил Гордей, обмирая от радости и страха.

— Поезд, поезд... Вон наш вагон...

Мама подала бумаги женщине в синем костюме. Та посмотрела и сказала:

— Места девятое, десятое.

Дверь была высоко, к ней вела лесенка. Мама стала поднимать сумки, но у неё не получалось.

— Помогите, — попросила мужчину, стоящего рядом и ждущего своей очереди забраться в вагон.

— Я не носильщик, — сказал мужчина.

Мама прошипела что-то, собралась с силами и закинула сначала одну сумку, потом другую.

— А и хрен с ним, — хохотнула зло, — всё равно больше рожать не хочу!.. Гордей, залазь. Живо!

Долго ли они ехали в поезде, он не понял. Стал осматривать полки, столы — один на палочке, другой висящий без всего, окна с двух сторон, в которых побежали дома, деревья, облака, — и уснул.

Разбудила мама — вытолкнула из уютного мирка, который сразу пропал, — усталым и строгим голосом:

— Поднимайся. Сейчас выходить.

Гордей сел, ощущал себя, понял, что одет, готов, и тут же веки отяжелели, голова склонилась...

— Пошли-пошли!

Одну сумку мама несла в руке, другую катила. Он плёлся сзади, боясь спрашивать, куда они едут, где сейчас выйдут. Вагон покачивался, и Гордей ударялся о разные выпирающие в проход штуковины. Делалось больно, но жаловаться он не смел...

Та женщина в синем костюме была у двери. Когда поезд начал тормозить, отомкнула её большим ключом, а когда почти остановился — открыла.

Наклонилась и с лязгом опустила лесенку.

— Минуту стоим, — сказала маме.

Мама дёрнулась:

— Так пропустите!

Женщина подвинулась, и мама стала спускаться по ступенькам первую сумку. Сумка спускалась медленно; мама плюнула — «тьфу!» — и бросила её вниз. Потом так же — вторую. Подхватила Гордея... Гордей хотел сказать, что он может сам. Угадал: не надо. С мамой сейчас не надо спорить. И даже говорить ей ничего не надо. Лучше молчать.

На улице было странно. Вроде тепло, но приходили волны сырого холода, и тело начинало дрожать; вроде темно, а с одной стороны небо краснело и выше сочно синело, как та тёплая вода в забытом хорошем месте.

Под вагонами шикнуло, и поезд поехал. Сначала медленно, через силу, но тут же набрал скорость, и последние вагоны промчались мимо Гордея и мамы так, что завихрило.

Мама открыла одну сумку, вытащила кофту. Протянула Гордею:

— Одевай.

Он послушно стал её натягивать, колючую и маловатую. Но запутался, и мама, всхлипнув, резкими движениями ему помогла.

— Пойдём на вокзал.

Вокзал был большой комнатой с сиденьями. На нескольких скрючились во сне люди. Мама посмотрела на часы и пробормотала:

— Ещё два часа. Чёрт... — Повернулась к Гордею: — В туалет хочешь?

— Нет. — Он честно не хотел.

— Садись тогда. Поспи.

Он сел, положил голову на спинку сиденья, закрыл глаза.

Спать теперь не получалось, но он мужественно сидел так, с закрытыми глазами. Казалось, если будет слушаться, что-то изменится. Снова станет как в том времени, которое теперь он не помнил. Только ощущал.

Может, потому и не помнил, что там было хорошо и понятно, — для чего запоминать? А вот это всё, происходящее сейчас, он, знал, запомнит. И будет долго разбираться, что происходило, зачем сумки на колёсиках, такая будто чужая мама, зачем поезд, вокзал, это неудобное сиденье...

— Пора, — раздался мамин голос, и сразу за этим — лёгкий тычок. — Встаём. Сейчас автобус приедет.

Автобус оказался коротким, с одной дверью и узким проходом внутри. А людей — много, все места заняты. Стоявшие люди ругались на маму, что она всё заставила своими сумками.

— Я за багаж заплатила! — отвечала мама металлически.

Люди продолжали ругаться. Гордей жался к сумкам.

Потом автобус поехал, и люди постепенно стихли.

Дорога была в ямах и кочках, Гордея подбрасывало, болтало, и вскоре он почувствовал, что в глубине горла стало горько, там забулькало.

— Мама, — позвал он.

— Что? — Мама пригляделась и стала доставать что-то из кармана. — Тошнит? — Развернула пакет. — Давай сюда вот.

Гордея вырвало. Чуть-чуть. Наверное, потому что он давно ничего не ел и не пил. И ещё — он из всех сил сдерживался. Было стыдно, что это с ним случилось. Все вокруг ведь нормально едут.

От этой мысли — что он сдерживается — Гордея затошнило снова. Мама подставила пакет и кому-то в сторону зло сказала:

— Вместо того чтоб кривиться, место бы уступили.

— Аха, я должен такие деньжищи за билет выкладывать и ещё стоя ехать, — ответил хрипловатый мужской голос. — Щ-щас!

Люди снова стали ругаться. Но теперь ругали не маму, а этого мужчину с хрипловатым голосом. А одна пожилая женщина поманила Гордея:

— Иди, милый, ко мне на коленки.

Гордей замотал головой, а мама толкнула его:

— Ну-ка давай. Ещё в обморок хлопнуться не хватало. Иди, сказала!

Гордей не любил чужих людей, не привык к ним. В садик его пока не отдавали, и он не научился быть в коллективе. Разве что на детской площадке, но тех детей он теперь забыл.

А автобус был тем самым коллективом. Не дружным, и всё-таки каким-то единым.

— Иди, иди, — говорили люди с разных сторон. — Посидишь, ножки отдохнут, животик уляжется.

На мягких ногах женщины действительно стало получше. И Гордей не заметил, как положил голову ей на грудь, а потом свернулся калачиком, приобнял... Ему стало казаться, не мыслями, не словами, а неосознанным чувством, что он в кроватке, как совсем маленький, и её, эту мягкую, тёплую кроватку, покачивают бережные руки. Мамины или кого-то ещё, родного.

И опять тормошение.

— Просыпайся! Вставай, говорю! Подъезжаем!

Гордей с великим усилием вернулся из дрёмы. Жалобно стал оглядываться вокруг, не понимая уже, где он, что ему делать.

— Пора тебе, милый, — сказала женщина, — мама зовёт. — И спустила в проход меж сидений.

Мама была в начале автобуса. Устраивала там сумки у двери.

— Шагай сюда живо! — велела Гордею.

Потом шли по улице без асфальта. Вместо асфальта была кочковатая земля, ямки присыпаны чем-то серым, хрустящим. Может быть, потом, когда подрастёт, Гордей узнает, что это зола от сгоревшего угля.

Справа и слева домики в один этаж, ворота, покрашенные синим или зелёным, тянулись щелястые заборы... Улица была длинная, однообразная, и уставший Гордей не верил, что у неё есть конец.

У одних ворот, некрашенных, деревянных, мама остановилась.

— Ну вот, — выдохнула успокоенно.

А Гордею стало страшно от этого выдоха. Слово мама поставила точку, но поставила в неправильном месте. Он слышал, что писать — это очень сложно. Кроме букв, есть ещё точки, запятые, какие-то

другие знаки, и если их поставить не там, то слова станут означать не то что нужно.

Мама взялась за железное кольцо и открыла калитку в воротах. Перекатила через деревянный порожек-доску сумки. Одну, другую. Оглянулась на Гордея:

— Заходи. Чего ты...

Он послушно вошёл на заросший травой двор. По центру трава была низкая, а вдоль забора, у ворот — высокая, волосатая, с тёмно-зелёными листьями.

— Это крапива, — сказала мама, — её не трогай. Кусается.

В мамином голосе появилась жизнь, даже что-то весёлое... Нет, не весёлое, а такое, от чего Гордею стало легче. Захотелось прыгать, играть.

Слева стоял домик с дверью, обитой чёрным потрескавшимся материалом. Дверь заскрипела, когда мама потянула её на себя.

— Тётъ Тань, — позвала мама. — Ты тут?

Из глубины домика ей что-то ответили.

— Пойдём, — сказала мама, втаскивая сумки в полутьму.

В этой полутьме было душно и жутко. Так, наверное, выглядит жилище Бабы-яги. А вот и она. Тёмная, в платке, налезавшем на лицо, в сером переднике. И скрипуче она говорит:

— А, прибыли? Я уж и ждать перестала.

— Да всё так... — жалобно отозвалась мама, стала объяснять: — Думала, наладится ещё. Ждала тоже...

— Ну чего ж, проходите. — И Баба-яга, наоборот, сама пошла к ним; Гордей прижался к маме. — А это и есть твой?

Мама быстро и мелко закивала:

— Он. Гордей.

А папа?

— Не дождалась Ольга-то. Не увидала.

— Да-а...

— А как его так, ну, ласково называть?

Мама посмотрела на Гордея:

— Гордюша, наверно.

— Гордюша... Это от «гордый» получится.

— Ну, не знаю. Можно Гордейка как-нибудь...

Я Гордей и Гордей зову.

— Ладно, проходите. Чего в пороге мяться...

Мама подтолкнула Гордея вперёд:

— Познакомься, это баба Таня. Твоей родной бабушки Оли сестра. И тоже, значит, твоя бабушка. Понял?

В доме пахло невкусно. И то ли от этого запаха, то ли от усталости Гордея снова стало тошнить. Он плотал набегающую изнутри в рот горечь обратно, а она возвращалась.

— Как доехали-то? — спросила баба Таня.

— Боле-мене... Доехали.

— Есть, поди, хотите?

— Я бы поела. Привезла тут кой-чего. — И мама стала открывать одну из сумок.

— Доставай-доставай. У меня-то не шибко. Пенсю почти всю Виктору отсылаю. До сих пор всё работу найти не может... В наше время каждая рука наперечёт была, а теперь — гуля-ай...

— Я деньги оставлю, — перебила мама. — Вы Гордея как-нибудь... ну, чтобы не голодал хоть...

Баба Таня всплеснула руками, передник колыхнулся, как лист картона.

— Ты чего молоть начала?! Голодать, ишь! Хлеб с мёдом всегда будут. У меня ж хахалёк пять ульев держит. — Она заговорила тише и как-то сладенько. — Геннадия помнишь? Вот он ко мне, как свою

схоронил, прям лезет, как этот... Так. Картошки полно подполье... Огород счас пойдёт, огурцы все в зародках... Голодать он будет... Придумала!

— Спасибо, спасибо, тётъ Тань, — дёргала головой мама. — Я так... вырвалось.

— Много у вас вырывается... С ума послетали в городах, вот и беситесь. Своды-разводы... Держать себя надо, чтоб не вырывалось... Ладно, руки вон мойте и давайте есть, что ли. С дороги-то...

— Я не хочу, — твёрдо сказал Гордей.

Мама посмотрела на него; лицо её было страшным.

— Как — не хочешь?

Гордей представил, что в него насильно запикивают чужой ложкой из чужой тарелки что-то тёплое и вязкое, как каша, и ему стало противно до слёз.

— Не хочу, ма-ам!

— Ты со вчерашнего вечера ничего...

— А не уговаривай, — сказала баба Таня. — Не уговаривай. Захочет — сам подойдёт, просить станет. Чего баловать? — И махнула Гордею на дверь: — Поди погуляй, двор погляди.

Мама испугалась:

— Как он один там?

— А чего? Калитку закрываешь?.. И пускай. Надышится, аппетита наберётся... Собаки у меня нету... Ох, изнежились вы там, и ребятишек таких же растите. До пенсии ширинку им будете расстёгивать, чтоб пописили.

— Ладно, Гордей, иди, — разрешила-велела мама и сама открыла ему дверь, не уточняя, хочет он гулять или нет. — Только на улицу не выходи. Понял?

Гордей постоял несколько секунд — пугало новое место, но и оставаться здесь, в домике, было

тяжело и опасно. Останется, и начнут кормить, а он не будет, и мама заругается, может и шлёпнуть... Он шагнул, снова постоял, теперь на крылечке, и пошёл по двору.

Двор был скучный — ни качелей, ни песочницы... Гордей подобрал кривую палочку, представил, что это сабля, а он — воин. Нужен был враг... Ударил по высокой травине с тёмно-зелёными листьями и волосатым стеблем. Травина дёрнулась и, надломившись, повалилась на Гордея. Он быстро попятился.

Постоял, глядя на поверженного противника, и, размахнувшись, ударил по второй травине. Та стала падать вбок, на другие травинки, но вдруг изменила направление...

На этот раз отскочить не успел, и листья задели его по руке.

Сначала Гордей ничего не почувствовал, а потом руку защипало, зацарапало... Он выронил палку, схватил здоровой рукой раненую, сжал. Глазам стало мокро; он побежал было к маме, но тут же передумал.

Не надо. Потерпит. Тем более колет и щиплет не так уж сильно. Потёр кожу, прислушался. Да, боль стихала.

Поднял палку и ударил по третьей травине. И сразу побежал спиной вперёд. Когда третья лежала на земле, опять подошёл к зарослям. Врагов было много...

— Привет, — сказали ему; будто сама трава сказала. — Ты кто?

Гордей опустил палку, присмотрелся. Сквозь стебли и щели забора на него смотрели дети.

— Я — Гордей, — четко, выговаривая сложную «р», ответил он.

— А ты откуда?

— Я — приехал.

— К баб Тане?

Гордей подумал и сказал:

— Да, к бабе Тане. — И добавил для твёрдости: — Я с мамой приехал.

Дети за забором помолчали, потом кто-то из них спросил осторожно:

— А кто твоя мама?

Гордей не знал, кто его мама, кроме того, что она его мама. Но он вспомнил нужное слово и ответил:

— Директор.

Дети снова помолчали. И задали новый, ещё более сложный вопрос:

— А папа?

Папа... Да, про человека, которого называют «папа», Гордей слышал. Он такой же важный, как мама, но другой... «Мама и папа». Но своего папу он не мог вынуть из забытого им времени.

И Гордей сказал:

— Мой папа — президент!

За забором засмеялись.

— Путин?

Слово «Путин» Гордей знал. По телевизору часто говорили это слово, и мама тоже иногда. Но оно не подходило для папы. А «президент» — подходило.

— Не Путин. Другой президент. — Гордей замялся, но фантазия выручила: — Он всеми машинами управляет. Как на них ездят.

Дети пошептались и позвали:

— Выходи играть.

Вот так запросто пойти к незнакомым было нельзя. Мало ли. Да и мама разозлится. Она его дале-

ко никогда не отпускала, и что он точно хорошо помнил, так это её крики во время прогулок: «Гордей, ты куда?! Вернулся сейчас же! Быстро ко мне!»

Но не пойти к детям нужно было как-то с достоинством. И тут помог голод — забурчал в животе, стал щипать.

— Я есть хочу, — сказал Гордей и пошёл в дом.

Вслед раздалось:

— Вынеси печенюшек!

— И конфет!..

Есть пришлось согревшуюся в сумке, липкую колбасу с хлебом. Гордей жевал и пытался вспомнить, кто по-честному его мама и папа. Папа был, точно был, но какой он, Гордей не мог представить. И мама не рассказывала про папу...

— Мам, — спросил, — а ты кто?

— Х-хо! — Мама посмотрела на бабу Таню, ища у неё поддержки в своём изумлении. — Я твоя мама! Нет?

— Я знаю... А ты начальник?

— Хотя бы для тебя, да, начальник. Не будешь слушаться — такой выговор по жопе влеплю.

Гордей кивнул, потом, решившись, спросил ещё:

— А папа кто?

— Папа?.. Папа — козёл с бубенчиком.

Баба Таня печально вздохнула, а мама повторила твёрдо, колюче:

— Козёл.

Что такое «козёл», Гордею было известно. Такое животное с рогами. Некрасивое и противное. И опасное — бодается.

Что оно могло быть его папой, он не поверил. Хотя как-то он видел по телевизору, как один маль-

чик превратился в козлёнка, потому что попил грязной воды из лужи. И сестра мальчика очень плакала... У Гордея появился новый вопрос:

— Его превратили?

— А?..

— Его в него превратили? Папу.

— Сам он себя превратил.

— А где он?

— Ты решил доконать меня? Пасётся он, пасётся, как все козлины. Всё! — Мама рассердилась. — Поел — пей сок и... и иди вон в комнату. Я тебе игрушки там достала...

Гордею хотелось вернуться на улицу, к детям, которые наверняка его ждут. Но на столе не было ни конфет, ни печенья, нечем их угостить, и он пошёл к игрушкам.

Стал расставлять кубики, которые превратятся в дома, и он будет катать между ними машинку. Слышал малопонятный разговор мамы и бабы Тани. Вернее, не хотел понимать, чтобы не испугаться.

— Полгода думала, что образумится, придёт... Первое время хоть переводы иногда присылал, а потом вообще. Исчез, козлина. Даже на ребёнка ни копейки... Последние два месяца за квартиру нечем было платить. Хозяин гопарей нанял, чтоб выкинули... Вот с двумя чемоданами осталась. И с этим...

— О-хо-хох...

— Одна я, может, куда и приткнусь, а с ним... Пусть с вами побудет, тётъ Тань...

— Что ж, говорено уже...

— Спасибо.

— Просрала своё женское счастье, теперь вот маешься.

— Какое счастье, тёть Тань? Вы б его видели...

— Что, гвоздил он тебя? Пил запоями? А?

— Пить — не очень, а руку поднимал.

— Ну так, видать, доводила. Ты — языком, а он — кулаком. Пилила, а?

— Срывалась... Но я человек эмоциональный. Что, молчком всё, что ли?

Баба Таня скрипуче посмеялась:

— В постели надо свою эмоциональность проявлять, а не так. Срыва-алась она...

— А что ж вы с дядь Витей разбежались?

— Но-ка! Ты в нашу жизнь не залазь. Свою устрой, тогда и будешь...

— Извините.

Мама вошла в комнату и сказала Гордею дрожащим голосом:

— Наигрался? Надо поспать. Заканчивай.

Гордей молча кивнул. Собрал в кучку кубики... Спать не хотелось, и теперь он вообще трудно засыпал днём, но говорить об этом было страшно. Лучше слушаться.

Умывались не под краном, а под какой-то кастрюлей, в дне которой был штырёк. Этот штырёк нужно было толкать вверх, и тогда из отверстия лилась вода... Кастрюля висела высоко, и вода стекала Гордею под рукава, за шиворот. Вместо раковины было ведро на табуретке, из него иногда вылетали грязные капли...

— Бельё там в стопочке, — говорила баба Таня, — сами застелитесь.

Мама застелила железную койку и уложила Гордея на чистую, но пахнущую какой-то прелью простыню. Накрыла одеялом. Присела рядом. Потом прилегла.

Смотрела на Гордея странно-пристально, гладила по голове. Молчала. Гордей тоже смотрел, смотрел на неё, а потом его глаза устали и закрылись. И он уснул.

После того как проснулся, началась жизнь без мамы.

Гордей, конечно, спросил бабу Таню:

— А где мама?

Та ответила:

— Уехала твоя мама. Со мной покоротаешь... Вернётся потом. — И добавила строго: — Не плачь! Не люблю плаксунов. Я их в печке сушу.

Гордей оглянулся на большую, покрытую пыльной извёсткой печь и не стал плакать. Что толку... Маму слезами не вернёшь, а эту старуху, которая, может, по-настоящему Баба-яга и притворяется простой бабушкой, разозлишь. Возьмёт и засунет в печку, а маме скажет потом, что он потерялся.

Баба Таня покормила его гречневой кашей с колбасой и отправила гулять во дворе.

— Там на задах, за избой, курицы есть. Погляди, только не заходи к им, а то выпустишь, весь огород склюют.

Куриц смотреть желания не было. Гордей подошёл к калитке и стал изучать улицу через щель. Улица была пуста и тиха. Стало скучно. А потом обидно, что мама его оставила. Уехала.

Но, наверное, ей очень надо. Она сделает дела и вернётся. И вернётся...

Домик бабы Тани был маленький: кухня, в которой баба Таня спала на приставленной к печи лавке, и комната, где поселили Гордея. В комнате высокий, с пятью рядами ящиков комод, койка, стулья, коврик с рогатым оленем на стене... Телевизор был на

кухне, и Гордей боялся проситься его смотреть — баба Таня сама смотрела, и всё какие-то неинтересные передачи про болезни.

Во дворе оказалось куда интересней. Опасная, но странно притягательная трава-крапива, с которой хотелось воевать и воевать, пугающая чернотой в окошечке баня, брошенные сарайки, в которых пахло едко и таинственно, груда поломанных и трухлявых досок, из которых торчали рыжие изогнутые гвозди, курицы за сеткой, требующие у Гордея травки. Он давал им травку, мягкую и неколючую, которая росла за баней, просовывал меж ячеек сетки. Курицы забирали травку клювами и требовали ещё...

Гордей заметил, что петуха у них нет, и как-то, когда ели яичницу, спросил у бабы Тани:

— А петушка у курочек нету, да?

— Нету.

— А как они яички несут?

Баба Таня усмехнулась:

— Ишь какой образованный... Яйца они и без петуха несут. Только из них цыплята не появляются. А мне и не надо — возни с ими... Осенью порублю, бульон буду варить, а весной новых куплю. Двести рублей штука.

В домике Гордею было тоскливо, хотелось к маме и плакать. Большую часть времени он проводил во дворе, осматривал и трогал то, что там находится.

Через день или два — время для него растянулось — у забора снова появились дети.

— Привет, — поздоровались. — Ты ещё тут?

— Тут. — Гордей принял взрослый вид. — Я тут долго буду. Меня мама оставила.

— А куда она уехала?

— Дела делать.

— Выходи гулять.

Гордею хотелось гулять. То есть даже не гулять, а увидеть этих детей по-настоящему, а не через щели в заборе.

— Сейчас, я только бабе Тане скажу.

Дети как-то насмешливо ответили:

— Давай.

Гордей, уже направившийся к домику, услышал насмешку, остановился:

— Нужно говорить, куда уходишь. А то старшие волнуются.

— Ну да, ну да... — Теперь ответ был без насмешки.

Баба Таня отпустила легко, даже вроде бы с готовностью. И Гордей пошёл к детям.

Их было трое — девочка Алина и двое мальчиков. Саша и Никита. Гордей определил, что они старше него, но немножко. Он держался напряжённо, ожидая, что они сделают ему плохо или будут смеяться над ним. Но они не смеялись. Наоборот, старались подружиться.

— Хочешь, покажем, где свинью похоронили? — предложил Никита, и Гордей по голосу определил, что именно Никита с ним разговаривал из-за забора.

— Хочу.

Пошли по узенькой улице, по краям которой густо росла волосатая трава и тянулась своими верхушками к ним, как живая.

— Это крапива, — сказала Алина, — до неё нельзя дотрагиваться, а то изжалит.

— Я знаю.

А папа?

— А ты откуда приехал?

Гордей помнил весь их путь с мамой, но откуда они отправились в него, сказать не мог. Не говорить же — «из дома».

И он сказал:

— Мы с мамой долго ехали, много где были.

— Вы путешественники? — с интересом спросил Никита.

— Ага. И мама дальше поехала пу... — Гордей запнулся на сложном слове, — путешествовать.

— А я в городе живу, — сказал молчавший до того Саша, полноватый, со взрослыми глазами. — Там два миллиона человек, и метро есть.

— Я тоже в городе, — сказала Алина.

— А, ты в маленьком. У вас метро нету.

Алина не стала спорить... Гордей хотел узнать, что такое метро, но не решился. Ещё подумают, что глупый.

За улицей был пустырь, почти весь заросший крапивой. Здесь крапива была на свободе и от этого, наверное, особенно крепкая и высокая. Целый крапивный лес... Лишь в одном месте крапивы не было, а была горка из красноватой земли.

— Вот тут свинью похоронили, — сказал Никита.

А Саша, страшно округлив и выпучив глаза, добавил:

— Здорове-енная была! Её четыре человека несли. И мой папа тоже.

— А дядь Толя плакал, — сказала Алина.

— Ну дак это его свинья же! И поросята без мамы остались. Один подох уже...

Гордей поёжился.

— Ты только никому, понял! — погрозил пальцем и сморщился, как старик, Никита. — Это тайна.

— Почему тайна?

— А-а, узнают в районе, эти примчатся. Всех сви-ней перережут. Скажут, грипп. И стайки сожгут... Никто не должен знать, понял?

— Понял. — Гордею хотелось сказать: «Я никого больше тут и не знаю, кроме бабы Тани». Почувство-вал — не надо. Повторил твёрже: — Понял. Не скажу.

— Айда обратно, — сказал Никита. — Скоро гуси за пивом пойдут.

Гордей не стал ничего уточнять — какое пиво, какие гуси...

Остановились у ничем не приметного забора. Постояли. И, когда Гордею стало так скучно, что он решил сказать, что идёт домой, из дыры в заборе по-лезли большие белые птицы с жёлтыми носами.

— Во, во, — зашептал Никита, — гляди.

— Это гуси? — тоже шёпотом спросил Гордей.

— Ну да. Не утки ж...

Первый гусь отошёл в сторону и остановился, наблюдая за пролезающими в дыру. Тихо гоготал, будто подбадривал или торопил.

Когда гусей стало много — Гордей не умел до-стольких считать, — первый пошёл по улице, а остальные — за ним. Шли, переваливаясь, держа прямо длинные шеи. На детей не обращали внима-ния. А те не шевелились. И Гордей тоже.

Лишь когда гуси оказались далековато, Никита сказал:

— Погнали.

И они медленно пошли следом.

— А зачем мы за ними идём? — спросил Гордей.

— Сейчас увидишь.

Перешли улицу с асфальтом. Впереди появился маленький магазин. Гуси остановились недалеко от

навеса сбоку, под которым были два высоких стола, а на земле окурки и всякий мелкий мусор.

— Сюда дед Вова пиво пить ходил, — начал объяснять Никита, — а гуси с ним ходили. Ну, он их типа пас... Потом он умер, а гуси сами стали сюда ходить. Без него.

Гуси стояли молча, вытянув шеи, глядя на один из столов.

— Дед Вова им хлеба кидал, вот и ждут.

И Гордею стал видаться стоящий за столом старик. Он облокотился, спина согнута, одна рука сжимает ручку большой кружки, а другая рвёт на кусочки ломоть хлеба. Рвёт, рвёт, а кинуть не может. А гуси ждут. И старик медленно растворяется в воздухе...

Через долгое время — ноги у Гордея устали — гуси заволновались, загоготали, повернулись и поковыляли обратно.

— Прикольно, да? — спросила Алина и улыбнулась, показав пустоту вместо передних зубов.

— Да не очень, — ответил Гордей и не признался, что видел старика-призрака.

Дальше шли по асфальтовой улице и встретили девочку с коляской. Алина тут же захныкала:

— Слав, дай мне Юрика покатать.

— Нет, мне мама не разрешает. — Девочка Слава была старше Алины, и Никиты, и Саши.

— Ну пожалуйста-а! Я буду думать, что это мой братик.

Девочка Слава помолчала и как-то, как королева, взмахнула рукой:

— Ну ладно. Только на дорогу не выезжай.

— Да, да!

— И называй Юриком, а не всяко.

— Угу.

Девочка Слава передала коляску Алине и куда-то побежала. А Алина, забыв про мальчишек, покатила её, покачивая и что-то напевая.

— Она братика или сестрёнку хочет, а родители не хотят. Вот и катает чужих. И думает, что это её, — сказал Никита серьёзно.

— Я домой, — объявил сразу погрустневший Саша.

— Давай ещё на качели ходим.

— Не хочу.

Никита поморщился.

— Я тоже тогда. Баба, наверно, оладьев напекла. «Дисней» буду с ними смотреть.

И они пошли в разные стороны. Гордей растерянно огляделся — где дом бабы Тани, он не знал.

Поплёлся наугад по асфальтовой улице и вскоре увидел магазин с навесом и столами. Долго определял, какая из четырёх тянующихся от него узких улочек была той, по которой они пришли сюда вслед за гусями. Наконец, кажется, определил. Пошагал. И вышел на полянку. Там стоял белый большой рогатый козёл.

— М-ме-е-е! — закричал он пронзительно.

Гордей попятился, а козёл пошёл к нему. И быстро остановился — идти дальше не давала верёвка, привязанная к колу.

— М-ме-е-е! — повторил козёл.

— Ты кто? — спросил Гордей, хотя понимал, что это настоящий козёл, совсем как на картинках. И разговаривать козлы, как и все животные, не умеют. Некоторые попугаи только...

— Ме-е.

— Что?

Козёл смотрел на него пристально своими большими выпуклыми глазами.

— Я — Гордей, — сказал Гордей. — Я недавно сюда приехал. К бабе Тане. А мама уехала.

— Ме-е. — Козёл тряхнул головой, и тут на его шее, под бородкой, звенькнул колокольчик.

«Козёл с бубенчиком», — вспомнились слова мамы; Гордей отшатнулся... Он не знал, что такое бубенчик, но наверняка что-то вроде колокольчика. Неужели... Ещё одно мамино слово: «Пасётся». Козёл пасся.

...И не просто так мама привезла его сюда. Баба Таня — его бабушка. Была и ещё одна... умерла. Значит, и папа здесь бывал, приезжал. Ходил и превратился. А мама не знает и поехала его искать.

— Папа, — тихо сказал Гордей, вроде и не козлу, а так, будто в сторону, но тот отозвался протяжно, жалобно:

— Ме-е-е.

Гордей увидел, что травка вокруг него короткая, жалкая, и сорвал длинной, мягкой, протянул.

Козёл поднял верхнюю губу, обнажив сероватые большие зубы. Не доставал... Гордей подошёл ближе, и козёл ухватил траву языком, рывками втянул в рот и стал жевать. Глядел на Гордея по-прежнему внимательно, пристально. Потом, перестав жевать, строго сказал:

— Ме-е-е!

Гордей сорвал ещё травы. Дал.

— Я не верю, что ты мой папа. Превращаются только в сказках. — Сказал специально отдельно, уверенно, чтоб посмотреть, как поведёт себя этот рогатый с выпученными глазами и некрасивым голосом.

И рогатый ответил особенно громким и почти понятным:

— М-мне-е-е!

— А?

— М-мня-а-а-а!

— Тебя?.. Тебя заколдовали?

Козёл стоял и смотрел на Гордея. Жевать перестал.

— Заколдовали, правда?

И козёл затряс головой, колокольчик стал звякать сипло, тускло.

— В-вот он где, голубчик! — раздалось за спиной Гордея.

Он обернулся и увидел торопливо, но медленно из-за старости идущую к нему бабу Таню. Всё в том же переднике, в платке, напозшем на лицо. В руке — палка.

— Я уж всю деревню оббегала, паразит! Думала, собаки сожрали или украл кто на органы... Мне что, обормот такой, по твоей милости в тюрьму садиться?!

Баба Таня приподняла палку, и Гордею показалось, что она сейчас ударит. Он попятился и ткнулся спиной в твёрдое, но живое, шевелящееся. Это была голова козла. Рога. Сейчас как даст ими... Гордей не выдержал и заплакал...

Баба Таня не побила, козёл не бодался. Несмотря на слёзы, Гордей запомнил дорогу до дома. Это было совсем рядом, правда, идти нужно было по совсем узкой, почти целиком заросшей крапивой улочке.

Покричав, баба Таня быстро успокоилась и утром отпустила Гордея гулять. Он пошёл к козлу с колокольчиком. С тех пор ходил к нему почти каждый день.

Иногда козла не оказывалось на месте, и Гордей представлял, обмирая от ужаса, что ночью пришла колдунья и съела его. Украла, унесла в свою избушку в лесу, зажарила в печке и съела.

Но на другой день козёл появлялся. На той же полянке между заборами или дальше, возле высоко-го строения, которое называли водонапорка.

Случалось, лил дождь, и Гордей оставался дома. И очень тосковал. Не по козлу, который мог быть заколдованным папой... А может, как раз по нему.

С козлом он почти не разговаривал. Садился рядом, в том месте, до которого не доставала привязь, и смотрел на это рогатое лупоглазое существо. Наблюдал за ним... По сути, всё было сказано в первый же раз, когда Гордей спросил: «Тебя заколдовали?» — а козёл затряс головой.

В глубине души Гордею всё стало ясно тогда, но рассказывать о том, кто это в облике козла, он не решался ни бабе Тане, ни ребятам.

Ребята несколько раз приходили на полянку или к водонапорке, обзывали козла обидными словами, а Гордей молчал, лишь смотрел рогатому в глаза и взглядом просил потерпеть. Козёл же тряс головой и то жалобно, то зло мекал. Как-то Никита взял ком сухой земли и бросил в козла. Гордей крикнул:

— Перестань! Нельзя бить!

— Н-ну, — удивился Никита. — А тебе жалко, что ль? Это ж козлиная вонючий!

— Нельзя! Он хороший. И за то, что бьёшь, — в тюрьму. Я по телевизору видел.

Никита поухмылялся, но больше в козла ничем не кидал. Да и обзывать перестал. А Гордей на другой день принёс козлу печеньку, и тот её жадно съел. Потом сказал:

— М-ме-е-е!

— Вкусная?

— М-м-ме-е-е-е!

— Я завтра ещё принесу...

Странно, но о маме Гордей вспоминал всё реже. Нет, он помнил о ней, но вот так, чтобы хотелось заплакать, не вспоминал.

Козлу он про маму не рассказывал. Расскажет, и, может, не то что надо. Только хуже сделает... Решил: мама придет и сама всё увидит. И что-нибудь произойдёт.

Дни текли однообразно, но быстро. Правда, дождливых становилось всё больше. Эти дни Гордей научился переживать: лежал на койке, стараясь не шевелиться, чтоб не скрипела сетка, и мечтал, что папу расколдуют, и они все вместе — он, мама и папа — вернутся туда, где жили в то время, которое Гордей не помнил. Запомнил лишь одно — им было там хорошо...

Иногда приходил большой хромоногий старик, деда Гена, приносил мёду, и они с бабой Таней его медленно ели с чаем. Гордею мёд не нравился.

Раза три, а может, на два больше баба Таня водила его в магазин. Говорила перед этим:

— Мать жива твоя, деньги перевела... Копейки, конечно, но уж чего... Пойдём отоваримся. Не голодом же сидеть.

Выдавала ему хорошие штанишки и рубашку, и они отправлялись. Баба Таня покупала крупу, консервы, бутылочки, яблоки, которые заставляла Гордея есть — «а то зубы выпадут, а другие не вырастут», — и чего-нибудь вкусного. Конфет или печенек. Этим вкусеньким Гордей делился с заколдованным папой.

Совсем неожиданно приехала мама. Шумная, помолодевшая.

— Так, собираемся, — стала бегать по домику, — надо на вечерний поезд успеть.

— Что, устроилась? — скрипнула голосом баба Таня, и Гордей сквозь радостную неожиданность появления мамы заметил, что так скрипуче баба Таня с ним не говорила.

— Ага! Такой попался! С довеском согласен взять... Что, четыре года, приживётся. Они ж в пять забывают, что раньше было... Посмотрим... Так, — глянула на Гордея, — одевайся живо, автобус через пятнадцать минут! А нам на поезд надо успеть. — И сама стала его одевать.

Быстро попрощалась с бабой Таней, что-то сунула ей в руку и покатила сумки на колёсиках. Гордей семенил рядом.

Когда проходили ту улочку, что вела к поляне, Гордей остановился. Мама удивилась:

— Чего ты?

— А папа? — сказал Гордей. — Папа там... Надо папу расколдовать.

— Какой папа ещё? Пошли быстрее!

— Нет! — Гордей побежал по улочке.

Козёл был на месте. Увидел Гордея и сказал громко, почти пропел:

— М-ме-е-е!

— Пап, мама приехала! — крикнул Гордей. — Мама! — Обернулся и крикнул маме: — Вот папа, его надо расколдовать и забрать!

Мама бросила сумки, подскочила к Гордею и присела перед ним, больно сжала плечи. Смотрела в глаза своими глазами. Незнакомо смотрела, как чужая.

Потом обняла и зашептала:

— Сыночек... Сыночек ты мой бедненький...

Сына...

А потом отстранила от себя и сказала строго:

— Это не папа, это козёл простой. Незаколдованный. Папа дома и ждёт нас. Понял? Он не козёл, его зовут Виталий. Понял? А это просто козёл. Скотина просто... Всё, пошли. Опоздаем.

И повела Гордея туда, где лежали сумки.

Гордей пытался понять слова мамы и забыл оглянуться.

# Функции

**О**льга чувствовала себя всё хуже и хуже и в конце концов решила лечь в больницу. Вениамин Маркович, её врач на протяжении уже лет семи, выписал направление с готовностью — Ольга замучила его частыми визитами, звонками, так что он был вынужден раза два-три намекнуть, что он не психолог, а психиатр... Да, с готовностью выписал направление, но посчитал нужным выразить сочувствие, хотя бы формально оправдать это своё решение:

— Месяц стационара вам, Ольга, необходим. Понимаю, что это тяжело.

Ольга покачала головой, губы старалась держать загнутыми книзу, хотя в душе была рада. Конечно, для статуса это не на пользу — лежать в психушке, — отношение к тебе меняется, люди начинают воспринимать тебя как не очень-то полноценную, относиться с осторожностью. Но Ольга была художницей, а не, скажем, учительницей или бухгалтером. Людям творческим — тем более обладающим

талантом, который признан, оценён, — сам бог, как говорится, велел и обладать своеобразной психикой, и время от времени отъединяться от этого грубого, суетного мира в лечебницах, спрятанных в берёзовых рощах и сосновых борах. К тому же их больница напоминала санаторий — люди там скорее отдыхали, приходили в себя, чем зависели от препаратов. Исцелялись покоем... По крайней мере, прошлые лежания оставили у Ольги такое ощущение.

— Надеюсь, я попаду в ваше отделение, — сказала Ольга.

— Конечно, конечно.

И на следующий день она входила в приёмный покой, словно в терминал аэропорта. Катила большой чемодан с вещами.

Оформление состоялось довольно быстро и легко — в кабинете была знакомая Ольге врачиха, которая в свою очередь узнала Ольгу и даже приветливо улыбнулась:

— Снова к нам, милочка?

— Да, нужно перезагрузиться.

— Хорошо. Очень хорошо...

— Мне к Вениамину Марковичу. Во второе отделение.

— Я в курсе. Всё будет хорошо, не волнуйтесь.

Но, когда уже бумаги были написаны и подписаны, врач сказала:

— Вещи оставьте провожающим, а они потом отнесут медсёстрам. С собой вам вносить нельзя.

— Да? — Ольга удивлённо подняла брови. — Раньше можно было.

— Раньше — можно. А теперь, к сожалению...

— А меня никто не провожает.

Врач посмотрела на Ольгу с подозрением. И менее приветливым тоном посоветовала:

— Можете вон Александру Григорьевичу оставить. — Кивнула на стоящего у двери санитаря.

Санитар был высокий, крепкий, с лицом боксёра.

— А... — Ольга перешла на шёпот, — а это надёжно? У меня там ценное...

Врач хмыкнула, а санитар многозначительно кашлянул.

Делать было нечего — дошли до нужного корпуса, Ольга катнула санитару чемодан. Санитар катнул обратно:

— А халат, тапки? Их с собой надо взять.

Пришлось открыть чемодан, рыться в нём на глазах постороннего.

— И шубу тоже давайте, — сказал санитар, когда она закончила.

— Зачем шубу?

— Вдруг сбежите.

— Но я ведь не на острое, я сама, по направлению.

Санитар стал сердиться.

— Я, что ли, порядки устанавливаю? Так положено. Вещи и верхнюю одежду провожающим, а они — дальше.

Ольга сняла шубу, отдала её, мягкую, душистую, чужому мужику в сероватом халате. А потом полчаса, пока оформляли теперь уже в отделении, пока переодевалась, заселялась в палату, дрожала, что там с вещами.

Медсёстры были молодые, незнакомые. И борзые до предела. Вопросы задавали рыкающе, не просили, а приказывали... Ольга, конечно, никогда не бывала в тюрьмах, но, судя по фильмам, именно

так ведут себя надзирательницы. Она растерялась, как-то быстро сдалась, и руки сами собой потянулись за спину, словно у эчки.

Ввели в палату, где уже обитали четыре женщины: две — примерно возраста Ольги, в районе тридцати пяти, одна — лет слегка за двадцать, а четвертая — пожилая.

Встретили её затравленными взглядами. Лица голые, ненакрашенные... Не поздоровались, даже не кивнули.

— Добрый день! — сказала Ольга и улыбнулась.

— Добрый? — вопросительно отозвалась одна из её ровесниц; остальные промолчали.

Раньше было иначе. Каждая палата — маленький женский клуб. Постоянный щебет, перебирание косметики, нарядов, советы, споры, а теперь — гнобющая тишина. Надавила на уши, будто Ольга нырнула глубоко под воду.

Присела на свою кровать, разглядывала соседок. Не в упор, но внимательно. И тревога всё росла, росла, стала колоть, жечь. Женщины были неживые...

Потом принесли чемодан.

— А шуба?

— Зачем тебе шуба? — спросила старшая медсестра, но по возрасту явно младше Ольги.

— Волнуюсь...

— Шуба — где надо. А кто слишком у нас волнуется, тех на острое переводим.

Ольгу потряхнуло.

— А что вы хамите?

— Хамлю? — Медсестра посмотрела на неё ледяными глазами. Вернее, с какой-то ледяной злобой. Особь с такими глазами не будет орать, даже голоса

не повисит, а просто возьмёт и задавит. В прямом смысле слова. Потом скажет, что суицид...

Ольга открыла чемодан. Он был почти пуст.

— А где платья? Косметичка? Туфли? Плойка? Сигареты где? Что за фигня-то такая происходит?!

Возмутилась громко, открыто — медсестра уже вышла.

— Теперь тут жесть, — сказала та ровесница, что отозвалась вопросительным «добрый». — Я специально расслабиться легла, а теперь понимаю, что сдыхаю медленно.

— А что произошло? Почему так?.. Как вас зовут, извините?

— Ксюша, — с рефлекторной кокетливостью ответила та, и тут же голос снова стал горестным: — Ну что, поменялись порядки. Это их любимое объяснение. Сегодня самая свирепая смена.

— Да уж, как из тюрьмы строгого режима... А вы здесь не первый раз?

— Второй.

— Все не первый, — подала голос пожилая. — И никто с таким не сталкивался.

— Надо жаловаться тогда.

— Жаловались. Только хуже.

Но Ольга пожаловалась. После первого обыска — настоящего шмона.

Через три дня её жизни в больнице, утром, после завтрака, в палату влетели те самые медсестры-надзирательницы и чуть не в шею выгнали всех в коридор. Ольга чудом успела прихватить ноутбук, в котором делала наброски новой картины.

Стояли в коридоре, а за дверью слышался стук выдвигаемых ящиков в тумбочках, скрип панцир-

ных кроватей, шуршание пакетов. Что-то падало, хрустело.

Минут через пятнадцать их запустили обратно. Вещи не валялись, постельное бельё не сброшено на пол, но сразу стало понятно, что каждая мелочь, каждая тряпочка ощупана чужими руками... Медсёстры торжественно выносили сигареты, ножницы, пилочки для ногтей.

— По какому праву всё это происходит? — стараясь не сбиться на визг, спросила Ольга.

— По праву правил больницы, — дёрнула плечами старшая. — Это вам не курорт, а больница. И вас тут должны лечить, а не развлекать.

Это «должны лечить» прозвучало как «должны разрезáть на куски».

Заправив постель, наведя порядок в тумбочке — кое-что протерев влажными салфетками, — Ольга пошла к заведованию. С ним, как она считала, у неё были особые отношения.

Нет, ничего такого, просто то участие, какое проявлял к её здоровью Вениамин Маркович — всегда сразу принимал её или давал советы по телефону, случалось, звонил сам, — не могло не вызывать у неё чувства, что он её выделяет. Ей хотелось в это верить...

Как-то Ольга подарила ему свою картину, и Вениамин Маркович искренне благодарил.

Сейчас она сидела в его кабинете и говорила плачуще:

— Это... это беспредел самый настоящий... извините за слово. Выдают утром четыре сигареты на весь день, а если находят спрятанные — отбирают. Пользоваться ножницами, пилочками, краситься — только в присутствии сестёр. А они смотрят как звери. Особенно эта, которая сегодня старшая.

— Алина Борисовна, — уточнил врач.

Ольга на некоторое время оторопело замолчала — не могла осознать, что у этой стервозины тоже есть имя и отчество.

— Наверное, — кивнула наконец. — Она... Это просто возмутительно. Как в тюрьме какой-то... строгого режима. — Сравнение со строгим режимом не выходило у неё из головы.

— Да, я понимаю вас, Ольга Евгеньевна. Понимаю и сочувствую. Не вы первая приходите ко мне с этим.

Вениамин Маркович протяжно вздохнул, и Ольга увидела, какой он усталый, измотанный. А ведь немногим старше неё — скорее всего, сорока нет. Она знала, что у него жена, дети; наверняка, кроме профессиональных, донимают и домашние заботы и проблемы. Ещё вот и такие разговоры — о хамках медсёстрах. Бедненький...

— Режим, — он усмехнулся, и от усмешки его усталость стала очевидней, — режим ужесточился, это правда. Я ничего не могу сделать — медсёстры действуют в соответствии с регламентом. Так что прошу вас, Ольга Евгеньевна, потерпеть. Пожалуйста. И не беспокойтесь. Хорошо? Иначе наш курс не принесёт никакой пользы... Как ваша живопись? Что читаете? Посоветуйте что-нибудь стоящее...

В общем, от него Ольга вышла более-менее успокоенная. Вернее, смирившаяся. Даже несчастные четыре сигареты в сутки не вызывали такого негодования, как поначалу. Тем более что накуривалась во время прогулок — покупала в ближайшем магазине пачку «Парламента», а на входе в отделение сдавала медсёстрам.

— Мы скоро ларёк табачный откроем, — шутили те. — Все полки забиты.

Но смирение разрушало Ольгу — она чувствовала, что опускается. Скоро станет как эти её соседки — посмотришь на их почти насекомое существование и реально с ума начинаешь сходить... Вспомнились соседки прежних лежаний.

Те с раннего утра начинали чистить перья, выбирать, в чём пойдут на завтрак, а в чём примут на обходе Вениамина Марковича. Красились, перекрашивались. Сколько было жизни...

Помнится, Ольгу они бесили, а теперь хотела, умоляла какие-то силы, чтоб случилось чудо и вернулась та атмосфера.

Чуда не происходило: в палате, как ядовитый туман, висела зеленющая тоска. Наряды, косметички, плойки были заперты у медсестёр; женщины чахли.

Спасаясь, Ольга погулила ближайший салон красоты и во время прогулки, когда дежурила не очень злая смена, отправилась делать маникюр. Если опоздает, эти вряд ли набросятся.

Вошла в салон — переоборудованную квартиру на первом этаже пятиэтажки — смело, гордо, всячески стараясь вернуть то ощущение, какое было до больницы: ощущение, что она подарок этому миру, она — победительница. И то, что оказалась в нынешнем положении — чуть ли не заключённой, у которой отобрали почти все вещи, заставили жить по унижающим её регламентам, — случайность. Скоро эта случайность будет исправлена.

— Добрый день! — сказала громко и широко улыбнулась, распахнула глаза.

И так застыла, окаменела с этой улыбкой, которая стала постепенно оползать к подбородку: перед ней стояла Алина. Та самая Алина Борисовна.

На лице надзирательницы мелькнуло замешательство, но быстро сменилось выражением приветливости и чего-то такого, что бывает у официанток, горничных, консультанток в бутиках.

— Здравствуйте! — ответила. — Проходите, пожалуйста. Что будем делать? Стрижка, маникюр, педикюр?

— Я... Я хотела маникюр. — Ольга услышала в своём голосе виноватость, собралась и повторила увереннее, жёстче: — Маникюр.

— Отлично! Классический? Французский? Бразильский? Френч? Можно сделать кружевной...

— Мне нужен шеллак. — Ольга решила выбрать посложнее. — Есть такая услуга?

— Конечно! Раздевайтесь, вот вешалка...

В салоне были ещё девушки, но в те полтора часа, пока происходило снятие старого лака, остригание отросших ногтей, накладка нового, сушка под УФ-лампой, она видела только Алину. Как вошла, влипла в неё и взглядом, и сознанием, так и не могла оторваться. Испуг, недоумение скоро испарились, осталось любопытство: Ольге было интересно наблюдать за хамкой, чуть не садисткой в другой обстановке. И практически ничего общего с той Алиной у этой не было. Взгляд другой, голос другой, даже движения. Словно добрая близняшка.

И, как это заведено у маникюрщиц, она начала рассказывать... Обычно в салонах велись разговоры о сериалах, новых поездках ведущих «Орла и решки», о событиях в «Доме-2», новости о Баскове, Бузовой, Лере Кудрявцевой, и Ольга слушала их с ин-

тересом: сама она телевизор почти не смотрела, журналчики не читала, сериалы предпочитала умные и сложные, а тут вот — раз в месяц — будто оказывалась в иной реальности.

Но Алина рассказывала не о сериалах и звёздах, а о своей жизни. Как-то так ненавязчиво начала, и потекло, потекло неспешно, без нервов и рыданий в горле. Словно делилась сюжетом неоригинального, вторичного, но всё же цепляющего за душу фильма.

Ей двадцать семь. Дочка и сын, больная мать. Живут здесь, недалеко, в двухкомнатной квартире. Мужа нет и не было. Мужчины появляются, конечно, но до свадьбы не доходит. Зато детей оставляют. С детства хотела стать врачом, правда, в школе училась неважно, поэтому пришлось уйти после девятого. Окончила медучилище, стала работать медсестрой. Сначала в тубдиспансере, а потом перешла в эту больницу — и к дому ближе, и опасность заразиться туберкулёзом или ещё чем минимальная.

Денег постоянно не хватает, алименты — слёзы просто: «эти, папаши-то, никто нигде официально не работает», — поэтому, когда приятельница предложила подрабатывать в салоне красоты, с радостью согласилась. «А что — сутки на смене, сутки отсыпаюсь и по дому разное, а потом день здесь. Терпимо». Прошла курсы, стала мастером.

В ответ Ольга рассказала, что художница. О выставках, поездках, заказах портретов богатых людей, даже мэра...

Расстались чуть ли не подругами, и Ольга как-то летяще, как в старой песне поётся — летящей походкой, не чувствуя своего веса, дошла до корпуса, возле крыльца выкурила сигаретку. Поднялась

в отделение. Сигареты решила не сдавать — спрячет под тумбочку. Остальные бригады медсестёр, кроме Алининой, обыскивают формально, а чаще не обыскивают вовсе; Алина же вряд ли теперь будет свирепствовать. По крайней мере, по отношению к ней... Откровенный рассказ, двести рублей сдачи, которые Ольга не взяла, имели какое-то значение.

Но она ошиблась. На следующий день шмон случился раньше, чем обычно, — во время завтрака. Обитательницы отделения были в столовой, а в это время Алина со своей напарницей переворачивали постельное бельё, рылись в тумбочках, двигали нехитрую мебель.

Входя в палату, Ольга сразу наткнулась на лицо Алины. Как и вчера, в салоне. Наткнулась и попятилась, будто ударилась о стену. Грязную и шершавую. Теперь лицо медсестры было перекошено от ненависти и возмущения.

— Это что опять? — зашипела Алина и скакнула к Ольге, помахивая «Парламентом», — какого-нибудь сантиметра не хватало, чтоб пачка тыкалась в глаза. — Это что, спрашиваю? Сколько раз говорить: никаких сигарет! Ни-ка-ких! Что, вообще запретить? А?

— Как вы можете... Как вы можете так? — Ольга говорила с усилием, будто её душили, изумлённая не самой грубостью, а грубостью после душевной близости. — Мы ведь вчера так хорошо... Как вы можете так меняться, Алина?

— Могу. А что? Сегодня — не вчера. Сегодня у меня другая функция: не давать вам тут курорт устраивать. Нашли тёпленькое местечко: лежать, покуривать... Психика у них тонкая! Паразитки.

— Заткнись! — проорала Ольга, готовая вцепиться в волосы медсестры. — Мразь! Я тебя уничтожу, скотина!

Алина отступила на шаг и спокойно сказала напарнице:

— Настя, у нас приступ. Физическая угроза персоналу. Вызывай санитаров — необходим перевод на острое.

## Сюжеты

...**Н** у хоть на один вопрос вы можете ответить: Аменхотеп Четвёртый и Эхнатон — это один и тот же человек или разные?

На сей раз преподаша Древнего мира Инна Андреевна принимала зачёт не в аудитории, а на кафедре — тёмной тесной комнате с тяжёлыми картинами, книжными шкафами из почерневшего дерева, закрытым шторами окном. Будто внутренность гробницы...

Олег подвигал плечами и пробубнил:

— Один.

— Та-ак, — в голосе Инны Андреевны появилась человеческая нотка. — А кто это такой?

— Фараон.

— Так-так. А почему же у него два имени?

Олегу было двадцать пять лет. Но сейчас он ощущал себя пятиклассником... Да нет, в пятом классе он любил историю, многое знал, получал в основном пятёрки. Теперь же его, повидавшего жизнь первокурсника столичного вуза, от неё тошнило.

От одного только упоминания о фараонах, ассирийцах, Урарту, шумерах... Словно какие-то промасленные бинты от мумии совали под нос...

— Ну, что молчим?

Хотелось сказать Инне Андреевне, что она просила ответить хоть на один вопрос, а он, Олег, ответил уже на два. Но это наверняка разозлит преподашу ещё сильнее. И Олег молчал, глядя в пол, как провинившийся подросток.

Провинившийся, но не сдающийся — сюда он поступал не затем, чтобы снова погружаться в истлевшую древность.

— Почему у этого фараона два имени? — голос Инны Андреевны вновь металлически заскрежетал.

«Так прогонит или впаяет незачёт?» — вяло гадал Олег, не пытаясь выдвигать версии по поводу двух имён. А знать он, конечно, не знал. Да и не хотел.

Это была пятая пересдача, на дворе начало апреля. Скоро летняя сессия, а у него с зимней хвост.

— Судя по журналу, вы, — преподаша глянула в зачётку и хлестнула Олега именем-отчеством, — Олег Валентинович, присутствовали на лекции, где я рассказывала о том, почему этот фараон из Восемнадцатой династии был сначала Аменхотепом Четвёртым, а потом стал Эхнатонем. Неужели ничегошеньки в памяти не отложилось?

Лекции Олег старался не прогуливать, но слушать получалось редко. Мозг попросту не желал включаться. Как клапаны там какие-то возникали, перекрывали...

— Вот вас здесь на писателей учат, — со злой насмешкой заговорила Инна Андреевна; сама она

была почасовой, из МГУ. — Но как можно вам, будущим, так сказать, писателям, проходить мимо таких сюжетов? Даже не то что проходить, а попросту не знать. А?

Она замолчала, ожидая, видимо, что Олег спросит: «Каких сюжетов?» Олег молчал. Преподша покачала в руках зачётку — казалось, вот-вот шагнёт к столу, возьмёт ручку и черкнёт в нужной графе короткое «незач». Но не шагнула — любовь к своему предмету в этот момент оказалась сильнее злости на плохого студента. Она стала рассказывать сюжет:

— Это, естественно, крайне схематично и упрощённо — лишь суть... Итак, примерно три тысячи триста восемьдесят лет назад, при фараоне Аменхотепе Третьем, Египет находился на пике могущества и богатства. С окружающими государствами поддерживаются мирные отношения, боевых действий практически нет. Кровь не льётся. Мудрая внешняя политика: среди жён Аменхотепа Третьего сёстры и дочери вавилонских и митаннийских царей. Строятся грандиозные храмы, процветает торговля, народ благоденствует... Были, конечно, и восстания, и внешние угрозы, но для того времени его царствование стало удивительно спокойным... Аменхотеп Третий правил тридцать восемь лет. Ещё при жизни он был обожествлён, причём обожествлял себя сам, упорно называл видимым Солнцем... Кстати, каких египетских богов вы знаете?

Олег сумел вспомнить сейчас одного:

— Омон Ра.

— Во-первых, не Омон, а Амон... И что это за бог — Амон?

— Солнца?

— В итоге — да... когда добавилось «Ра»... Но это позже... Сейчас не об этом... Во времена Аменхотепа Третьего и до него Амон был богом небесного пространства, воздуха. И в эпоху Восьмой династии стал главным государственным богом. Пик поклонения ему приходится как раз на время правления Аменхотепа Третьего.

В висках у Олега закололо. Хотелось потереть их пальцами, но он боялся шевелиться.

— А после пика, как известно, происходит спад. И этот спад в отношении к Амону оказался настолько резким, что только диву даёшься... Ведь вы привыкли мерить древнюю историю столетиями, вам кажется, время тогда текло медленно, процессы происходили постепенно. А тут — события трёхтысячелетней давности можно проследить чуть ли не помесечно... Ну, или если не проследить, то представить. Вы ведь, — увлечённость в голосе преподаши сменилась иронией, — потенциальные художники слова здесь собраны. Так что представляйте, домысливайте, живописуйте. А вам лишь бы... Ну ладно, — остановила себя. — Итак, умирает Аменхотеп Третий, и фараоном становится его сын Аменхотеп Четвёртый.

Олег всё же не выдержал и потёр виски.

— Слушайте, слушайте, знания лишними не бывают... На первых порах Аменхотеп Четвёртый поклоняется, как и его предшественники, в первую очередь Амону... Кстати, у египтян был монотеизм или политеизм?

«Моно — “один”, — мелькнуло в голове Олега. — У египтян не один стопудово... Осирис ещё, эта, Иштар вроде...»

— Политеизм, — сказал твёрдо.

— Хорошо. Хотя так... И вот Аменхотеп Четвёртый берёт и на второй год своего правления приказывает возвести в столице храм Атону, богу солнечного диска, не уступающий в размерах и пышности храму Амона. Лет через десять поклонение всем другим богам, кроме Атона, было вовсе запрещено. По сути, религия Египта стала монотеистической. Аменхотеп Четвёртый меняет имя на Эхнатон, меняют имена и все его родственники... Ещё в начале царствования он решает основать новую столицу. На голом месте, с нуля... А какой город был тогда столицей Египта?

Олег молчал.

— Мемфис или Фивы?

— Фивы?

Инна Андреевна обрадовалась:

— Верно!.. Так вот, началось строительство новой столицы — Ахет-Атона, что значит «Горизонт Атона». Город просуществовал чуть больше пятнадцати лет и после смерти Аменхотепа Четвёртого сначала был покинут правящей династией, потом остальными жителями, а потом разрушен как еретический центр. Его укрыли пески... Ахет-Атон обнаружили только в восьмидесятых годах девятнадцатого столетия. Представляешь! Раскопки потрясли учёных. Это был совершенно необычный для древнего Египта тип города... Ладно. — Преподша словно проснулась и тяжело вздохнула. — В общем, история интересная и в высшей степени драматичная. И ничего про неё не знать и не хотеть знать... Там ведь и Нефертити участвовала, и Тутанхамон... Вот египтологи долго сомневались, что был такой фараон — Тутанхамон. До самого открытия Картером его гробницы... О ней, кстати, тоже своя история, свой

сюжет... А почему не признавали? Потому что знали, что был такой фараон Тутанхатон, и потом он исчез. И появился Тутанхамон. А оказалось, что он вернул себе прежнее имя — в честь Амона. Ясно?

— Ясно, — с готовностью кивнул Олег.

— Да ничего вам не ясно. И я так рассказываю — второпях, с одного на другое... Взять хотя бы Тейю, мать Аменхотепа Четвёртого. Это такая фигура! С неё, по сути, и началось, она мужа подбила. Он с её подачи постепенно Атона вводил, а сын уж развернулся... Можно параллель с Алексеем Михайловичем провести и Петром. Отец действовал эволюционно, а сын революционно. Так ведь?

— Да, точно! — Олег всячески старался выказать интерес и согласие, хотя голова раскалывалась, тошнило от странных имён, за которыми маячили истлевшие мумии.

И сама Инна Андреевна напоминала что-то из древности: платье в виде балахона, сухое морщинистое лицо, распущенные по плечам волнистые, иссиня-чёрные волосы, похожие на парик...

— По всему огромному Египту от Нубии до низовий Нила люди соскабливают лики богов, оставляя лишь Атона; сопротивляющихся казнят, а их тела сжигают. Для египтянина уничтожение тела — самое страшное наказание, это означает, что он исчезает навсегда. Навечно!.. А потом Аменхотеп-Эхнатон умирает, и его наследник Тутанхамон, ещё совсем мальчик, возвращает народу его пантеон богов. Вернее, в разных районах были разные боги... Снова мешанина, многобожие... Эхнатона вынимают из усыпальницы, саркофаг крошат в мелкие осколки... Есть версия, что останки перенесли в Долину царей, где хоронили фараонов и их родных, а может,

и сожгли как еретика... Три тысячи лет назад, а какие страсти кипели!..

Инна Андреевна замолчала, ещё раз вздохнула, тяжело и протяжно, села за стол, взяла ручку... Олег сжался от страха.

— Конечно, про Эхнатона и все эти дела писали. И Мережковский касался темы, и Томас Манн слегка, и даже Агата Кристи. А современные... Да и куда вам до таких сюжетов. — Черкнула что-то в зачётке и протянула Олегу. — До свидания.

— До свидания. — Олег не знал, благодарить или послать: «незач.» наверняка равносильно отчислению.

Вышел в коридор, глянул, увидел «зачёт». Дёрнулся, вскинул руки, сбрасывая с себя Аменхотепов, Эхнатонов и всё прочее, чуть было не заорал от радости. Голова моментом перестала болеть. Ноги понесли прочь из института.

Возле крыльца ждали Кирилл, Вася и Ванёк, однокурсники.

— Ну как, сдал?

— Сда-ал.

— Офигеть! — Вася, осиливший зачёт по Древнему миру неделей раньше, потёр руки. — Погнали бухать.

— В ЦДЛ, — добавил Кирилл. — Наведём порядок в графоманском логове.

Они частенько после лекций сидели в Центральном доме литераторов, в Нижнем буфете, где водка и закуска были более-менее по карману. Смотрели на пожилых и не добившихся славы писателей — или переживших славу — и посмеивались над ними. Иногда — громко и откровенно... На первом курсе Литературного института каждый уверен, что

именно он самый талантливый, и очень скоро это поймут все остальные, пойдут публикации, книги, признание. Пусть не весь мир, но страна будет следить за каждым твоим движением...

Почти два месяца, вернувшись после каникул, Олег мучился из-за несданных экзаменов и зачётов. Учить не получалось, и он пил. С однокурсниками, ребятами с других курсов, жившими в общежитии, а то и один. Сидишь, сидишь, глядя на учебники и тетради, а потом встаёшь и идёшь в магазин... Теперь же, когда гора свалилась с плеч, — завтра он гордо войдёт в деканат и бросит перед Светланой Викторовной, завучем учебной части, зачётку. Она наверняка скажет: «Надоело преподавателей мучить? Отчисляешься?» А он ответит: «Всё сдано». И ухмыльнётся криво на её изумление.

Да, гора свалилась с плеч, и очень захотелось писать. Внутри давно бродили, булькали, как скисающая жижа, сюжеты рассказчиков. Ими он наполнился ещё в феврале, когда ездил домой, в сибирский райцентр, и вот до сих пор не мог перекачать из себя в компьютер, перевести услышанное и увиденное в слова. Поэтому идти бухать отказался. Тянуло, реально, нутром, в комнату, за стол...

— Ну а на хрена ж мы тебя ждали два часа! — разозлился Вася, поэт из Тамбовской области.

— Я не просил меня ждать...

— А, — отмахнулся прозаик из Самары Кирилл, — не хочет — нам больше достанется. Баблосов-то не беспрдельно.

А Ванёк, переводчик из Москвы, заметил:

— Это неправильно — сданный зачёт не обмыть. Не к добру.

— Завтра обмоем, чуваки.

Они демонстративно его не слышали. Пошагали по Большой Бронной в сторону ЦДЛ. Загоготали. Может, над ним, а может, распаляя себя перед встречей со старпёрами из Нижнего буфета.

А Олег минут через сорок оказался в общежитии. Его соседом по комнате был Кирилл, который наверняка сейчас вливал в себя стопку за стопкой, так что до вечера никто не помешает работать.

Разогрел на сковородке гречку, а когда она накалилась и защёлкала, вбил два яйца. Перемешал. Дешёвая и сытная еда... После обеда достал из-под матраса спрятанный ноутбук, включил. Уселся.

С какого сюжета начать? Вот с этого, простенького вроде, но душевного. Друг детства рассказал — здоровенный парнище стал, вахтовик. Курили у подъезда, он вдруг стал плачущим голосом говорить. Теперь, спустя два месяца, Олег записывал его слова:

«— Ну, у нас пересадка была в Тайге... станция такая... Обычно — самолётом, а тут на поезде отправили. И в Тайге этой пять часов надо было сидеть ждать поезда. Вообще, блин... Куда пойти — дождь, а на вокзале — ни вздохнуть, ни пёрнуть... Ну, сели мы с братаном в зале, где кассы, сожрали курицу, она уже завоняла, усосали по батлу пива, ну и покемарить решили. Я плеер включил, чтоб под “Металлику” дрёма пришла... Ну да, до сих пор “Металлику” слушаю — грамотный музон делали... Слушаю, слушаю, и тут братан пихает прям в рёбра. “Чё?” — говорю. “Вон, гля, на тебя кассирша вылупилась, придурок”. — “Где, блин?” — “Вон, из третьей”. Я — гля, вточняк, такая кассирша, вообще, такая смотрит. “Ну и чё?” — говорю и снова “Металлику” слушаю, ставни прикрыл, время тороплю. А домой охота, на-

доели эти поездки, вонь, хренотень. Приехать, врубить “Металлику” на всю хату, отъехать... Ну, слушаю, кемарить пытаюсь. Когда ставни устают закрытыми быть, открываю и сразу попадаю на эту из третьей. А она смотрит так устало и ласково как-то, не отрываясь. Ну, думаю, эт из-за ночи. День не спала, теперь такая мается. Братан толкает опять. “Да чё, блин?” — “Иди, — говорит, — побазарь с ней. Гля, как смотрит, прям лижет тебя”. А мы напротив касс торчим, тут пустое пространство, слева сиденья людьми забиты, справа расписание поездов. До касс шагов десять... “Да ну, — говорю. — Чё я ей?” — “Иди, придурок, потом расскажешь”. — “А чё, — думаю, — надо встать, размяться”. Встал, пошёл к расписанию. Ну, посмотрел прибытие-отбытие, надоело, пошёл к кассе, где эта сидит. Иду, смотрю на неё, а она улыбнулась и скорей лупариками в свои бумажки... Встал вот так вот сбоку и смотрю на неё через стекло. Волосы такие густые, жёлтые... ну, крашенные, но всё равно. Белая рубашка или как там... Подняла лицо на секунду — вообще! Я такой прибалдел. Лупарики... не, глаза — глаза у неё, настоящие — тёмные, яркие такие, большие, брови вот так вот, носик, ротик с губами пухлыми, подбородок кругленький, аж сразу целовать захотелось. Главное — кожа... Как теплом обдало каким-то. Приятно стало так, вообще... Ну, я стою, смотрю. Подошёл дед какой-то, билет стал покупать. Я смотрю, она там печатает, с дедом разговаривает. Голос-то не слышу, но чувствую — без нервоза. А в ушах у меня “Металлика” лирику заиграла. Вообще!.. Потом смотрю, у неё эта бирочка приколата к рубашке этой, и на бирочке или как там, короче, фамилия её — “Похлёбина Л. А.”. Я чутка не заржал. Может, фамилия и сыграла роль...

Ну, дед купил билет, смылся, она на меня глянула и снова в бумажки. А я стою, “Металлику” слушаю. Побазарить бы, то да сё, все дела. Но это обломало меня — “Похлёбина”. Тёлка Похлёбина в кассе Тайги... Пошёл к братану, короче. Он щемит такой на сумках, я его разбудил, достал пива, стал пить. Братан мне: “Ну чё?” — “Ничё”. Настроенье упало, домой охота, устал вообще. “Пойду поессу”, — говорю. Он хмыкнул и снова щемить... Ну а потом уже скоро и на посадку нас пригласили. Посадка с третьей платформы — это через мост над шпалами. Бли-ин!.. Нашли вагон, в общем, затащили сумки, вышли обратно покурить. Дождя нет, ночь, тепляк, пахнет дымом дорожным. Я без плеера — надоело, башка чугунная — дышу, облегчение чувствую, что через сутки дома, кончатся наши мытарства. И тут вдруг — она. Прикинь! Она бежит по перрону. Ну, как в фильме вообще... Волосы так — в одну сторону, в другую... Увидела, остановилась, потом подошла метра на два. Мы с братаном на неё во все шары, охреневшие, а она — на меня. Смотрит, смотрит. И тут громкоговоритель, прямо по мозгам: поезд отправляется. А она стоит, золотоволосая такая, в форменной одежде своей, шея из воротника длинная, гладкая... Ну, блин, вилы, короче... И поезд пошёл. Братан уже в вагоне, орёт мне: “Давай, придурок!” А она говорит: “Счастливого пути”, — поворачивается и убегает. И вот я не пойму, что ж это было такое... Тайга эта, станция зачуханная, ночь, я небритый, на полу, она... Ну глянула, а вот прибегать к поезду... Как там поют — “Только раз бывает в жизни встреча”. Может, вточняк встреча та самая? Сначала прикалывался вместе с братаном, стебался, а теперь каждый день вспоминаю. Схватить бы её тогда и увезти.

Или самому остаться. Махнуть братану и остаться. Но ведь, блин, так только в кино... Или и в жизни бывает? Один раз хотя бы... Ведь это была — она. И я для неё был — он. Но как — на вокзале, блин, среди ночи... “Похлёбина Л. А.”. Кхе... Жизнь — звиздец».

# Очнулся

**К**аждый год, обычно в июле, Свирин приезжал к родителям в деревню. Сначала студентом, потом с молодой женой, потом с женой и дочками, а теперь один: дочери выросли, с женой развёлся.

Свирин и его родители не были деревенскими по рождению. Когда-то жили в большом городе, столице одной из союзных республик в Средней Азии. Но начались межнациональные конфликты, стало неуютно и тревожно, и они решили перебраться в Россию — тогдашнюю РСФСР. В то время взять и купить квартиру было невозможно, а меняться желающих не находилось, потому купили вот этот дом в сельце на юге Красноярского края, бревенчатый, с двумя комнатами и кухней, двадцать соток земли при нём. Перевезли в контейнере вещи, выписались, сдали свою благоустроенную двушку государству.

Соседи, и прежние, и новые, недоумевали, как можно добровольно сменить большой город, хорошие должности с приличным окладом на деревен-

ское житьё, сына Игоря перевести из престижной школы в зачуханную. Но буквально через полгода Советский Союз развалился на пятнадцать отдельных стран, и таких, как Свирины, переселенцев стало множество. Правда, этим было куда хуже — многие бежали, бросив жильё со всей обстановкой, селились в съёмных квартирах, балка́х и вагончиках, искали и не находили работу, которая вдруг стала главным дефицитом. По сравнению с ними Свирины выглядели крепкой и обеспеченной семьёй.

В девяносто втором сын Игорь окончил школу и поступил в вуз, и не куда-нибудь, а в Уральский университет. В Свердловске. Хорошо учился, заодно стал заниматься предпринимательством. Купил квартиру, женился; по специальности не работал, но это, наверное, к лучшему — однокурсники получают копейки, а его неброский, мелкий вроде бы бизнес сытно кормил, позволял вывозить дочек на море. Но по крайней мере раз в год, обычно в июле, Игорь Свирин выбирался к родителям.

Как растут овощи, он впервые увидел после переезда, здесь, в деревне. И полюбил огород. И кажется, сильнее сыновьего долга навещать родителей было желание повозиться с растениями. И вот он, лысеющий, грузноватый мужик, полел грядки, подвязывал помидоры, радовался пухнувшим огурцам, боролся с муравьями, собирал садовую клубнику, которую в этих краях называли викторией.

Странно, но на своей даче под Екатеринбургом он не разбил ни одной грядки — для него существовал единственный огород, родительский... Может, какой-нибудь психолог нашёл бы у Свирина последствия потрясения из-за переезда, того тяжёлого

положения, в каком оказалась их семья тогда, — наскоро засаженная земля избавила их в первую зиму от голода. Картошка бывала на столе по три раза в день — варёная, жареная, пюре. К ней добавлялись или изредка её заменяли солёные огурцы, лобио из фасоли, гороховая каша, маринованные кабачки, салат из морковки...

И вот теперь, словно перелётную птицу в определённый срок, Свирина тянуло на огород — тот, родительский, — чтобы хоть не всерьёз уже, а так, почти ритуально поучаствовать в выращивании всех этих продуктов. К июлю эта тяга становилась непременосимой, и он приезжал.

Полот, подвязывал, поливал, рыхлил с удовольствием. Хотя и понимал, что это удовольствие недолгое: к концу месяца лезущие и лезущие сорняки приведут в отчаяние, помидоры, обрастающие всё новыми пасынками и лишними листьями, будут раздражать, вид виктории станет вызывать тошноту, комарьё, слепни и оводы издёргают нервы; Свирин почувствует, что надо уезжать, и купит билет...

Этот приезд начался как обычно — в общем-то, как двадцать четыре предыдущих. Свирин занял времянку, чтоб не стеснять родителей в избе, потом посидел с ними за празднично накрытым столом и, слегка захмелевший, переоделся в сохраняемые мамой треники с тремя полосками на штанинах, футболку с гербом «Мальборо», старые, но надёжные кроссовки, бросил на голову когда-то синюю, а теперь выцветшую до серости бейсболку и отправился на огород.

Вспомнил, как года четыре назад попал сюда в начале апреля. Отца положили в больницу, и он приехал поддержать его, помочь по хозяйству маме.

Огород лежал тогда пустой, тёмный, слабый. Длинные прямоугольники грядок, бугор не раскиданного с прошлой осени парника, каркас не обтянутой пока полиэтиленом теплицы. Вдоль заборов сухие будылья крапивы, единственная зелень — молодые перья лука-батуна да дяляна виктории.

Казалось, все сорняки изничтожены в прошлом году, не успев дать семена, все корни выюна, пырея, осота вынуты из земли, и теперь здесь будут только культурные, посаженные людьми растения. А приехал через три месяца и увидел, что сорняки никуда не делись — душат культурное, сосут из земли соки...

Начал с самого лёгкого — с чесночных гряд. Драл, драл лебеду, подснежник, выюн, мокрец, пастишкой сумку, одуванчик, ещё что-то, название чего не знал, получая странное, почти звериное наслаждение.

За ограду в свои приезды Свирин выходил редко. Разве что к колодцу, в бор грибы посмотреть, к хлебовозке. За продуктами ездил в райцентровский городок на автобусе.

Родители рассказывали новости их маленькой, из одиннадцати дворов, улицы: кто умер, кто уехал, а кто поселился, — но Свирину было не очень-то интересно: он не успел по-настоящему познакомиться с местными после переезда, даже имена и фамилии учителей и одноклассников не запомнил — тот год в школе стёрся из памяти, наверно, от ужаса перед новой и необычной жизнью, — а приезжая позже, он ни с кем не сближался, никого не выделял — с равной вежливостью и равным равнодушием здоровался со старушками, мужчинами, девушками.

Его интересовал только огород. Причём, сам тому удивляясь, он хотел, чтоб всё в нем оставалось как было. Чтоб помидоры росли на одном и том же месте, и арбузы, редиска с морковкой, фасоль, чеснок, капуста. Он досадовал, что кус возделанной земли из года в год съёживается — полосы сорной травы вдоль ограды становятся шире и шире. Но сам расширить этот кус за месяц пребывания здесь не успевал.

Когда родители вместо самодельной теплицы, которую нужно было каждый год обтягивать плёнкой, купили поликарбонатную, надёжную, на много лет, Свирин почувствовал что-то вроде раздражения, будто у него отняли важное. Так же было и с насосом «Кама», тяжёлым, плохо закачивающим воду из пруда, который родители сменили на лёгкий и мощный «Малыш». И даже с проволочками на месте соединения шлангов — на их месте появились удобные, но какие-то чужие ему хомуты.

Другими делами Свирин почти не занимался. Перебрал, правда, два раза забор, положил несколько шиферин на место лопнувших, сколотил новый деревянный тротуарчик во дворе, чтоб в дом грязь не таскалась. Но всё это так, по необходимости, без удовольствия.

В этот приезд возникла очередная необходимость отвлечься от огорода.

На третий или четвёртый день, вставив во времянке зарядное устройство в розетку, Свирин заметил, что телефон не осветился благодарно. Щёлкнул выключателем — лампочка не зажигалась.

Электричество в деревне отключали частенько, поэтому он не затревожился. Но когда вошёл в избу, увидел: свет там есть, плитка работает.

— О, а у меня не фурычит!

Не фурычило, как оказалось, и в бане, и под навесом с инструментами.

Свирин отсоединил провод, протянутый от избы к этим строениям, стал осматривать замотанные изолентой соединения, розетки. Провод оказался ломкий, с крошащейся и осыпающейся изоляцией.

— Надо менять, — сообщил родителям и увидел в глазах отца растерянность. А мама засуетилась:

— Может, этот как-нибудь ещё подюжит? И у нас тут собрано...

Быстро достала из чулана мешок с мотками проводов. Но все они были старые или неподходящие.

— Этот телеграфный, а этот вообще для антенны.

— Что же делать-то... — Мама вдруг стала жалкой и крошечной.

— Да ничего, — стыдясь её такой, резковато сказал Свирин, — завтра съезжу в город и куплю метров тридцать.

— И звать ведь нужно кого, чтоб сделали.

— Я сам справлюсь.

Мама посмотрела на него с недоверием. Но не спросила, сможет ли. Спросила другое:

— А сегодня как, без света будешь?

— Побуду без света.

— А поливать? Если не получится, то поливать-то как... Завтра обязательно надо полить.

Свирин стал злиться. Не на маму скорее, а на этот довольно длинный и бестолковый диалог. Произнёс веско, как на переговорах по бизнесу:

— Всё получится.

Занёс мешок с проводами обратно в чулан и пошёл пасынковать помидоры.

Когда что-нибудь не клеилось или с родителями возникала напряжённость, он пасынковал помидоры — в такие моменты не чувствовал жалости и обрывал всё лишнее почти до верхушки. И помидоры после этого плодоносили особенно щедро.

Но маму тон Свирина не убедил — она привела соседа. Мужчину лет тридцати пяти. Правда, мужчиной его назвать было сложно — до сих пор парень. Худой, шебутной, какой-то раздёрганный.

Свирин не помнил, как его зовут, раза три-четыре здоровался при встрече, знал со слов мамы, что он с женой и детьми купили не так давно дом умерших стариков Тернецких.

— Здоров! — перепрыгивая через грядки, тянул парень правую руку, а в левой держал короткий моток провода. Желтоватого от старости. — Погнали наладим!

Парень был датый. Глаза на молодом ещё лице мутные, как бельма. И Свирина сжало неожиданное и сильное бешенство. Не такое, когда хочется орать и метаться, а приводящее в оторопь.

— Чего? По-быстрому сделаем.

— Я сам, — сказал Свирин так, что парень отшатнулся.

Свирин нашёл взглядом маму, мнущуюся возле калитки в огород.

— Я же сказал — я сам. Тем более... — слова выдавливались из горла с трудом, — что это за огрызок? Этот вообще для настольной лампы... Электричество — не шутка... И в пьяном виде лезть...

Теперь и парень ошетинился.

— А ты чего злой такой?

— Я не злой. Я — занят. До свидания.

— Ну, до свидания. — И, пожимая тощими плечами, он ушёл.

Минут через десять подошла мама.

— Сынок, извини. Они говорили, им должны провода во всём доме менять, как многодетным, и я думала, может, осталось что. Увидела, что он выпивший, пожалела — зря сунулась, а он: пойдём сделаем... Извини, ладно? И отцу не говори только.

— Не надо меня позорить, — сухо ответил Свирин, ощипывая очередной помидор.

— Да я не позорю...

— Мама, я взрослый человек, мне сорок четыре года. Я сам знаю, что делать. И как.

— Но ведь как без света-то? Поливать надо завтра.

— Сделаю проводку, и вечером польём.

Мама постояла, потом спросила осторожно:

— Может, в избе переночуешь?

— Не волнуйся, всё нормально, — с расстановкой, отчётливо ставя после каждого слова точки, сказал Свирин.

Лёг в темноте, поставил будильник в телефоне — зарядил днём на кухне — на семь утра.

В восемь сел в автобус. В девять был в райцентре, купил на рынке тридцать метров провода, новые пассатижи, отвёртку с набором бит, розеток, выключателей, патронов, пяток малосольных хариусов в рыбном ряду. Съел порцию вкусного бигуса в столовой при автовокзале, подремал на сиденье рядом с настоящими сельскими жителями. В час дня сел в автобус, а в два был у родителей.

Пообедали, Свирин взялся за работу. На самом деле очень боялся, что не сможет, запутается. Особенно когда менял розетки и выключатели. У себя

дома он, если что, вызывал электрика. Но — получилось. Приложил алюминиевые стерженьки нового провода к гнезду под потолком в сенях, увидел искорки контакта. Прикрутил, проверил розетки и выключатели. Работало.

— Ну вот, — сказал родителям, — можно поливать.

Отметил удивление и благодарность в мамином взгляде. Вроде того, что — сынок-то наш вырос... Усмехнулся.

Полили огород хорошо, обильно. Ночь обещалась быть тёплой, в такую подпитанные влагой растения прут как на дрожжах.

Пока Свири́н с отцом перекуривали, выкладывали шланги для нового полива, убирали вилы, лопаты, грабли, закрывали теплицу, умывались под рукомойником во дворе, мама собрала на стол.

Сви́рин обычно выпивал для проформы, но сегодня, чувствуя особое удовлетворение от прожитого дня, проглотил одну за другой три стопки. Закусывал харюсками.

— Позже, — приподнимал руку, когда мама порывалась положить ему в тарелку тефтелей, — не хочу разрушать вкус рыбы. Очень вкусная...

Отец в несколько мелких глотков осушил свою стопку, наполненную Свириным далеко не доверху, ел мало, медленно, как-то через силу.

Залаяла Чича. Вообще она лаяла очень часто, при виде Свириных начинала прыгать и скулить, а когда во двор заходили чужие — хрипела, рвалась с цепи. Часто рычала на свою пустую миску и гоняла её вокруг будки... Два года назад брали просто собачку-звонок от низкорослой дворняги, а выросла настоящая лайка.

— Кто-то к нам, — прислушавшись к тембру лая, сказала мама и стала подниматься; ходила она хоть и грузно, но довольно быстро, а вот поднималась и делала первые шаги тяжело, словно суставы за время сидения отвыкали двигаться, сгибаться и разгибаться.

— Давай я гляну.

Свирин по-молодому вскочил, быстро прошёл сквозь сени на двор, через него — к воротам. Открыл калитку.

— Неси сдачу! — ликующе-высокомерно объявил ему голый по пояс парень.

Сперва Свирину показалось, что это тот же самый, что приходил вчера, правда успевший остричься почти налысо. И лицо похоже, и голос, а вернее, манера говорить. Глаза — мутные, без зрачков.

— В каком смысле «неси сдачу»? — строго спросил Свирин.

— Деньги принёс — неси сдачу.

— А если нет сдачи?

— Пфу-у! — парень фыркнул. — У вас-то — и нет сдачи?

— Молодой человек, что это за интонация вообще?..

Свирину хотелось многое сказать ему, но подошла мама.

— А, Саша, здравствуй. Что такое? — начала приветливо, даже как-то заискивающе.

— Деньги принёс, тётъ Галь, сдачу надо.

— Сейчас, сейчас. Со сколько сдачи?..

— Мама, что происходит? — Свирин был поражён. — Это он у тебя занимал или ты у него?

— Игорь, иди в дом.

Она сказала это так категорично, как раньше, когда Свирин-ребёнок в чём-нибудь провинялся. И он послушно ушёл.

Мама вернулась минут через пять, села за стол. Свирина к тому времени снова успела наполнить его взрослость, и он повторил:

- Как это понимать? Кто это вообще?
- Вали Тяповой муж. Деньги вернул.
- У неё, кажется, другой был...
- Петрунин? Он сбежал. А Саша — хороший.
- Да уж! Я бы ему ответил на его «неси сдачу».

Ну вот прямо взял и побежал за сдачей... Даже ведь не поздоровался!

— А что ты от них хочешь, сынок? — одновременно и жалостливо, и с упрёком спросила мама. — Откуда им культуры набираться? Беляков, которого ты вчера так, прямо скажу, послал, на вахтах по месяцу, и здесь хозяйство, трое детей. У Саши этого родители алкоголики, он и до девятого класса не доучился... скотником. Он рад-радёшенек, что долг принёс, горд за себя, поэтому и ведёт так... Я, — мама с усилием и со всхлипом, что ли, выдохнула, — я вчера перед Беляковым сколько времени извинялась...

Свирин вытаращил глаза:

— За что?

— За твоё поведение. Да. Нельзя так с людьми. Он ведь обиделся.

— Что пьяный прибежал электричеством заниматься?

— Ну ведь он же помочь хотел, искренне. А ты его... Он нам сколько раз помогал. — Мама оглянулась на отца и дёрнула головой, как бы призывая его согласиться, и отец кивнул. — И Саша тоже. Что случится — мы к ним. И они ни разу не отказали. Ко-

ровы на задах городьбу опрокинули той весной — Саша на горбу два бревна принёс, сам вкопал. Воду не могли закачать — Беляков пришёл, закачал, мостки поправил. Культуры нет, а душа есть... Ты вот, сынок, приехал и уехал, а мы здесь, с ними, каждый божий день. И кроме них, нам обратиться не к кому. А мы будем их посылать...

Свирин всмотрелся в маму, в отца, перенёсшего несколько лет назад инсульт, и будто очнулся от долгого сна. Увидел, что это старые, обессиленные и беззащитные люди.

Продолжавшийся четверть века период его поездок, чтоб с удовольствием покопаться на огороде, закончился.

## Ты меня помнишь?

**В**се вокруг говорили, что у Сергея запутанная жизнь. Одни осуждали, другие сочувствовали; Сергей же не понимал ни тех ни других. Да, запутанная, но в молодости она и не должна быть другой — необходимо поплутать, чтоб набраться опыта, а потом уж, годам к тридцати, выйти на магистраль. Это лучше, чем сбиться с неё уже взрослым по году рождения, но младенцем в плане накопленного опыта, знаний об окружающем мире. Все эти разводы, шумные увольнения с работы со швырянием заявлений на начальнический стол и прочие эпатажные поступки, психозы и истерики немолодых, не нагулявшихся в положенное время мужчин и женщин...

Об этом Сергей часто не то чтобы спорил, а разговаривал с друзьями — Славкой и Юлькой Седых. При каждой встрече обсуждали.

В их дружбе народная мудрость — что противоположности сходятся — подтверждалась буквально. Сергей вечно спешил, хватал впечатления, удовольствия, получал удары, переезжал с места на

место, а Славка с Юлькой жили в родном городе, поженились после двух лет отношений, работали там, куда устроились, получив дипломы, распорядок их дней не менялся месяцами... Сергей, конечно, вслух об этом не заикался, но ожидал, что вот-вот кто-то из Седых не выдержит и сорвётся. И разлетится их семья, как камень — от внутреннего давления. Где-то он читал, что камни могут раскалываться, а то и взрываться без всякой видимой причины. Или минералы... Разница наверняка невелика, тем более для него, — он не геолог и не физик.

— Здоров! — кричал Сергей в трубку домашнего телефона. — Как оно? Живы-здоровы?

— А, привет, — отзывались Славка или Юлька, — вернулся из своей экспедиции? Приходи!

Периоды жизни не здесь сначала Сергей стал называть экспедициями, а потом и друзья. И этот звонок со стационарного телефона на стационарный стал своего рода традицией, знаком, что он снова рядом.

— Ну что, вернулся, наполнился своим опытом? — спрашивали Седых, когда, усевшись за праздничный стол, готовились выпить по первой. — Надемся, теперь-то уж навсегда.

— Как знать, как знать.

Сергей оглядывал комнату, в которой почти ничего не менялось. Тот же советский сервант с посудой за стеклянными дверцами, тот же диван, тот же ковёр на стене, те же шторы, то же кресло перед телевизором. Телевизор, правда, другой — не фанерный ящик с выпуклым экраном, а чёрная плазма. Ещё вон столик в углу за сервантом, на столике компьютер... Но в целом обстановка была настолько

знакомой, какой-то замороженной, что Сергея начинала крутить тоска.

— Вряд ли, — уточнял, повинувшись этой тоске. — Рано оседать и закапываться в донный песок.

— Почему в песок-то? Мы что, например, зарылись? — В голосе Славки слышалась обида, а Юлька добавляла:

— Очень интересная жизнь тут стала, и в школе — нагрузка, конечно, приличная, но ребята всё искупают, каждый новый класс умнее и умнее. И, понимаешь, когда ведёшь своих все семь лет, это такое... Не побоюсь этого слова — счастье.

— Да я понимаю, — соглашался Сергей, но соглашался, не зная того чувства, о каком говорила Юлька, — понимать понимаю, а вот самому влиться... Нет, ребята, я хочу, только не получается... Что ж, — поднимал рюмку, — за встречу!

Ели горячее, приготовленное хозяевами, закуски, купленные по пути гостем. Вспоминали прошлое, Сергей рассказывал о своей очередной экспедиции.

— Город из тех, что три перекрёстка, два светофора. Хотя симпатичный. Дома двухэтажные, с резьбой. Как у Симонова — «домотканый, деревянный...». Прихожу в школу, они все: «Наконец-то учитель истории будет! Мужчина к тому же!» А там всё стоит, работы ноль, огородами живут, и учителей некомплект лет уж двадцать... Посмотрели трудовую: «А что это у вас — год, три, и новое место?» — «Я не летун, — говорю, — но обстоятельства часто складываются так, что приходится менять место». Они кривятся: «Вы это в анкете не указывали. Знали бы, подумали...» Славян, — Сергей кивал на бутылку, — плескай... Поселяюсь в квартирке. Комната,

кухонка, туалет даже с ванной — по их меркам, люкс. Обычно-то сортир на дворе, а мыться — в баню... Приступаю, в общем, к работе. С пятого по одиннадцатый. Первый месяц — отлично, а потом девчонки из седьмого класса как с ума сошли: болтают, с места встают, словно нет меня. Я и так, и этак, и под запись давать стал — один хрен. Главное, пацаны тихонько сидят, им-то интересно, а эти... Ну, давайте. — Чокнувшись и выпив, он продолжал: — Однажды оставил пацанов после урока, говорю: «Вы чего девчонок своих так распустили? Это ж жёны ваши будущие, они вот так всю жизнь будут, если сейчас их на место не поставите». А пацаны: «Да как их поставишь — они нас бьют». А там такие кобылы, как из одного помёта — толстые, высокие, чуть не с меня ростом. Родителей вызываю — родители тоже: «Ничего не можем сделать». На педсовете: «Не можем». Главное, другие классы нормально, а этот... До того дошло: однажды вскакиваю, собираюсь — а первый урок как раз у седьмого «б», — бегу в школу, а тут коров в стадо сгоняют. Это в апрель уже... «Почему, — думаю, — так поздно сгоняют?» Посмотрел на часы: половина седьмого. Тогда и понял: надо сваливать. Написал заявление, дотерпел до каникул. И вот — снова с вами.

— Ну уж, — Юлька шутливо морщилась, — не верю, что какие-то семиклассницы могли тебя выжить. Колись, что ещё было. Давай, давай.

Сергей для интриги увиливал, потом признавался:

— Было ещё... Женщина...

— Ну вот!

Он не считал себя бабником, не коллекционировал связи и романчики — влюблялся искренне.

Часто женщины отвечали взаимностью, но прочных отношений не получалось...

— Колись, колись, дружок. — Юлька толкала его в плечо.

— Слав, плескай... В чём колотья? Ничего не было.

— Сам же говоришь — было.

— Причина уехать была, а так — ничего. В том-то и дело, что ничего... В общем, влюбился в девушку, учитель биологии. Валентина. Молодая, одинокая, из местных. Года три назад пед окончила... Пьём? Пьём! — Кидал в себя содержимое маленькой рюмочки. — Уф!.. Такая, в общем, небесная особа, хоть и биолог. Ну и поплыл. Стал оказывать знаки внимания, цветы, провожать пытался. А она прямо как стена. По коридору идёт живая, улыбается, а меня увидит — и каменеет. «Валентина, — говорю, — почему вы так? Я ведь с самыми невинными предложениями. Давайте встретимся после работы, в ресторан или в кино хоть, как подростки». — «Я занята». И так неделя за неделей. Мне самому неловко, и вижу, что другие заметили... «Валя, ну почему?» Молчит. Потом — бац — директор меня зовёт, Людмила Викторовна. Такая тётенька лет пятидесяти, но крепкая, из тех, на кого время не действует. Очень эту напоминает, Светлану Михайловну из «Доживём до понедельника». Вхожу. «Присаживайтесь». Сел. «Я вижу, вы, Сергей Андреевич, равнодушны к Валентине Фёдоровне. Не ошибаюсь?» — «Не ошибаетесь. А что здесь такого?» — «В общем-то, ничего. Рамки вы, кажется, не переходите. Но я должна вам сказать, что ничего вы не добьётесь». Мне интересно стало, и зло взяло, спрашиваю: «Почему не добьёшься?» — «Потому что у нас так не принято». — «Хм!

А как принято?» — «У нас принято к избраннице относиться всерьёз, а не как к такой — на одну ночь, в общем». Я аж на стуле подскочил. Не от слов, а как она это сказала. С такой комсомольской сталью. В школе так отчитывали на собраниях, помните? «Я, — говорю, — отношусь к Валентине Фёдоровне вполне серьёзно. Зову её в ресторан, например». — «У нас порядочные люди в рестораны не ходят». — «Что, предлагаете сразу на домашний ужин позвать?» Ненавижу эти разговоры. А директриса так на меня смотрит: чего, типа, дурака корчишь? И говорит: «Серьёзные отношения выражаются в том, что вы готовы взять вашу избранницу замуж. Знаю, это теперь мало где принято, но мы здесь сохраняем традиции». Мощно, да?.. Ну, я, конечно: «Не исключаю такой вариант. Правда, для того, чтобы делать предложение, нужно все-таки узнать человека ближе, не правда ли?» Она: «Вы знакомы с Валентиной Фёдоровной уже три месяца, наверняка могли убедиться, какой она замечательный и чистый человек. В старину сватали зачастую почти незнакомых, и ничего, семьи были крепкими, многодетными. Не обязательно ходить по ресторанам». Ну тут уж я не выдержал: «А вам не кажется, Людмила Викторовна, что вы перегибаете палку? Я вам не школьник и не студент-практикант, а взрослый мужчина. И позвольте мне самому решать, как мне ухаживать за потенциальной невестой. Людям нужно по-настоящему узнать друг друга, понять, подходят они или нет. Четырнадцать процентов пар распадаются из-за того, что им не нравится запах друг друга. У нас, — говорю, — не девятнадцатый век и, слава богу, уже не социализм с профкомами, а свобода. Каждый вправе сам выбирать...» Как она взвилась!

Как её понесло! И про свободу, про бездуховность, проституцию, наркоманию, мой цинизм... Ну, думаю, не выжить тебе, Серёга, в таком заповеднике. К Валентине любовь не то чтоб испарилась, а такой стала, как к инвалиду, что ли... А когда она узнала, что заявление подал, так на меня посмотрела. Я ей говорю: «Валентина, поехали отсюда. Найдём другой город, другую школу». Она прям с лица спала, шепчет: «Нет. Это моя родина». Ну, нет так нет. Уехал.

Подобные истории Сергей рассказывал каждый год, или через год, или раз в три года — дольше нигде не задерживался. Седых слушали с печальной усмешкой: «Эх, Серёжка, Серёжка». А он в душе жалел их.

Есть, конечно, поговорка — где родился, там и пригодился, — но она не для него. Люди делятся на тех, что сидят на одном месте, обустривая своё гнездо или норку, возделывая почву вокруг, подстригая газон из поколения в поколение, и рвущихся прочь от гнёздышка или норки. Не будь этих вторых, планета была бы сплошным белым пятном.

Если принять теорию, что наши предки зародились в одном каком-то месте, то распространиться по Земле их заставило наверняка не перенаселение. Их тянула жажда постигать пространство. Вряд ли юкагиров на берег Ледовитого океана или рапануйцев на остров Пасхи загнали более сильные соседи — шли и плыли туда, скорее всего, по своей охоте, в поисках лучшей доли. Интересно, что, как недавно доказали учёные, через многие тысячи лет потомки выходцев из Африки потянулись из Европы и Азии на свою прародину — в район озера Чад, нынешнюю Эфиопию, — словно чтоб сообщить природе, что семя хомо сапиенс распространено повсеместно...

Сергей любил родной Екат, но через несколько дней уставал в нём. Начинал тосковать. Квартира, в которой знал каждую мелочь, мама, для которой он по-прежнему был несмышлёным мальчишкой, тополя во дворе, школа, где отучился все десять лет, гастроном, гаражи, стойки для бельевых верёвок, многократно покрашенные, и, если колупнуть эти синие-коричневые-зелёные-бордовые слои, дойдёшь до ржавого, уставшего металла. И сам начинаешь казаться себе уставшим, покрывающимся ржавчиной, и ищешь школу в каком-нибудь городке или посёлке, где ещё не бывал, куда требуется учитель истории или русского языка и литературы.

Конечно, он не молодел, но видел себя в зеркале каждый день — когда брился, умывался, — поэтому к себе, постепенно матереющему, привык. А вот мама, друзья и приятели юности, с которыми встречался спустя время, вызывали грусть. Не тем даже, что мама стареет и друзья из парней и девчат превращаются в дядь и тётъ, а этим своим прозябанием на одном месте. Деятельным вроде, но всё равно прозябанием.

«И о чём они вспомнят потом, перед смертью? Что выделяют из тех десятков лет, что были после школы, института? Ведь там будет одно: один и тот же дом, одна и та же дорога на работу, одна и та же работа, одни и те же люди вокруг. Жуть».

Сергей ёжился от этой перспективы и скорей, чтоб взбодриться, раскладывал свою послеинститутскую жизнь на этапы, выделял события.

В таком-то году был Туринск, а с такого-то по такой-то работал в Верхотурье, такой-то и такой-то провёл в Ирбите, а в таком-то его занесло в Кунгур... Там-то была Наталья, там-то — Ирина, а там-то по

нему сохла Рая, но он никак не мог ответить взаимностью — не лежала душа, а вот к Валентине там-то лежала так, что не выдержал её каменной неприступности и уволился...

Да и для дружбы полезны периоды разлук. Работай он в одной школе, например, с Седых, наверняка бы давно друг другу осточертели, рассорились из-за какой-нибудь ерунды. А так — редкие телефонные звонки, ещё более редкие посиделки за накрытым столом дружбу только укрепляли. Тем более поговорить есть о чём: коллеги. Но — не сослуживцы.

Познакомились летом восемьдесят девятого на экзаменах в истфил их областного пединститута. Юлька была тоненькой, скромненькой, в старомодном платье в цветочек из лёгкой такой ткани; на площади перед центральным входом, где вечно гулял ветер, подол платья то и дело взлетал, и Юлька скорее хватала его, опускала под взглядами парней, успевших увидеть розовые продолговатые бёдра... Славка выглядел стопроцентным ботаником, только очков не хватало, всё время листал какие-то учебники и тетради, казалось, он-то один Юльку с её ногами и не замечает. А вот же, на первом курсе стали парой, на третьем поженились, и столько времени вместе.

Юлька успела поправиться, даже слишком, стала этакой сдобкой, со Славки сползла личина ботаника — превратился в мужичка, уверенного в себе, но чересчур: наверняка ведёт уроки по лекалу, мало читает новых материалов, строго пресекает вольнодумцев, требует порядка и дисциплины.

Сергей же, хоть, естественно, годы берут своё, остаётся прежним. Сухощавый, подвижный, сомне-

вающийся, хватающийся за книги и публикации в интернете, выписывающий журнал «Дилетант», в джинсах, свитере или клетчатой рубашке навыпуск, с начёсом и прямым, по моде восьмидесятых, пробором... По крайней мере, ему хотелось верить, что он если и меняется, то не сильно.

Сдружился с Юлькой и Славкой не сразу. По сути, все пять лет оставались просто однокурсниками: здоровались, иногда выпивали вина в дешёвых кафешках после лекций, болтали, давали друг другу конспекты, если кто-то вдруг не был на лекции... В общем, таких, приятельствующих, было человек пятнадцать на курсе из двадцати с лишним. Остальные держались поодиночке — здоровались, прощались...

Дружба — именно дружба, а не приятельство — возникла позже.

В девяносто четвёртом году, когда выпускались из института (он уже успел стать педуниверситетом), система распределения на работу накрылась крышкой, да и вообще профессия учителя считалась лишней, смешной, позорной даже. Большинство ребят окончили институт ради дипломов — с дипломами, как им казалось, легче было войти в бизнес.

И вот на обмывке этих самых дипломов Сергей, захмелевший от шампанского и водки, заявил, что едет в сельскую школу в Серовский район, один из самых отдалённых и бедных. И, помнится, образовавшуюся тишину после таких слов прервал именно Славка. Как-то очень серьёзно и взросло спросил:

— Это правда?

— Да, я словами не бросаюсь.

И через месяц действительно уехал. И отработал там два года.

После этого Юлька и Славка стали воспринимать Сергей сначала как героя — не только остался в профессии, но вдобавок и трудится бог весть где, — а потом, после двух-трёх смен мест работы, — как непутёвого сына, что ли.

Судьба очень долго не давала им ребёнка. Сергей, ругая себя за такие мысли, ждал, что вот-вот или Славка, или Юлька не выдержат и уйдут к другому человеку. К тому, кто ребёнка сделает... Иногда осторожно, прячась за шутливый тон, интересовался:

— Хотите ли наследников, господа?

Отвечала обычно Юлька. Прижималась к мужу мягким и спелым боком и говорила:

— Хотим. Не получается.

Потом следовали уточнения: оба здоровы, и группы крови с резус-фактором вроде подходящие, но вот — никак. Пробовали даже искусственное оплодотворение, денег заплатили. Бесполезно.

И всё же случилось: в тридцать четыре года Юлька забеременела. Для всех это было удивительно, даже пошли разговоры, что отец не Славка.

Сергей, слыша такое, отмахивался:

— Перестаньте. Радоваться надо. Добились ребята.

— Да ведь как? Ну три года замужем, ну пять, а тут после пятнадцати почти! Как в сказке какой-то.

— Бывает, всё в жизни бывает...

Родила Юлька в начале августа — Сергей как раз оказался дома, встречал её вместе со Славкой и их роднёй. Хлопнул пробкой шампанского, как на свадьбе...

На свет появилась девочка, которую называли Надей.

— Ну, что-то вы без фантазии, — морщились близкие. — Надь сейчас каждая пятая. Могли б пооригинальней что-нибудь.

— Наденька, — отвечали Седых. — Она наша Надежда.

Сергей в те недели часто бывал у них. Стоял перед кроваткой, смотрел на младенца. Надя постоянно шевелила ногами и руками, словно делала какие-то гимнастические упражнения. Это было странно и страшновато.

— А что она так? — однажды спросил. — На ушу похоже.

— Мышцы разрабатывает, — ответил Славка и понизил голос: — Юля раньше времени ведь... на два месяца почти... кесарево пришлось делать.

Когда девочка пыталась смотреть на что-нибудь, зрачки у неё расползались в разные стороны. От этого тоже становилось не по себе, но тут Сергей знал: у новорождённых часто расфокусированный взгляд.

— Что, Сергунь, — говорила Юлька, — завидно? Давай тоже делай своих. Пора.

— Надо бы, — соглашался он, — надо...

А в душе уверенности не было — там была тишина. Или вообще пустота. И тогда, перед кроваткой, Сергей, кажется, впервые не понял ещё, а почувствовал, что, видимо, проскочил в своих экспедициях какую-то важную точку, необходимую зацепку, спасительный крючок.

«Да нет, что, — пытался возражать, — для мужика тридцать пять — это фигня. Пусть не всё впереди, но очень многое. Очень».

Вернулся в городок под названием Заводоуковск, где тогда работал, и стал подумывать о же-

нитьбе. На примете здесь были две женщины. Не учительницы, слава богу. С одной отношения сложились отличные, на другую поглядывал. Хотя той влюблённости, что разгоралась раньше, не ощущал. И не мог сказать себе: вот с этой или с этой я буду счастлив всю жизнь. Нет, скорее всего, через два-три года снова потянет отсюда, и жена не удержит. И, наверное, даже ребёнок.

После уроков уходил к железнодорожной станции, садился на скамейку, смотрел на пролетающие по Транссибу поезда с табличками на вагонах «Омск — Москва», «Москва — Тюмень», «Абакан — Москва», «Москва — Владивосток», и тоска сжимала нутро всё сильнее и сильнее. Огромная страна, непомерные расстояния, миллионы людей, а ему суждено побывать лишь в нескольких точках, узнать от силы тысячу-другую человек, из которых память удержит разве что две-три сотни...

Этот учебный год дался ему тяжело. Несколько раз приезжал на родину, был особенно нежен с мамой, которая скучала одна и заметно старела, подолгу сидел у Седых, качал на руках Надю. Та уже научилась гулюкать и впервые засмеялась от шутки Сергея.

— Ух ты-ы! — поразилась Юлька. — Да ты волшебник... Надюш, дядя Серёжа волшебник?

И та, будто отвечая, ухватила Сергея за щёку, потрепала...

В юности он был уверен: сейчас время летит, а потом, с годами, станет замедляться, дни растянутся, будет когда почитать толстые сложные книги, подумать, ответить на скопившиеся в душе вопросы. Сейчас, пока молодой, нужно скорее жить, потом же — анализировать прожитое.

Оказалось, не так. Скорость всё увеличивалась, как-то раскручивалась, и, даже сидя часами на стуле, не двигаясь, Сергей ощущал её, эту скорость. Ощущал физически: вот он замер, а на самом деле несётся вперёд. И вокруг всё несётся вместе с ним, сидящим на стуле, и в голове тоже. Мысли не то чтобы путаются, мельтешат — это было бы понятно и объяснимо, — нет, они мчатся так же ровно, гладко, словно автомобиль по прямой, без кочек и выбоин на дороге... Впрочем, и мыслями это было сложно назвать: начиналось с какой-нибудь конкретной проблемы или воспоминания, а через несколько минут оставалось лишь ощущение скорости под черепом. Не тяжёлой, без давления и боли, а наоборот, приятной такой скорости, стирающей детали, мелочи, нюансы...

С мамой Сергей созванивался часто, узнавал о здоровье, говорил тёплые, ласковые слова, терпеливо выслушивал её советы, какие мамы обычно дают сыновьям-подросткам... Он был её единственным ребёнком, с отцом они разошлись, когда Сергею исполнилось двенадцать, — он запомнил, что из счастливой пары мама и папа вдруг стали врагами, несколько раз без крика, но очень зло поругались, папа собрал чемодан, с которым они прошлым летом ездили на море, и ушёл. Навсегда. Присылал денежные переводы, но сам больше никогда не появлялся.

Сергей спрашивал и тогда, и немного повзрослев, почему так случилось, мама пожимала плечами: «Устали друг от друга». Он не верил. «У папы другая женщина появилась, поэтому?» Мама возмущалась: «Нет! Не было у него никого. Просто устали. Бывает так — устали. И всё».

Добравшись до пятидесяти пяти лет, мама не стала держаться за работу — сразу вышла на пенсию. И вскоре, во время очередного телефонного разговора, спросила:

— Я тут решила квартирантку взять, студентку, мне рекомендовали. Ты не против? Ты и так почти не бываешь...

Сергей подавился от возмущения — ответить, даже продохнуть не мог. Как это, в его комнату чужого человека, а он... Но, пока восстанавливал дыхание, решил согласиться:

— Хорошо, поселяй. У меня здесь, кажется, всё прочно. — Он тогда работал уже не в Заводоуковске, а ещё дальше от дома, в Тобольске, город ему нравился, но насчёт прочности сочинил, для мамы. — Поселяй, конечно, не так скучно будет.

— Да? Ну спасибо, сынок. — Мама то ли обрадовалась, то ли оскорбилась его согласию — по голосу невозможно было понять.

Наверняка, как он догадался потом, заговорила о квартирантке, чтобы сын понял: ей невольно одной, пора ему возвращаться, укореняться дома, заводить семью. А он — хорошо, поселяй.

Она и поселила.

Квартира у них была удобная. Двухкомнатка хоть и в хрущёвке, но не малогабаритная. Довольно большая прихожая, прямо — кухня, тоже не пятючок, а скорее столовая, чем собственно кухня, — там умещался большой стол человек на шесть. Налево и направо от прихожей — две комнаты одного размера, метров по пятнадцать квадратных. При желании можно не встречаться сутками, что иногда и бывало, когда мама чувствовала, что своим вниманием Сергею она слишком уж досаждаёт.

И вот теперь, по крайней мере на некоторое время, он лишился родного жилья. С музыкальным центром, дисками, книгами, вроде как бесполезными, но необходимыми безделушками типа коллекции игрушечных индейцев на полке...

«Это правильно, правильно, — убеждал себя. — Мама правильно решила. Надо определяться, взрослеть».

Убеждал и одновременно усмехался таким словам: как-то незаметно, не успев по-настоящему повзрослеть, он стал стареть. Сам чувствовал себя стареющим. И опыта особого не набрался...

Почти весь отпускной июль просидел в Тобольске. Свободное время старался употребить на посещение музеев, кремля, изучение истории города. Начал писать очерк о Марии Хлоповой, выбранной в жёны первым царём из Романовых Михаилом Фёдоровичем, а потом, под давлением матери, которая Марию невзлюбила, отправленной сюда, в Тобольск, с формулировкой «к царской радости непрочна».

Судьба девушки увлекла, тем более, как стало ясно Сергею во время сбора материалов, царь её по-настоящему любил и пытался позднее всё же на ней жениться... Но — не сел за компьютер один раз, другой и вскоре очерк забросил.

В конце месяца не выдержал и сорвался в Екат.

Ну не то чтобы прямо так взял и сорвался — мама сообщила, что квартирантка на пять дней уезжает к своим в Новую Лялю. На этот раз намёк Сергей понял сразу, купил билет на поезд и через десять часов был дома.

Конечно, навестил Седых. Их дочке шёл уже пятый год, и из почти бесполого пупсика, какой он

видел её прошлым летом, она стала настоящей девочкой.

— Надюш, дядю Серёжу узнала? — спросил Славка.

— Узнала.

Сергей не поверил:

— Правда?

Она в ответ обняла его и как-то по-взрослому посмотрела.

— Так, — засуетился Сергей, — я тут муксуна привёз, груздей солёных...

Потом по традиции было застолье, особенно праздничное потому, что Сергей убеждал друзей: в Тобольске он надолго, всё ему нравится, ученики отличные, интересуются историей, много читают, и женщина есть, дело к свадьбе идёт... Обманывал, конечно, но сам пытался поверить своим словам.

— Давай, давай, — поддерживали Юлька и Славка, в последнее время, после появления Нади, с особенным чувством — дескать, ты сам не представляешь, какое тебя счастье ждёт в семейной жизни.

— Дам, ребята, — кивал Сергей, — дам, не волнуйтесь.

Надя слезла со своего стула, перебралась на диван, где сидел он, а потом к нему на колени.

— Я тебя люблю, дядя Серёжа, — сказала отчётливо, поставив ударение на «я», и следом, как когда-то, потрепала по щеке. И прилегла головой ему на грудь.

— Вот так вот, — Сергей хмыкнул, не зная, как реагировать.

— Да, ребёнок чувствует, кому любовь необходима, — отозвался Славка, а Юлька велела дочери:

— Пересядь, не мешай есть дяде Серёже.

— Ты на мне женись, — продолжала Надя, не слушая маму. — У меня комната, и игрушек много, и телевизор.

Взрослые посмеялись, Сергей погладил девочку и спустил с колен на диван. Но чувствовал на себе её взгляд, и это беспокоило.

Перед отъездом он ещё раз заходил к Седых, но коротко, попрощаться, и снова Надя смотрела на него странно, горячо.

А дальше началась для Сергея новая жизнь.

Нет, не сразу началась, со случайности, которой не придавал значения, а потом случайность эта потянула за собой большие перемены.

Встретил в «Одноклассниках», куда недавно вступил, своего институтского приятеля Жеку — учился на два курса младше. Оказалось, Жека теперь работает в одной газовой компании, вернее, в компании по транспортировке газа. Живёт в городе Комсомольский в Ханты-Мансийском округе.

«Возглавляю пресс-службу, — писал Жека. — Всё ништяк. А ты как-чего?»

Сергей поначалу отвечал тоже бодро, а потом признался: «На самом-то деле хреново. Учитель-кочевник. Сейчас в Тобольске третий год, зарплата — одному хватает, а если семья...»

То, что Сергей работает в обычной школе простым учителем, Жеку изумило: «Ты ж крутым чуваком был. Я думал, в бизнесе или на худой конец в какой частной гимназии. Ну ты даёшь!»

Недели две после этого от Жеки не было сообщений — Сергей решил, что с таким неудачником тому, наверно, и переписываться позорно. Совсем приуныл, и дело, каким занимался больше пятна-

дцати лет, и само здание школы, старенькое и бедное, и город, тоже старенький, несмотря на торчащие тут и там новостройки, сонный и тихий, стали казаться тюрьмой, каторгой, на которую он отправил себя добровольно. Ещё и осень с низким небом, ветром, колючим и едким, и почерневшим Иртышом...

Утром поднимался через великую силу, кряхтя и ругаясь, с отвращением брился, оттягивая лишнюю кожу под щеками, впихивал в себя завтрак и брёл на уроки...

Жека написал, и письмо было волшебным: «У нас тут освобождается место, низовое, правда, но тем не менее. Надо готовить пресс-релизы, материалы для корпоративной газеты, ещё разное. Не пыльно, да и не особо сложно. Хочешь попробовать?» И следом ещё: «Помню тебя в институте. Ты для меня был примером. Честно. Мы уже люди молодые, нужно подумать о будущем. В школе у тебя будущего нет по-любому».

Целый день потом Сергей находился в состоянии, будто заболел. Гриппом или ещё каким вирусом. Вокруг колыхалось и плыло, голова очутунела, звуки сделались резкими, от них тошнило, запахи били прямо в мозг — даже мел сделался вонючим... Пришёл на квартиру и сразу, не проверяя тетради с самостоятельной работой, не выпив чаю, даже не раздевшись, зарылся в постель и уснул.

Проснулся ночью свежим, крепким, как в юности. Оглядел комнатку, за два года не ставшую домом, неудобную, казённую, соскочил с кровати и написал Жеке: «С удовольствием! Когда приезжать?» Жека, словно всё это время дежурил у компьютера, ответил тут же: «В понедельник».

Увольняться Сергей не стал. Наврал директору с завучем, что возникли семейные проблемы, срочно нужно побывать дома.

— Надолго?

— Неделя.

Директор полистала журнал с учебным планом на первую четверть, вздохнула.

— Что ж, не можем не пойти вам навстречу, Сергей Андреевич. Только... Ну, вы сами понимаете — мы на вас надеемся. Заменить вас некому.

Сергей покивал, а когда его отпустили, побежал к себе, стал искать в компьютере лучший способ добраться до Комсомольского. Судя по карте, они с Тобольском находились чуть ли не по соседству, и «Яндекс» подтверждал: «по прямой 442 км». Если ехать по автомобильной дороге, то уже под девятьсот километров, к тому же автобусного сообщения нет. Самолёты тоже не летают. Оставался поезд с пересадкой как раз в родном Екатеринбурге... Решил ехать поездом.

Купил билеты, собрал сумку самых необходимых вещей. По дороге на вокзал отдал ключи от квартиры соседке — «на всякий случай». В вагоне сразу занял верхнюю полку, и накатило такое хорошее состояние, будто он снова двадцатидвухлетний и едет туда, где его ждёт счастье. Наверняка ждёт.

Маме ничего не сообщал, а перекантоваться часть ночи решил у Седых. Квартира трёхкомнатная, в зале диван. Попросился, они согласились. Добрався в третьем часу, возле двери позвонил Славке на мобильный.

— Чего вдруг примчался? — спросил он, впуская.

— Да тут бумагу одну срочно оформить...

— Завтра ж воскресенье.

— Теперь можно... теперь они и по воскресеньям работают.

— Устраивайся. Диван застелен.

— Спасибо, друг, я тихо.

Из своей комнаты вышла Надя.

— А ты что? — в голосе Славки послышалась досада. — Спи давай.

Сергей помахал ей, поздоровался полущёпотом:

— Привет, красавица.

— Здравствуйте... А вы к нам?

— К вам, но ненадолго.

— А вы...

— Ложись спать, — перебил её Славка. — Сейчас ещё мама проснется, задаст нам. Давай, дочь, иди. И дяде Серёже пора, он устал с дороги.

Оказавшись на диване, Сергей действительно почувствовал страшную усталость. Не физическую, а моральную, что ли. От переживаний, суеты, нервов, мечтаний...

Почувствовал — кто-то лёг рядом. Удивился, забеспокоился, но во сне. Стало казаться, что это пришла Ольга, с которой у него в Тобольске тянулась странная, унижающая его связь: Ольга раз в неделю-полторы давала знать, что хочет побыть вместе, а после бурной ночи теряла к нему всякий интерес на несколько дней и, когда Сергей заводил разговор о том, что нужно обсудить их отношения, смотрела на него с искренним недоумением: что обсудить? что ты вообще от меня хочешь? А потом снова манила, и он, злясь, ругая себя, бежал за ней, как кобелёк.

Но сейчас Ольга была желанной, доброй, надёжной; продолжая спать, Сергей радовался, что она пришла, она рядом. Всплыла, взбухла и разбудила мысль: но ты ведь не в Тобольске, какая Ольга.

Сергей сел и увидел Надю. Её блестящие в полутьме глаза.

— Ты что тут делаешь?

— Я с тобой хочу спать, дядя Серёжа, — сказала Надя. — Я тебя люблю.

— Тише! — Он соскочил с дивана и отошёл на пару шагов. — Сейчас же иди к себе.

— Я с тобой буду. Как мама и папа.

— Что?.. Нельзя.

— Мне страшно...

Никакого возбуждения у него, конечно, не было, но от недавнего ощущения, что рядом Ольга, трусы дыбились... Вот сейчас войдёт Славка...

— Иди, пожалуйста, к себе в кроватку, — повторил умоляюще. — Если папа увидит, он меня накажет.

— Как он тебя накажет, ты же большой, — ответила Надя, продолжая лежать.

— Он подумает, что я плохо себя веду... Пожалуйста, иди к себе.

Говоря это, Сергей взял со спинки стула джинсы и попятился на кухню. Там надел их, сел. Его трясло. От страха. Не мог поверить, что это действительно происходит. Что такое может быть... Ей же четыре всего... А где-то в глубине головы смеялись и плясали чёртики: «Может, может».

В комнате долго была абсолютная тишина, потом шевеление, шлепки по ламинату голых ног, короткий стук закрывшейся двери. Сергей выглянул из кухни, ничего не увидел, прокрадся к дивану. Он был пуст. Не снимая джинсов лёг, свернулся клубком, подоткнул одеяло...

Процесс устройства на новую работу, увольнения со старой происходил непросто. Впрочем, нор-

мально. На первые три месяца Сергея оформили по контракту, за это время он добился того, чтобы из Тобольска выслали трудовую книжку. На оставшиеся вещи пришлось плюнуть — приезжать самому было стыдно, а для отправки контейнера дорого, да и не такие уж богатства он там оставлял.

Втягивался медленно, постепенно — возраст не позволял всё схватывать на лету, — но в итоге стал полезным работником.

Комсомольский понравился: новый, чистый, разноцветный, с молодым и активным населением. Из тех северных городов, что создают уверенность в крепости страны.

Сергей много ездил, побывал в трассовых посёлках, полюбил сидеть у костра, слушать песни под гитару, рассказы трудяг-романтиков. Думал, такие люди были в шестидесятые — восьмидесятые, а потом или вымерли, или переродились, но вот, оказывается, они существуют. И не просто существуют, а действуют. Качают газ, заваривают разрывы труб, часто в пургу и мороз, едут на вахту в глухую тундру, где невозможно, кажется, и недели прожить, не то что работать... Он уважал этих людей и старался заразить уважением других. Для того, по сути, и существует пресс-служба. Чтоб люди знали.

С Седых не встречался. Звонил им, но разговоры получались сухие, короткие. То ли обиделись, что предал профессию, кинулся в бизнес, то ли Надя им рассказала про ту ночь...

В сорок три года Сергей похоронил маму. Квартиру оставил пустой, коммуналку оплачивал через интернет. И не зря не продал, не впустил жильцов — ещё через два года пришлось увольняться.

Жека к тому времени давно перебрался в Ханты-Мансийск, с Сергеем поддерживал связь, но далёкую от приятельской. Видимо, был уверен, что всё у того благополучно. Так оно и было, а потом благополучие кончилось...

Естественно, знал, читал, слышал о том, как выживают с места, устраивают невыносимую атмосферу, но, когда столкнулся с этим лично, — растерялся. И опыт не помог. Потрепыхался месяца два и написал заявление по собственному желанию. Освободил кресло для чьей-то то ли родственницы, то ли любовницы. Ещё и посмеивался: «Как в фильме прям». Как в каком фильме, вспомнить не мог, но сюжетец был явно изъезженный. А для него — новый, резанувший по самому сердцу.

Усталый, одинокий, будто выпотрошенный, с широкой плешью на голове, с брюшком, дряблым, потасканным лицом вернулся на родину. Скопленных денег — в Комсомольском мало тратил, квартира была служебная, столовая недорогая — хватало на то, чтоб скромно жить года три, не работая. Решил отдохнуть.

Спал, пытался читать, но то и дело отвлекался на интернет с его соцсетями, в которых он был молчаливым наблюдателем; манил к себе телевизор, хотя тут же раздражал обилием программ, набитых рекламой, нудными фильмами, крикливыми ток-шоу. Выключал, некоторое время лежал в тишине, потом подтягивал к себе ноутбук.

На улицу выходил лишь за едой — медленно, глядя под ноги, брёл к ближайшему «Магниту». Заставлял себя встряхнуться, повторял то мысленно, то шёпотом: «Тебе и полтинника нет. Чего раскис-то? Давай соберись». Не помогало.

Ты меня помнишь?

Во время очередного похода столкнулся со Славкой.

— О! — Славка, румяный, ещё сильнее заматеревший, напоминавший кабанчика, удивился, обрадовался и одновременно, кажется, испугался. — Здорово!

— Привет, — на эмоции у Сергея не было сил. — Как живёте?

— Отлично. А ты?

— Так... В себя прихожу. Наметался...

Помолчали. Было холодно, но под ногами каша из снега и соли.

— Ты, эт самое, заходи.

— А можно?

Славка хохотнул:

— А почему же нельзя-то! Приходи, конечно. Только... Нас опять на шестидневку перевели — у детей такая программа, сам с ног валюсь, — поэтому в субботу вечером. Остальное время в мыле просто... Посидим, старое вспомним, расскажешь нам про экспедицию.

— Расскажу... Хорошо... Привет семье.

Одну субботу пропустил — выбраться из того омута, в каком находился, было трудно. В следующий четверг заставил себя позвонить. Договорились на шесть вечера.

Всю пятницу готовился: отмокал в ванне, скоблил себя вехоткой, брился так тщательно, будто предстоял выход к прессе, сходил в парикмахерскую, гладил костюм — почему-то решил идти в костюме, а не в обычных для себя джинсах, свитере... Перед сном выпил три таблетки персена и хорошо, глубоко поспал.

В субботу снова брился, рассматривал себя в зеркале. Выдернул торчащие из ушей и носа воло-

сы, долго пробовал, какая причёска лучше, и вернулся к прямому пробору по моде восьмидесятых. Хотя это смешно, конечно, особенно сзади. Он видел фотографии, где был снят со спины, — начёс с пробормом, а ближе к затылку розоватая голая плешь...

— А, чего уж теперь! — отмахнулся, бросил массажку на полку.

Купил две бутылки сухого красного, сока, долго выбирал торт. Разглядывал цветочки и завитушки из крема, читал состав. Точно утонул в этом процессе. Очнулся, всплыл, взял первый попавшийся. Какой-то шоколадный.

Припоздал — подошёл к нужному дому в начале седьмого. Уже стемнело.

Поднялся на третий этаж, постоял перед дверью Седых. Дверь была всё та же — стальной лист с приваренной ручкой и щелями замков. Устанавливали такие торопливо в девяностые, когда началось массовое воровство. Потом многие сменили их на более цивилизованные, из магазинов, с обивкой, а Седых не сменили. Значит, с достатком у них не очень.

Щёлкнуло, и свет погас. Сергей мгновение был уверен: его ударили сзади по голове, и он потерял сознание, ослеп. Но вот выступили очертания стен, дверей, плитки на полу. Понял: свет отключился, потому что он не двигался.

— Прогресс, маму вашу, — бормотнул и нажал кнопку звонка; с той стороны заиграла мелодия «Подмосковные вечера».

— Здоров-здоров, — принял у него торт и пакет Славка. — Мы уж заждались.

— Извините...

— Приветик! — появилась в прихожей Юлька; она стала совсем тётенкой — пышная, краснощё-

кая, большую грудь то ли подчёркивал, то ли скрывал цветок-бант. — Разболакайся!

— Что?

— Ну, раздевайся по-сибирски.

— А? Никогда не слышал.

— Да? Ты ж там столько лет...

— Тобольск с Комсомольским давно уже к Уралу пристёгнуты. Так что сибирские слова там неактуальны.

Посмеялись. Сергей присел, расшнуровывая высокие ботинки.

— Надюш, — позвала Юлька, — иди поздоровайся с дядей Серёжей!.. — И ужаснулась: — Это ж сколько мы не виделись?

— Ну так, полноценно, — семь лет. Вы на мамин похороны приходили со Славкой — я видел, спасибо... но не до общения было...

— Да-да, помню, конечно, Серёж. Извини, что быстро ушли, — очень было тяжело... Обалдеть, как время летит — семь лет. Вот глянь, — Юлька подвинулась, пропуская высокую, почти с неё ростом, девушку, — узнаёшь?

— Надя?

Сергей честно её не узнавал. Действительно, вошла девушка.

— Привет. Я дядя Серёжа... — Он кашлянул. — Сергей Андреевич. Помнишь?

— Здравствуйте, — вежливо ответила Надя. — Извините, не помню.

Сергей внимательно посмотрел на неё, пытаясь заметить то короткое выражение, какое бывает у подростков, когда они говорят неправду. Не заметил.

— Я пойду? — Надя повернулась к маме и ушла.

— И сколько ей? — тихо, недоумевающе спросил Сергей.

— Двенадцать. Не поверишь, да? Вот они теперь какие. А на самом-то деле ребёнок ребёнком... Так, идём за стол.

Тот же стол, та же скатерть на нём, с золотистым орнаментом типа древнегреческого меандра, та же посуда, мебель, шторы... Сергею стало так хорошо и грустно, что глаза защипало.

— У меня коньяк есть, — сказал Славка.

— Давай лучше вина. Двух бутылок хватит ведь...

— Ну, если не хватит — кониной усугубим.

Снова немного посмеялись.

— Надь, готово!

Из своей комнаты вышла Надя, присела, деловито наполнила тарелку оливье, пюре, мясом и попросила:

— Можно я там?

— Ну посиди с нами, — попросил Славка. — Гость ведь... однокурсник наш с мамой. Тебя нянчил...

Надя искоса глянула на Сергея и стала есть, но через пару минут повторила:

— Я у себя, пожалуйста? Мы там в переписке.

— Пусть идёт, — разрешила Юлька, — всё равно ведь не даст покою.

— Спасибо!..

— Вот такие наши дела, — вздохнул Славка. — В школе воспитываем чужих, дома — свою.

— И как успехи? — сделав голос шутливым, спросил Сергей.

— Переменные. То мы их, то они нас... Ты рассказывай: надолго, какие планы?..

Может, от того, что давно не выпивал — все месяцы после увольнения не притрагивался к спиртному, боясь, что не оторвётся, — или из-за непри-

вычно обильной еды — ел тоже мало, всё больше холодное, запивая чаем, — или из-за обстановки такой домашней, тёплой, от которой отвык, — довольно быстро потянуло в сон.

Сначала отвалился на спинку дивана, но активно участвовал в беседе, потом стал больше молчать, потом веки отяжелели и стали опускаться на глаза, и в конце концов задремал. Так сладко стало в дрёме, и тут же нечто хихикнуло внутри: «Как уличный пёс возле печки».

— Серёг, — затормошил Славка. — Спишь, что ли?

— Что-то да... Какой-то я стал... — Вспомнил стихи и процитировал, чтоб сгладить неловкость: — Ах, и сам я ныне чтой-то стал нестойкий, не дойти до дому мне с дружеской попойки...

— Если что — у нас заночуй. А то действительно.

— Нет-нет! Пойду. Я здесь, видимо, надолго. Так что — будем встречаться.

— Конечно!.. Надь, выйди, дядя Серёжа уходит! Попрощайся.

Появилась Надя, кивнула и без всякого выражения сказала:

— До свидания.

— До свидания, — машинально повторил за ней Сергей, и тут вспомнились её тот взгляд, взрослый, странный, глубокий. — Ты меня помнишь? Скажи, пожалуйста, — он услышал в своём голосе слезливую мольбу, — ты меня помнишь? А?

— Не помню, дя... Сергей Алексеевич.

— Андреевич, — почему-то шёпотом поправил Славка.

— Не помнишь? — Сергея захлестнула обида. — Не помнишь, как на коленях сидела, говорила, что любишь? Как пришла тогда?..

— Серёг, ты чего?..

— Не помню, — беспощадно пресно повторила Надя. — До свидания.

Не зашнуровывая ботинки, Сергей вышел из квартиры, ответил «Да-да» каким-то словам Юльки и Славки, сбежал по лестнице.

На улице было холодно. Сухой снег оглушительно хрустнул под ногами. За углом дома светилась, гудела и шипела автомобильными шинами широкая улица... Сергей потерянно, как оказавшийся здесь впервые, стоял на месте, не понимая, куда идти.

## Долг

**М**ой тёзка посмотрел на часы:  
— Давай, Беленький, понужай, двадцать минут осталось.

Белый вдавил педаль газа — старая, с остроуглым кузовом «японка» непонятной мне марки задребезжала, затряслась, как взлетающий самолёт. Кусты карагатника вдоль обочины замелькали быстрее, очертания гор стали изменяться заметнее.

Я был с дочкой, поэтому старался не проявлять особой тревоги. Но не выразить досады не мог:

— С одиннадцати до трёх продавать, летом тем более, — это издевательство. Как в Чечне.

— Пытаются оградить народ, — как-то рычаще, словно и он сам, подобно двигателю машины, работал на предельной скорости, отозвался Белый. — Спивается ведь.

— А так, можно подумать, меньше будет спиваться. Давно всем известно, чем можно покупное заменить.

— К тому же в любом ларьке продают, — добавил мой тёзка. — Но хочется цивилизованно. — Несмот-

ря на удары судьбы, в нем сохранялся интеллигент и отличник Кызылского пединститута.

Мы ехали из городка под названием Чадан на западе Тувы к стоянке археологической экспедиции на речке Эрбек. Если б не водка, можно было не заезжать в Кызыл, свернуть перед ним, пересечь Енисей по ближайшему мосту и уйти влево, снова на запад. Но с пустыми руками являться к археологам — проявить дикое, демонстративное неуважение. Пришлось увеличить крюк на несколько километров.

На самом деле пить мне последние недели не очень-то и хотелось. Я был счастлив, и главное — а такое бывает очень редко — ощущал, что я счастлив. В реальном времени.

Конечно, ожидал, что вот сейчас что-то случится, и это ощущение кончится, сменится неприятностями, а то и бедой. Но оно не кончалось.

Я приехал в Сибирь с младшей дочкой Лерой, приехал надолго — на полтора месяца. Мы пожили в деревне у моих родителей, попутешествовали по югу Красноярского края, много чего увидели, а потом отправились сюда, в мою родную Туву.

Лере недавно исполнилось одиннадцать, и она быстро становилась не ребёнком, беспомощным и требующим постоянного пригляда и заботы, а другом. Именно в те полтора месяца мы и сдружились.

Она с детства говорила о народных людях, о том, что все должны жить в своих домах с огородом и садом, собирать в лесу грибы и ягоды, топить печку заготовленными дровами. Я думал, что у неё, москвички, это книжное — или пусть инстинктивное, переданное с какими-то генами, — но всё же непрочное, способное погибнуть от пер-

вого же комариного укуса или прилипшей к лицу паутины.

Я ошибся: Лера старательно училась отличать сорняки от культурных растений, с увлечением собирала клубнику-викторию, стойко терпела нападения комаров и оводов, бродила со мной по сосновому бору, вечерами сидела, закутавшись в бабушкину куртку, на берегу пруда, наблюдая, как я рыбачу. Её не приводил в ужас сортир вместо унитаза, она не хныкала, что нужно умываться не под краном, а при помощи рукомойника...

Мы трое суток провели на музыкальном фестивале под Чаданом. Спали в палатке под высоченными и прямыми лиственницами — казалось, одной хватит на целый венец крестовой избы, — ели разогретую у костра тушёнку из банок, утром ходили на быструю, прозрачную реку чистить зубы, и я видел, что ей нравится такая первобытность: стоять на плоском камне, нагибаться, подхватывать горстями воду, брызгать в рот, на лицо, растирать ею шею. Сушиться под солнцем.

Она копировала движения и повадки матёрых хиппарей и автостопщиков, улыбалась мне радостной, но уже не детской, а почти взрослой улыбкой...

На фестивале наша группа выступила два раза. Один раз в отборочном раунде, второй — на гран-при. Лера стояла под сценой и смотрела на меня с гордостью: вот, это мой папа, это он смело поёт: «Если ты не слякоть — защищайся, если ты не слякоть — нападай». Нам присудили первое место в странной номинации «За самый страстный треш», и Лера пожала музыкантам и мне, вокалисту, руки:

— Поздравляю. Это было круто. — Не как старшим пожала, а как ровне.

Группа наша существовала одновременно и три месяца, и почти четверть века.

Летом девяносто второго мы с Ромой, тем, что сейчас подгонял Белого, и ещё одним парнем, Сашей, решили, что существующие рок-группы стали играть какую-то лажу, и взялись возрождать настоящее. Позже к нам присоединились ещё ребята. Записывали жуткого качества, но искренние альбомы на плёнку, иногда давали концерты.

В конце девяносто третьего наша семья переехала из Тувы в Красноярский край, вслед за нами там оказались Саша и Рома. Но малая родина отпускала долго: много времени мы проводили в Кызыле, продолжали записываться и выступать; на некоторое время к нам присоединился и светловолосый школьник Лёха Рябенко с незатейливым погонялом Белый.

В девяносто шестом я поступил в Литературный институт, группа окончательно распалась. В Москве, в Питере, где частенько бывал, я знакомился с музыкантами, некоторым нравились мои тексты, и возникали недолговечные коллективы, оставлявшие два-три альбома, — качество благодаря цифровым технологиям улучшалось, — афишки и фотки с концертов.

Каждое лето, а то и несколько раз в году, я навещал родителей, бывал и в ближайших к их деревне городах Минусинске и Абакане. В апреле две тысячи шестнадцатого, того года, когда происходит действие рассказа, встретил в Минусинске старого, из девяностых, приятеля Дениса Львова — Лёвыча. Случайно, на улице.

Я сказал, что живу в Москве, женат, дети, пишу книжки. Он в ответ сообщил, что работает в музы-

кальной школе, учит детей классической гитаре. Внешность у него была как раз для подобной специальности: невысокий, солидный, седой.

— Давай запишемся, — предложил я. У меня как раз было с десяток текстов, которые я давно хотел превратить в песни. Сам я этого сделать не могу — инструментами не владею.

— Можно, — пожал плечами Лёвыч; он вообще флегматик.

Тут же, на улице, стали вспоминать, кого из музыкантов можно найти в Минусинске или Абакане. Кто ещё не уехал, не умер... Лёвыч сказал, что знает телефон Ромы.

Позвонили. Рома жил в Абакане, собирался через несколько дней в археологическую экспедицию — он уже много лет копал с мая по сентябрь, на это в основном и жил оставшиеся полгода.

Сначала он удивился, даже не мог ничего ответить. Потом произнёс: «Конечно!..» Нашли барабанщика — музыкант тувинской группы «Ят-Ха» Женя Ткачёв как раз гостил у своих родителей в деревне под Минусинском. Согласился постучать.

Назначили число. Я поехал к родителям садить картошку и учить слова.

Когда говорят, что вот встречаются через много лет друзья, у которых раньше были общие интересы, занятия, а теперь им поговорить не о чем, я соглашаюсь, но добавляю: «Не разговаривать надо, а заняться тем, чем занимались».

Сошлись мы вечером возле музыкальной школы города Минусинска: с Ромой не виделись почти двадцать лет, с Женей Ткачёвым — года четыре, с Лёвычем тоже лет двадцать. Действительно, говорить нам было не о чем — поздоровались, поку-

рили и пошли подключаться и настраивать инструменты.

Рома, волосатый, с бородой до пояса, приехал не один, а с Белым. Его я не видел с девяносто пятого. И вот интересно: как раз той весной я начал писать книгу о своём сверстнике, который не свалил из Тувы, подобно большинству русских, а упорно там живёт. Родители и сестра далеко, в другой стране, жёны разводятся и исчезают на просторах России, а он остаётся. Сам не зная почему. Чувствует какую-то смутную уверенность, что не должен покидать землю, на которой вырос.

И прототипом одного из персонажей — одноклассника главного героя книги — стал как раз Белый. Персонаж имел мало общего с реальным человеком, но тоже играл в рок-группе, был одарён природой светлыми волосами и носил такое же прозвище. И вот настоящий Белый вдруг объявился, будто притянутый моим текстом.

Так у меня уже случалось. Берёшь вроде бы давным-давно оставшегося в прошлом человека, полузабытого, растворившегося в мире, наделяешь его чертами персонажа повести, рассказа или романа, и этот человек возникает.

Я даже стал побаиваться брать прототипами своих врагов — возьмут и появятся.

А появление Белого меня обрадовало, хотя я с трудом узнал его: в памяти оставался одиннадцатиклассником, а тут оказался сорокалетним... Хотел написать «мужиком», но, скорее всего, парнем. Чем старше я становлюсь, тем сложнее мне отличать ещё парня от уже мужика. Белый для меня оставался парнем, правда, потрёпанным, с потемневшими волосами.

— Ага, в Кызыле живу, — короткими фразами, но по-сибирски торопливо рассказывал Белый, что и как. — Лет десять в Новосибе проторчал, играл в «Фрау Крэк». Не слышал? Классная группа. Потом зачем-то вернулся... Машины шаманим — жестянка, электроника, колёса. Вот за запчастями приехал, у Ромки заночевал, а он говорит: завтра играем. Как я мог пропустить?

— А басуха чья?

Белый прибыл с бас-гитарой в чехле.

— Моя. Вожу вот на всякий случай.

Запись получилась не очень хорошей — на поиск мелодии, разучивание аккордов и партий уходило всего по часу-полтора, — но процесс нам понравился, и мы решили летом где-нибудь выступить. Фестивалей в июне-июле в Сибири проходит много.

Заявились на два: один под Абаканом, другой в Чадане. Среди организаторов были наши знакомые, поэтому не отказали. На первый Рома приехать не смог — уже был в экспедиции, а на второй его отпустили. И вот теперь мы ехали с этого второго, разгорячённые музыкой, довольные собой и грамоткой в рамке под стеклом, на берег речки Эрбек, где археологи раскапывали древние захоронения.

За рулём Белый, рядом — Рома, на заднем сиденье — мы с Лерой и Ромина подруга Дарина...

В магазин — на самой окраине Кызыла, в райончике, который раньше называли Мелькомбинат, — успели. Купили пять бутылок «Талки», колбасы, помидоров, сыра, яблок, копчёной скумбрии.

— Ребята порадуются, — складывая пакеты в багажник, сказал Рома. — Там-то особого разнообразия нет: тушёнка или с макаронами, или с гречкой.

Вернулись на объездную дорогу, переехали Енисей и свернули с асфальта на просёлок. «Японка» стала то оседать в песок, то жёстко постукивать по осколкам плитняка.

Я родился и вырос в этих местах, поэтому долго считал окружающий ландшафт единственно возможным. Конечно, смотрел в передаче «Клуб кинопутешествий» про другие земли, читал о морях, тропиках и всём таком прочем, но воспринимал скорее как сказку. Вернее, не мог поверить в бескрайнее пространство воды, в пальмы, в вечное лето. Видел на экране телевизора, на страницах книг, но по-настоящему представить не получалось.

В Туве природа разнообразна. Есть тайга и песчаные пляжи на тёплых озёрах, есть высокогорная тундра, есть болота-зыбуны с качающимися берёзами, россыпями клюквы, есть луга, есть джунгли из тополей и тальника, но с настоящими лианами, на которых мы детьми пытались качаться подобно Маугли...

Много чего в Туве есть, но тот пейзаж, какой я видел почти ежедневно, — наш город Кызыл, лежащий в зелёной долине вдоль Енисея, а вокруг гористая, скудная степь, которую стоило бы называть полупустыней, — заслонял в сознании и памяти остальные.

Под конец восьмидесятых город перестал уместаться в долине, полез туда, в полупустыню. До сих пор, несмотря на завоз плодородной земли, тонны выливаемой речной воды, газоны там — без травы, а тополя и вязы поднимаются страшно медленно — в тридцать лет остаются подростками. Хилыми, полумёртвыми. Мучаются, а не растут. Кажется, дёрнешь за ствол и вытащишь вместе со слабым, так и не развившимся корнем.

## Долг

Сейчас мы ехали вглубь этой полупустыни.

Холмы, увалы, клочки желтоватого ковыля, колючий, почти без листьев карагатник, прозрачные шары готового сорваться с места и побежать при первом же ветре перекаати-поля и лишь изредка сочная зелень растущей из коровьей лепёшки конопли. А так — напоминающий битые черепки плитняка, мелкий, похожий на цемент песок или твёрдая красноватая глина.

Через полчаса глаза устают от этого печального однообразия, ищут развлечения, мозг начинает фантазировать. Вот холм вдали изъеден выветриванием, превратился в скалу с выступающими рядами камней. Они в трещинах, но таких, словно камни — плотно подогнанные друг к другу блоки, и трещины на самом деле — швы.

И представляешь, что это руины старинной башни, внутри есть комнаты, может, сохранилось оружие, какой-нибудь клад с сокровищами.

Или вон там, слева, холм слишком похож на пирамиду. Грани, острая вершина. Подмывает остановить машину, взять у Белого лопатку и быстро снять нанесённый слой глины. И под ним обнаружится кладка, запечатанный вход, за которым тоже комнаты и тоже сокровища...

Но никакие это не руины, никакая не пирамида. Нет здесь следов человеческой жизни. Даже чабанских юрт и овец не видно. Нечего овцам щипать.

Я поглядывал на Леру, боясь, что она заскучает, скуксится. Этого не хотелось. Мне самому тяжело с непривычки, но, если я замечу, что дочке тяжело, неприятно, мне станет больно. Кажется, я почувствую её приговор: «Твоя родина, папа, отстой».

Нет, Лера смотрит вдаль спокойно, она о чём-то думает. О чём-то наверняка не слишком весёлом — улыбки нет, — хотя и не о грустном. О чём-то, может, космическом. Недаром древние обитатели этих степей верили в Тенгри — Небесного создателя.

Мы все молчим. Молчание не давит — просто слова сейчас не нужны. Я вот думаю об одном, Лера — о другом, остальные тоже в своих мыслях. Хорошо.

Не двигаемся, не ёрзаем. Лишь Белый время от времени слегка покручивает руль, отводя колёса от ям или острых камней, да Рома, когда «японку» всё-таки встряхивает, поправляет стоящий у него между ног пакет с бутылками.

Стрелка спидометра покачивается между двадцатью и пятьюдесятью километрами. По песку и глине машина бежит быстрее, по рёбрам плитняка крадётся.

Сколько мы уже проехали по этому просёлку? Спрашивать не надо, подумают — надоело. Хотя да, мне слегка надоело — в Москве я привык к другому ритму, давно не сидел просто так, не созерцал, не углублялся в мысли. Вообще стал нетерпелив. Две минуты ожидания поезда в метро утомляют и вызывают досаду; перегон между станциями длиннее обычных — тоже...

Начинает казаться, что дорога никогда не закончится. Что так и будем ехать теперь всегда. Вечно. Переместимся в какое-нибудь иное измерение, где не нужен бензин для двигателя, не важна цель; главным и единственным останется процесс — движение по этому почти пустому пространству.

И Белый, и мой тёзка на фестивале то и дело курили, да и сам я не могу — если не сплю — обходиться

без сигареты больше получаса. Во время перелётов страдаю и нервничаю. А сейчас никто не проявляет желания покурить; Белый не останавливает свою «японку» и не объявляет: «Перекур!» Все мы будто спим.

Кто проложил этот просёлок? Кто первым сюда забрался? Не имею в виду древних людей, которые, ещё не приручив лошадь, не изобретя колесá, преодолевали огромные, немыслимые расстояния. Их смелость и упорство нам недоступны. Но ведь был человек, что сел в машину — УАЗ, например, или пусть мощный «Урал» — и повёл её по степи.

Можно решить, что дорогу пробили участники той экспедиции, к которой мы едем. У них наверняка есть навигаторы, карты со спутников. Но отец возил меня по таким дорогам в конце семидесятых, когда никаких навигаторов не существовало, да и топографические карты были неточными. И кто-то взял и поехал по каменистой или песчаной поверхности, надеясь, что там, за ней, где-нибудь будет другое. Лучшее, а может, и прекрасное.

И мы до него — до этого другого — кажется, добрались. Серо-буро-жёлтый горизонт расцветился густым зелёным. Я инстинктивно дёрнулся на сиденье навстречу ему, и остальные ожили и зашевелились.

Через минуту зелёная полоса распалась на пунктиры, стало понятно, что это кроны тополей. Они росли не тесно, были высоки и мощны, а полоса хоть и длинная — краёв справа и слева не видно, — но узкая: просветы меж тополями снова серо-буро-жёлтые. Там дальше снова полупустыня.

В наших краях такие полоски деревьев называют колками. Где-то, говорят, колки больше напоминают рощи, а здесь их ширина занимает три-пять

метров по обе стороны от ручья или речки. Отвоёванная или, может, ещё не сданная плитняку и песку ниточка плодородной земли.

— Вот и Ээрбек, — на тувинский манер, с двойным «э», объявил Белый. — Почти на месте.

Речку нужно было переезжать по каменистому дну. Чтобы хоть немного приподнять низенькую «японку», мы, пассажиры, решили выйти.

— Вброд пойдём, — объявил Рома.

Лера спросила с надеждой:

— Мне тоже?

— Сиди там. Глубоковато для тебя, и вода ледяная. — Я ещё не трогал воду, но по её стеклянной прозрачности видел: не ошибаюсь.

А воздух был жаркий, как в сухой парилке, и оглушающе стрекотала саранча.

Разулись, завернули штаны выше колен, ступили в речку. Обожгло холодом, по коже волной вверх побежали мурашки и собрались на голове, зашевелили волосы. Стараясь не поскользнуться, я быстро побрел через Эрбек. «Японка» за спиной и слегка правее взревела, как старый «Москвич» с сорванной выхлопушкой, и тоже ринулась в реку.

Форсировали удачно. Перекурили на клочке травы, дожидаясь, пока ноги высохнут, поехали дальше.

Теперь дорога была вдоль русла. Чаше стали попадаться скалы, напоминавшие башни, по обе стороны от Эрбека, метрах в тридцати, почти сплошной грядой тянулись увалы — это были древние берега реки, тех времён, когда всё на планете было крупнее и шире. Но, может, в короткий период таянья снега и льда в Саянах река разливалась примерно до этих увалов. А исток её наверняка в горах.

Здесь почти все реки берут начало в горах, а впадают в Енисей. За исключением тех, что рождаются из пробитых геологами артезианских скважин и через несколько сотен метров теряются в степных песках.

Странно — мы ехали вверх по течению, но древние берега отдалялись и отдалялись от нынешних, увалы расступались, да и нынешний Эрбек становился пусть не шире, но спокойнее и явно глубже. Тополей росло больше, появился и тальник, пятачки высокой сочной травы.

Реки в Азии далеко не всегда полноводнее в устье, чем в среднем течении.

И вот увал слева вовсе ушёл в сторону, открывая нам широкую и плоскую долину. Правда, почти голую: всё те же клочки ковыля, кустики карагатника, перекати-поле, ещё какие-то чахлые колючки...

На склонах дальних сопок можно было различить одинокие лиственницы — начало тайги, а впереди, совсем близко, дорога входила в настоящий тополевый лес. И там, в нём, пестрели палатки.

Лагерь археологов оказался большим, хотя и малолюдным. Часть палаток была техническими помещениями, а не жилыми. В самой большой и высокой — настоящий дом то ли из брезента, то ли из какого-то современного материала, названия которого я не знал, — находилась, как сказал Рома, камера.

— Что? — я не понял.

— Ну, склад находок, грубо говоря. Походная лаборатория.

Метрах в двадцати, ближе к реке, располагалась столовая — высокий навес с длинным столом и лавками, кухней за занавесками.

Рома с Дариной сходили на кухню.

— Ребята ещё в поле, ужин будет через час-полтора. Потерпим?

— Потерпим, — кивнул Белый, и я следом.

И Лера твёрдо сказала:

— Потерпим.

— Может, всё-таки съешь печенья? — Мы не обедали.

— Нет, я со всеми.

До раскопа было далековато, на него решили сходить завтра, а сейчас отправились посмотреть то, что нашли ребята за два с половиной месяца.

— Сначала на Саянском водохранилище копали, — говорил Рома, — пока там вода низкой была, а в конце июня сюда переехали.

— Здесь уже седьмой год, — добавила Дарина.

В палатке нас встретила... Вот опять: напишу «встретила девушка лет сорока» — будет смешно. Напишу «женщина лет сорока» — представится именно женщина. А она выглядела как девушка, но ей было явно сорок или за сорок... Таких девушек-женщин теперь много. Подтянутые, сохраняющие следы девичьей свежести, отсвет юности. Впрочем, будь мне не сорок пять в момент нашей встречи, а лет двадцать, я бы вряд ли сомневался, как её обозначить. Штампанул бы: «сорокалетняя сухощавая женщина». Теперь же приходится задумываться, выбирать, делать такие вот нелирические отступления.

— Это Ира, наш хранитель, — представил её Рома, — всё найденное мы передаём ей. Ир, покажи, пожалуйста, что накопили.

Ирина не проявила особой радости, но постепенно увлеклась, рассказывая, что на самом деле такое вот этот сгусток чего-то землисто-зелёного или

вот эта ржавая полоска металла, частью чего являлся черепок размером с ноготь мизинца, — и через несколько минут уже улыбалась, голос сделался звонкий, молодой.

— А вот что Роман нашёл, — открыла одну из картонных коробочек, — кажется, это очень редкий образец...

Вынула довольно большую и толстую пластину, на которой был изображён бык со свирепо сдвинутыми бровями и раздутыми ноздрями.

— Сложно пока сказать, к какому времени относится эта деталь поясного набора, но если к эпохе звериного стиля, то нас всех можно будет поздравить.

— С чем? — спросил я.

— В то время животных и зверей изображали почти всегда в профиль, а здесь — в анфас. Подобных изображений очень мало. Тем более чтобы зверь смотрел словно бы нам в глаза.

— И как ты нашёл?

Рома, человек по натуре застенчивый, подёргал бороду:

— Не знаю... повезло...

— Обнаружена эта пряжка в зоне Саянского водохранилища. Мы ведём там раскоп каждые май и июнь, когда происходит сброс воды. — Голос Ирины стал официальным, как у экскурсовода. — В основном находим захоронения времён хунну, но встречаются и более ранние предметы, украшения. Скорее всего, эта находка из более раннего — четвёртый-третий век до нашей эры...

Во время рассказа она с умилением и тоской поглядывала на Леру. Я забеспокоился: мало ли... А Лера косилась на ряды обёрнутых целлофаном черепов на стеллаже.

Потом был ужин. Археологи — молодые парни и девушки, в основном волонтеры из Питера — с удовольствием ели привезённые нами скумбрию, помидоры, яблоки, а мы с Лерой и Белым налегали на пахнущую дымом гречку с тушёной.

За ужином распили две бутылки водки, потом часть людей ушла спать или заниматься своими делами, а человек десять сели вокруг костра на берегу Эрбека.

Среди них оказалось двое моих читателей, Юра и Слава. Они всё повторяли, что не верят, что к ним заехал «живой Сенчин», расхваливали мои книги, советовали читать их остальным, спрашивали о таких деталях из разных повестей и романов, которые сам я не помнил.

Мне было неловко, я пытался перевести разговор на другое, останавливал хвalebные монологи предложением «давайте лучше накатим». Да, мне было неловко, но в то же время я с удовольствием чувствовал горделивый взгляд Леры...

— Ты в Москве ведь? — спросил Юра, как и большинство парней здесь, бородатый, в клетчатых широких шортах и растоптанных сандалиях.

— Да, давно.

— Не скучаешь по Туве?

— Да не особо. — И я усмехнулся, придумав оригинальный ответ: — Всё чаще в Москве себя чувствую как в Кызыле.

— В смысле?

— Столько стало... это киргизы, скорее всего. Но и язык похож на тувинский, и ведут себя так же.

Кто-то из девушек — девушки выглядели свежими, чистенькими, все в бриджах, с голыми загорелыми икрами и руками — не согласился:

— Киргизы — мирные.

— Это пока их относительно мало. Но численность стремительно растёт. Лет через пятьдесят посмотрим.

— Да ладно.

— А что — в восьмидесятые Кызыл был абсолютно русским городом. Ну, русские, украинцы, евреи, армяне. Скажи, Ром.

Рома качнул головой. Но промолчал.

— А теперь, — досказал я, — от Чадана не отличишь. Большое стойбище.

Эти слова, наверное, были не особо приятны археологам — большинство приезжающих сюда фанатеют от национального колорита. Но селились-то тут не из-за колорита — многих присылали по распределению, комсомольским путёвкам, а потом бросили. И программы типа возвращения соотечественников на Туву и подобные республики не распространяются — формально-то это части России.

— Как выступили? — спросил мой другой читатель, Слава.

— Нормально.

— А спойте.

— Да у нас такое... не для костра.

— И мы не Визборы. Давайте.

Петь не хотелось. Я долго отказывался, хотя Рома уже пощипывал струны. Сдался, когда Лера потребовала:

— Папа, спой. — И мне послышалось недоговорённое: «Не ломайся».

Я сказал Роме название вещи, тот вспомнил мелодию, я внимательно слушал, чтобы вступить вовремя, — со слухом у меня проблемы. Кажется, попал.

Пройдено бездорожье,  
Найдены все слова.  
Дальше можно свободно катиться:  
Пузо, попа, голова.

Перед глазами лужайка с травой,  
За спиною — дым.  
Хватит брыкаться, я достаточно пожил,  
Я уже не умру молодым...

И ещё два куплета в таком роде.

Я написал эту песню в сорок два года, впервые исполнена она была в ту ночь в минусинской музыкалке, когда мне было сорок пять... Тогда я чувствовал себя укоренившимся: двадцать лет в Москве, у меня жена и две дочери, квартира, свой кабинетик на утеплённой лоджии, огромный архив из черно-вигов, блокнотов, вёрсток, корректур, библиотека с нужными и полезными книгами, пусть не особо денежная, но стабильная работа плюс гонорары и роялти, разные халтурки, которые, правда, нужно делать на совесть, чтобы новые предлагали.

Никому и ни за что бы не поверил, что через полгода окажусь в другом городе с двумя сумками самых необходимых вещей, начнётся совсем другая жизнь, а ещё через пять месяцев я буду официально именоваться молодым — на свадьбе...

Ночь в Туве наступает быстро: солнце ныряет за гору, небо на западе погорит ярко-синим или красным огнём, и вот уже непроглядная тьма. И воздух мгновенно холодеет, словно его не пекли весь длинный день.

Дарина принесла нам куртки и пледы, но Лера вскоре захотела спать. Я ещё посидел, наслаждаясь

костром, рассказами ребят про раскопки. Когда-то я тоже хотел стать археологом — начинавшись про Шлимана, Говарда Картера.

Лет за пятнадцать до этого не так далеко отсюда, на севере Тувы, было обнаружено не разграбленное в древности или бугровщиками прошлых трёх веков захоронение мужчины и женщины. Кто они, к какому народу принадлежали, так и не удалось выяснить — их условно отнесли к скифам. В могиле сохранилось много золотых изделий поразительно тонкой работы, оружие, посуда, курительная трубка.

— А что, интересно, курили в то время? — шутливо спросил я.

В ответ засмеялись, и вскоре по кругу пошла трубка мира...

Проснулся я рано. Голова была лёгкая и ясная, будто лёг вчера трезвым и не в три часа ночи, а в десять вечера.

В палатке было прохладно, и я некоторое время лежал под одеялом, боясь, что на улице ещё хуже. Но в конце концов выбрался.

Нет, солнце уже работало вовсю, выжигало ночную свежесть.

Достал из сумки зубную щётку и пасту, пошёл к реке.

На помосте из досок, где, видимо, археологи умывались, стирали, сидела вчерашняя Ира. Просто так, задумавшись.

— Доброе утро, — сказал я.

Она вздрогнула, обернулась.

— Доброе.

— Хорошо вчера посидели. Но вы что-то быстро ушли.

Я не стал умываться при ней. Тоже присел на доски, закурил. Вода рядом текла неспешно, но заметно — ровным тугим потоком.

В небе висели коршуны, жалобно прося сусликов вылезать из нор, а рыбу всплывать на поверхность.

— Я это не особо люблю, — ответила Ирина. — Честно говоря, надоело.

Я почувствовал укол обиды, но не от самих слов, а от интонации. Злой, сухой.

— Посиделки у костра надоели? Ну да, если каждый вечер...

— Да всё.

Своим вопросом и ответом я решил сгладить остроту её злобы, но Ирина явно этого не хотела, потому и уточнила. Я кашлянул. На душе стало мутно. Затянулся раз, другой и тоже разозлился. Её демонстративное настроение, так называемый негатив, разрушали моё ощущение счастья.

— Ну зачем тогда вы здесь, если всё надоело? Кажется, никого насильно сюда не тащат, да и зарплата не такая, чтоб через силу...

— Да, действительно не тащат, — перебила Ирина, и теперь я услышал вместо злобы грусть и усталость. — Меня настоятельно просят.

— Почему именно вас?

— Потому что я камеральщик.

— И что?

Ирина посмотрела на меня непонятым взглядом и отвернулась, не отвечала.

На том берегу стояли толстые тополя. Вернее, одни стояли, а другие лежали, превратившись из деревьев в столбы, — ветви их пообломали, попилили на дрова, а стволы топорам и пилам были не по зубам...

Я заговорил мягче, мне действительно стало интересно, чем эта особа так незаменима, что её настоятельно просят. Она стала объяснять:

— Я не только учитываю находки, исследую их, но и веду летопись работы. На мне запись каждого шага. Это ведь так не получается — раскоп до конца сезона завершить. Часто приходится консервировать, а следующим летом продолжать. Отвал двигать, и с того же сантиметра, на каком в прошлом году остановились, — дальше. И я здесь уже восьмой сезон. На этом же самом месте. В две тысячи девятом приехали местность изучать, на следующий год начали раскопки, и вот... Тянет в другие места, а приходится... — Ирина не заканчивала фразы, и в голосе булькали слёзы, что ли.

— И никому нельзя передать документы, ввести в курс дела?

— Я предлагала, никто не берётся.

— Ну а что просто не бросите? Не поеду, и всё. Или это как-то на работе скажется? Вы откуда, извините?

— Из Петербурга, в ИИМКа работаю. Кандидат наук, между прочим, докторскую писать пытаюсь...

— Что такое ИИ...

— Институт истории материальной культуры. На Дворцовой набережной находится, а сама я с Литейного. Вы бывали в Петербурге?

— Бывал. Учился даже.

— Да? Где?

— В ПТУ, — хмыкнул я, но тут же поправился: — Вернее, на десятимесячных курсах. Я после десятого поступил... У нас тогда десятый последним был, выпускным.

— Да, я знаю — я сама тогда школу окончила. Восемьдесят девятый год.

— Реально? Мы, получается, одногодки. Отлично выглядите... Это не комплимент, а констатация.

Губы Ирины покривились, изображая улыбку.

— А вы писатель, как я поняла? Парни все последние дни: «Сенчин, Сенчин...»

— Ну так, пишу... Как говорил Толстой: чем-то ведь надо заниматься.

— И в группе играете. — Она словно показывала мне, какая у меня многогранная жизнь. В отличие от её. А я отбивался полшутками:

— Ну, это так — последствия юности. Пытаюсь её вернуть при помощи панк-рока. Но прав был Андрей Платонов: в молодость мы уже не вернёмся, разве что в детство. К тому же я не играю. Не способен овладеть инструментами, поэтому назначили петь.

Это была моя давняя шутка. Часто употреблял её на встречах с читателями, когда речь заходила о моём участии в рок-музыке.

— Дочка у вас хорошая, — нашла новую грань Ирина, — светлая такая девочка.

— Хорошая, да. Первое наше с ней путешествие вдвоём. Старшей уже не до этого, взрослая совсем... А у вас нет детей?

— Нет. — Ирина помолчала. — Когда их при таком графике... Вернее, замуж не вышла, а матерью-одиночкой быть не хочется. Вот и расплачиваюсь теперь: ты одинокая, борщи-солянки варить никому не надо, езжай в поля... Забыла уже, что такое летний Питер. В середине мая уезжаю, в конце сентября возвращаюсь...

— А я вот, — захотелось её как-то подбодрить, — давно собираюсь такой рассказ написать... Прочитал заметку, и из головы не выходит: где-то в Арктике на станции живут две девушки. Метере... — это

слово всегда давалось мне с трудом, — метеорологи. И вот они по нескольку раз в сутки ходят из домика к будке или что там, где у них барометры, осадкомеры, прочее... А там вокруг голодные белые медведи. И у девушек одна двустволка из оружия. Одна снимает показания, другая её охраняет... Очень, говорят, страшно, но что делать — долг.

Выдав эту косноязычную речь, я снова покашлял досадливо — думал, история получится яркой и сильной, а вышла вот такой. Пошуршал пакетиком со щёткой и пастой. В руке был ещё потушенный окурок сигареты, который я не знал куда деть. В реку бросать было неудобно, а ведра для мусора рядом не видел.

— Долг, — сказала Ирина раздумчиво. — Наверное. Долг — это мощная сила... Да я и не... В общем, это вы меня в такой момент подловили, что я начала. К тому же вы очень довольный вчера были, аж светились. А сегодня плюхнетесь в машину, и останется в памяти, что здесь одни радостные люди живут... Я, в общем, перед своими такого себе не позволяю. Работаю, интересно, нужно... Долг. Да, долг есть. Нужно доделать. Вы вот говорите — бросить. Бросить можно, теоретически, никто меня не убьёт. Но это как-то... как предательство будет... Вся надежда, — теперь она хмыкнула, — что это не навечно. Мы ведь здесь копаем из-за дороги — по этой долине железная дорога должна пройти, вот нам и разрешили копать. Скоро, наверное, потянут. Ну, и наша экспедиция кончится.

— Да. — Не хотелось её разубеждать мыслью, что вряд ли железку из Красноярского края в Туву в ближайшие годы начнут строить на самом деле. Лет пять назад или больше Путин вбил первый костыль,

и с тех пор ни с севера, ни с юга не продвинулись ни на километр... — Кончится, — сказал я уверенней, — и займётесь научной работой по-настоящему. И замуж выйдете, и ребёнок будет. Теперь сорок пять — это не безнадежно. Как отец двух детей вам говорю. — И я посмеялся; Ирина поддержала на сей раз более искренней улыбкой.

Потом нас с Лерой покормили завтраком, сводили на раскопки. Показали могилы и гробы в них из стоящих вертикально больших кусков камня-плитняка, объяснили, что такое могильное пятно, материк...

— А двигать отвал — это как? — вспомнил я слова Ирины.

Рома удивился:

— Ух ты! Ты и фишки наши знаешь?

— Я по роду профессии должен много знать.

— Двигать отвал — доставать землю из раскопа, которой он был засыпан в конце прошлого сезона. Короче, копали-копали, а тут снег пошёл. Приходится обратно закапывать, а на следующий год всё по новой.

— Бедолаги.

— Не говори...

Мы фотографировались на память. Слава, выпив заначенной водки, надрывно, связками пел песню Егора Летова:

По больному месту — да калёным швом!

По открытой ране — да сырой землёй!

Из родной кровати — да в последний раунд!

Из крейзовой благодати — да в андеграунд!

И взгляд его спрашивал у меня: «Ну как?» Я не мог ему признаться, что давно ничего не слушаю,

## Долг

кроме записей своих песен. Вырос, перерос. Под свои молодею. На час-другой. Если даже там про «не умру молодым».

Долго прощались с ребятами; Лера и Дарина заплакали — за эти четыре дня они успели привязаться друг к другу. Мы с Ромой крепко пожали руки, не страшась того, что снова можем расстаться на два десятка лет. Что ж, встретимся шестидесяти-пятилетними и снова дадим жару на каком-нибудь фестивале...

Я искал глазами Ирину, но её не было.

Сели в «японку», и Белый повёз нас в Кызыл.

На следующий день мы вернулись в деревню к моим родителям, через неделю прилетели в Москву, в сентябре Лера пошла в шестой класс, в конце января мы с женой в очередной раз поругались и она сказала мне такие слова, после которых я не смог больше находиться с ней в одной квартире. Я собрал самое необходимое и открыл дверь. Лера попросила, заикаясь от слёз:

— Папа, не уходи.

Но я ушёл. Сел в поезд и уехал. Вскоре у меня появилась новая жена. Третий год живём душа в душу.

Бывая в Москве, я вижу со старшей дочерью, Ветой. Лера со мной встречаться отказывается. Наверняка считает меня предателем. Может, она права.

# В залипе

## Художественно-просветительское повествование

**П**роснулся до будильника. Если вчера не пил — просыпаюсь рано. Могу лечь часа в два, а в половине седьмого или в семь, крайний срок — в начале восьмого распахиваю глаза. И сразу возникает потребность сесть за работу.

Вернее, потребность сохраняется во мне круглые сутки. Бывает, во сне я пишу. Быстро, много, самозабвенно. Потом, наяву, не могу отделаться от чувства, что действительно писал, даже заглядываю в тетради и блокноты, ворошу файлы в компе, надеясь отыскать эти страницы.

Да, сегодня опять проснулся до будильника. Шесть тридцать семь. Отличное время. Если быстро умыться, сделать кофе, покурить, то в семь часов я буду за своим письменным столом. Тишина, позволяющая углубиться, вжиться в сюжет, в героев. Родных, но уже подзабытых — некоторые рассказы и повести начаты несколько лет назад, к ним я возвращаюсь редко и коротко. И всё труднее выбрать, что продолжать. С десятков текстов, равно до-

рогих. Они не дают покоя, лепечут жалобно: «Меня, меня допиши, меня».

Выполняя обещание жене, перед первой сигаретой делаю глоток кефира. У её знакомой недавно умер муж, чуть старше меня, — покурил на пустой желудок и умер. Сердце... Кефир может уберечь...

Выхожу на лоджию. Небо чистое, воздух тёплый. За четыре дня наступило лето. В конце апреля земля ещё была как кость, третьего мая выпал снег по щиколотку, а сегодня, десятого числа, деревья в листе, летают мухи и мошки. Вид с нашего двадцать первого этажа прекрасный. Большинство зданий намного ниже, и чувствуешь себя королём города. Вдали невысокие, но всё-таки горы. Хребет. Или, точнее, отроги. Короче, цепь возвышенностей. Так или иначе, но они не дают забыть, что я на Урале.

Слева — груды домов, из которых торчат башня «Исеть» и «Высоцкий». Под лоджией, в окружении пятиэтажек, пять особнячков. Три каменных и два чёрных, деревянных. Детская площадка, ряды сарая, клумбы из покрышек. Когда смотришь на это, кажется, что ты в маленьком приземистом городке, но почему-то вдруг поднялся в небо, воспарил. Пол исчезает, ты действительно как бы висишь без опоры, изучаешь городок с высоты птичьего полёта. И покуливаешь сигарету.

А справа — самое интересное. Там озеро Шарташ и лес, лес, лес. Картину, правда, портят выросшие за несколько месяцев три многоэтажки разной высоты — количество этажей сейчас, без очков, посчитать не могу, — но всё равно вид завораживает. И хочется полететь туда, в необъятные дали, покружиться над водой. Или пешочком пойти...

Когда приобретали квартиру в этом доме, планировали с женой проводить на Шарташе каждые выходные, купить велики и гонять по лесным дорожкам, я собирался рыбачить... За два с лишним года побывали два раза, но благодаря интернету я изучил шарташские окрестности подробно и детально.

Там есть странные скалы, которые называют Каменные палатки. Их я видел своими глазами. А вот так называемые мегалиты — только на фотках. Настолько ровные стены из плотно лежащих друг на друге плит, что кажется, их действительно сложили люди. А потом ещё подтесали какими-то сверхмощными инструментами, срезали выступы острейшими и прочнейшими пилами.

Одни утверждают, что это старинные карьеры и каменоломни, другие — что остатки древних зданий. Судя по форумам на сайтах, спорят давно и яростно. У нескольких краеведов отстаивание своей позиции по этим стенам и правильным углам, лестницам с гигантскими ступенями — цель жизни. И не жалко время тратить на длинные посты, фотогалереи...

Тушу сигарету в пустой пепельнице. Вчера перед сном очистил её, ссыпал окурки в целлофановый пакетик, завязал, чтоб не воняло, бросил в мусорное ведро... Каждый вечер перед сном делаю так — день приятнее начинать с пепельницей без вчерашних окурков. Этакое обновление, что ли...

С чашкой кофе вхожу в кабинет. Настрой бодрый. Хорошо, что вчера не выпивали. Вчера было Девятое мая. Отметили дома, без алкоголя. Смотрели фильмы в компьютере — про войну, но без особо кровавых сцен. «Двадцать дней без войны», «В авгу-

сте 44-го», «Женя, Женечка и “Катюша”», «Баллада о солдате» и — раз уже пятый — новый фильм нашего земляка Алексея Федорченко «Война Анны». Прекрасная вещь, недаром все премии собрала...

Да, вчера был праздник, а сегодня надо работать. Начатого полно, и всё буксует.

Кабинет у меня идеальный. Разумный комфорт и необходимый аскетизм.

Письменный стол из «Хоффа», удобное полукресло, настольная лампа, которая не слепит глаза, два книжных шкафа, столик для принтера, кушетка, над которой графика — два хакасских ребёнка возле юрты: напоминание о родных краях.

Усаживаюсь, открываю ноутбук. Ввожу пароль. На экране с полсотни папок и файлов. Лишь по центру прогаalinkа заставки: поросший жёлтой травой склон горы... Надо бы переместить папки и файлы в «Документы». Но ведь всё может в любой момент понадобиться, всё в работе.

Внизу экрана рядок иконок: «Finder», «Siri», «Safari», «Почта»... Кликаю на «Safari» — глянуть надо, как там в мире.

Выскакивают новости; взгляд цепляется за такую:

«Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС».

— Что они там, бухнули в честь Победы?

Конечно, щёлкаю мышкой по сообщению. Мгновенно появляется развёрнутая информация:

«Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС)

изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2. Об этом агентству "РИА Новости" рассказал глава Центра подготовки космонавтов, Герой РФ Павел Власов».

Хм, «агентству»... Вообще писать даже в федеральных СМИ стали с ошибкой на ошибке.

«"Все замечания выданы, вопросы заданы", — сообщил Власов.

Он отметил, что все вопросы по поводу работы частных космических кораблей из США российская сторона задаёт не непосредственно корпорации SpaceX, а NASA, которая является посредником.

Экипаж МКС почувствовал запах этого вещества 3 марта после стыковки со станцией американского беспилотного корабля Dragon-2. Тогда его концентрация в атмосфере МКС выросла сразу до 6 мг на 1 м<sup>3</sup>. Это не превышает допустимых пределов, однако по указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, после чего концентрация снизилась до 2 мг на 1 м<sup>3</sup>».

— Ну и новость, — хмыкаю снова, — запах два месяца назад появился, а новость...

Обрываю иронический бормоток: скорее всего, тогда было сообщение, а тут-то говорится про замечания, а не про само появление. Хотя в топ эта новость попала наверняка из-за событийного дефицита — очередной выходной, писать особенно не о чем.

А что за спирт такой — как его? — изопропиловый. Первый раз встретилось.

Вбиваю слово в поисковик. Вот ссылка на «Википедию». Секунду, другую не решаюсь кликнуть —

туда, в «Википедию», только войди. Выбраться очень трудно.

Любопытство перевешивает. Итак...

«Изопропильный спирт (пропанол-2, втор-пропанол, изо-пропанол, диметилкарбинол, сокр. ИПС — широко используемое сокращение) — органическое соединение, простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда. Существует 1 изомер изопропанола — пропанол-1, обладающий прямой цепью.

При нормальных условиях прозрачная, бесцветная жидкость с резким характерным запахом и мягким горьким типичных для спиртов с короткой углеводородной цепью вкусом».

М-м, если о вкусе пишут, значит, пить можно... И тут, кстати, ошибка: «типичных вкусом». Господи...

«Как и все летучие спирты, огнеопасен. Умеренно токсичен (считается, что в 2 раза более этанола [источник?]), требует осторожного обращения».

Так, «Химические свойства...», «Физические свойства...» В этом я ничего не понимаю.

Вот:

«Влияние на человека

Ингаляционное

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров изопропанола в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м<sup>3</sup> (ГОСТ 9805-84), в атмосферном воздухе населённых мест — 0,6 мг/м<sup>3</sup> (ГН 2.1.6.1338-03). Не накапливается в организме, то есть кумулятивными свойствами не обладает».

Так, опять всякая пурга с кучей цифр...

«Отравления изопропанолом случайны и в основном происходят с детьми младше 6 лет. Летальный исход от отравления изопропанолом происходит крайне редко.

Небольшие дозы изопропанола, как правило, не вызывают значительных расстройств. Серьёзное токсическое воздействие на здорового взрослого человека при пероральном употреблении может быть достигнуто при дозах порядка 50 мл и более».

Что такое «перорально»?

Нахожу в той же «Википедии»:

«Пероральный приём лекарственных средств — приём лекарства через рот (лат. *per os, oris*), путём проглатывания лекарства. Преимущественно приём лекарственных средств данным способом назначают для лекарств, которые хорошо всасываются слизистой оболочкой желудка...»

Всё, всё, дальше не надо. Всё ясно.

Возвращаюсь к статье о спирте.

«Изопропанол при приёме внутрь метаболизируется в печени под действием алкогольдегидрогеназы в ацетон, что обуславливает его токсическое действие.

При приёме внутрь вызывает опьянение, сходное с алкогольным. Хотя токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза выше, чем у этанола, его опьяняющее действие также выше, но уже в 10 раз. По этой причине смертельные отравления изопропанолом, в сравнении с отравлениями от этилового спирта, случаются реже, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу изопропанола, если только не выпил одновременно от 500 мл.

Биологический полураспад изопропилового спирта в организме человека составляет от 2,5 до 8 часов».

Хочу закрыть статью. Но взгляд скачет по строкам ниже. Прочитываю не каждую, выхватываю, как мне кажется, основное.

«Наркотические свойства

Изопропиловый спирт обладает наркотическим действием, наркотический эффект от приёма изопропанола почти в 2 раза превышает аналогичный эффект этанола. Концентрация 12 промилле в организме человека, воздействующая в течение 4 часов, вызывает состояние глубокого наркоза и смерть.

При длительном воздействии больших концентраций паров в воздухе вызывает головную боль, оказывает раздражающее воздействие на глаза и дыхательные пути. Для достижения данного эффекта человеку потребуется находиться в течение длительного времени в непрветриваемом помещении с большой площадью разлива изопропанола. Может оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему. Длительное вдыхание воздуха с концентрацией, значительно превышающей ПДК, может вызвать потерю сознания. Тяжёлое отравление изопропиловым спиртом происходит редко».

Интересно. Несмотря на противоречия, кажется, не особо опасней того этилового, который мы пьём. И опьянение наступает быстрее. Почему его не продают?

И сам же над собой хихикаю:

— Ну так вижу картинку: сидят десять мужиков вокруг одной бутылки. Хлоп по пятьдесят, и в говно. Не поговорить, ничего... И у торговли кризис...

Веду курсор к левому верхнему углу. Сейчас появится крошечный красный кружок. Щёлкну по нему — интернет исчезнет. Опущу крышку, отставлю ноут в сторону и подтяну к себе стопку тетрадей и блокнотов. Выберу, над чем буду работать...

Стрелка натывается на выделенные синим слова «наркотическим действием», мелькает выскочившая картинка пузырька с надписью «Негоin» на вполне себе заводской этикетке. Я когда-то уже открывал статью про наркотики, помню: в позапрошлом веке героин продавали в аптеках как лекарство от кашля. Но зачем-то щёлкаю, статья распахивается на весь экран, я, раздражаясь на себя, кручу валик мышки.

Взгляд цепляется опять. На этот раз за такие слова:

«Самые ранние археологические находки сосудов для вина датируются 5400–5000 гг. до н. э.».

А что было пять тысяч четыреста лет назад?

Мне действительно любопытно. Число не очень-то внушительное, но когда подумаешь, что Христос жил две тысячи лет назад, а Гомер — примерно три тысячи... И какой была человеческая цивилизация за две тысячи до Гомера?

Та-ак...

«6-е тысячелетие до н. э.

6-е тысячелетие до н. э. — временной промежуток с 6000 по 5001 год до нашей эры.

Во время 6-го тысячелетия до н. э. сельское хозяйство распространилось с Балкан на территорию современной Италии и в Восточную Европу, а из Месопотамии — в Древний Египет. Население мира сохраняло стабильную численность на уровне около 5 миллионов человек.

Согласно теории черноморского потопа, около 5600 года до н. э. Чёрное море наполнилось солёной водой (прорыв проливов Босфор и/или Дарданеллы). После прорыва проливов в водоём влилось около 12 500 км<sup>3</sup> солёной воды. Пресноводное внутреннее озеро после этого значительно увеличилось по площади и превратилось в море с солёной водой. Около 5500–5000 годов до н. э. на месте Балтийского моря образовалось послеледниковое Литториновое море».

Это ладно, пропустим... Вот, «События».

«Ок. 5900 года до н. э. — на Балканах складывается доисторическая культура Винча.

Ок. 5760 года до н. э. — извержение вулкана Пюи-де-Дом во Франции. [источник не указан 819 дней]

Ок. 5600 года до н. э. — масштабный катастрофический подъём уровня Чёрного моря.

Ок. 5600 года до н. э. — начало опустынивания Северной Африки, что в конечном итоге привело к образованию пустыни Сахара. Возможно, этот процесс заставил некоторые коренные народы мигрировать в район Нила на восток, тем самым положив начало египетской цивилизации.

Ок. 5600 года до н. э. — т. н. “люди красной краски” (Red Paint People) обосновались в районе между нынешними Лабрадором и штатом Нью-Йорк.

Ок. 5600 года до н. э. — культура Халаф и культура Хассуна-Самарра в Северной Месопотамии.

Ок. 5500 года до н. э. — на территории Греции появляются первые поселения земледельцев.

Ок. 5500 года до н. э. — культура Синьлэ в Китае.

Ок. 5500 года до н. э. — в Северном Причерноморье появилась трипольская культура.

Ок. 5480 года до н. э. (между 5481 и 5471) — аномально большая солнечная активность, вызвавшая подъём содержания атмосферного углерода-14 на 2%.

Ок. 5450 года до н. э. — извержение вулкана Гекла в Исландии.

Ок. 5400 года до н. э. — основание города Эриду — по шумерской мифологии, самого первого города на Земле.

Ок. 5400 года до н. э. — ирригация в Месопотамии.

Ок. 5300 года до н. э. — культура Бэйсинь в Китае.

Ок. 5200 года до н. э. — первые поселения на Мальте.

Ок. 5000 года до н. э. — культура Хэмуду в Китае».

Сколько их там, культур, в Китае? Каждые триста лет — новая культура... Интересно, что о вине пока ни слова. Может, в «изобретениях и открытиях»?

Стук в дверь. Испуганно, словно занимаюсь чем-то неприличным, провожу пальцами по тачпаду, и возникает рабочий стол, усеянный файлами и папками. Понимаю, что это подозрительно, нажимаю на один из файлов два раза. Он разворачивается в начало рецензии на одну неважную книгу для интернет-журнала с неплохими гонорарами.

Всё это занимает не больше секунды. А потом я произношу шутливо-деловым тоном:

— Да-да, войдите.

Входит жена...

Когда-то, ожидая в съёмной однушке переезда сюда, в просторную квартиру, мы представляли, как будем в ней жить.

«У тебя будет свой кабинет, — говорила жена, — и, перед тем как войти, я буду стучаться в дверь. Тихо и нежно».

Я фыркал: «Зачем стучаться?»

«Чтоб не врываться в твоё личное пространство. И не отрывать тебя от работы. Если ты будешь очень занят — говори, я не обижусь. Буду ждать, когда освободишься».

Часто, особенно по утрам, она так и делает — стучится и ждёт разрешения...

— Привет, любимый!

— Доброе утро, солнышко!

Она садится ко мне на колени, тёплая и мягкая со сна.

— Пишешь?

— Да... пишу вот...

— Извини...

— Да ты что! Так хорошо, что ты пришла.

— Правда?

— Конечно! Что тебе снилось?

— Снилось? — Жена вспоминает, сдвинув брови. —

А, что мы не справились с белыми ходами. Они нас убили, а потом мы стали ими. И пошли дальше...

— М-м, неплохой поворот сюжета. Но ведь мы победили, спасибо этой... Как её?

— Арье?

— Ну да. Одним ударом — всю армию...

— Посмотрим сегодня четвертую серию? — перебивает жена; ей неприятна моя ирония по поводу «Игры престолов». — Скоро уже пятая выйдет...

— Конечно, посмотрим.

— Ладно, — она целует меня, — я в душ. Что приготовить на завтрак?

— Можно омлет. Или пельмени.

— Пельмени на завтрак?

— А что, по радио тут говорили, что двадцать четыре процента екатеринбуржцев завтракают пельменями.

— Не помнишь, вареники есть?

— Вроде есть. С картошкой и грибами. Но я пельмени...

— Хорошо.

Снова поцелуй, и жена уходит.

Некоторое время смотрю на статью, кручу валик мышки. Примерный объём рецензии должен быть пять тысяч знаков. Написано три семьсот двадцать восемь. Ещё одно усилие — и можно сдавать. Одно усилие...

Но вместо усилия возвращаюсь к статье в «Википедии» про шестое тысячелетие до нашей эры.

Итак, «Изобретения и события»?

«Появление земледелия в долине Нила.

Выращивание риса в Азии.

Кирпич изобретён в Месопотамии. [источник не указан 927 дней]

Каменные и металлические артефакты, плетёные, гончарные и тканые изделия (Африка).

Мёртвые хоронятся в зародышевом положении, в окружении погребальных принадлежностей и артефактов, лицом на запад (Африка).

Украшенные глиняные кувшины и вазы с чёрным верхом; костяные гребешки, статуэтки и посуда обнаружены в большом количестве (Африка).

Разнообразные украшения из различных материалов (Африка).

Предметы производятся не только из-за функционального, но и из-за эстетического значения (Африка).

Организованные постоянные поселения вокруг районов земледелия (Африка)».

Дальше...

«Мифические события [править | править код]

25 мая 5493 года до н. э. — день сотворения Адама, от которого вела летосчисление александрийская хронология».

Хм, через пятнадцать дней у Адама — день рождения. Надо запомнить... А про вино так ничего и не оказалось. Может, открыть статью про вино?

Но меня теперь больше интересует черноморский потоп. Никогда раньше ничего о нём не слышал. Или прочно забыл. Надо глянуть...

«Теория черноморского потопы — научная гипотеза, согласно которой около 5600 г. до н. э. имел место масштабный катастрофический подъём уровня Чёрного моря, возможно, послуживший исторической основой легенд о Всемирном потопе. Причиной прорыва вод из Средиземного моря в замкнутое прежде Чёрное море считается землетрясение. До этого катаклизма уровень Чёрного моря был, очевидно, ниже общего уровня мирового океана.

Черноморский потоп мог послужить исторической основой легенды о Всемирном потопе, распространённой среди народов Ближнего Востока. Дарданов потоп (по имени мифологического Дардана, сына Зевса) упоминается и в греческих сказаниях о Трое.

Согласно гипотезе А. Я. Аноприенко и некоторых других исследователей, не исключена и связь этого катаклизма с легендой об Атлантиде, пересказанной Платоном в диалогах «Тимей» и «Критий».

Черноморский потоп, очевидно, привёл к масштабному переселению народов неолита. По мнению Райана и Питмана, с побегом от вод потопа следует связывать продвижение в середине 6-го тыс. до н. э. сельского хозяйства неолитического типа из Анатолии в район Среднедунайской низменности».

Так, про сельское хозяйство на Балканах я уже читал... А что, есть версия, что Атлантида могла быть в районе Чёрного моря?

Книги про Атлантиду в полудетском возрасте я очень любил. В них было про Средиземное море, про Атлантический океан возле Гибралтара... Ну-ка, есть ли в статье в «Википедии» об Атлантиде черноморская теория...

«1. История мифа

1.1 “Диалоги” Платона

1.2 Миф об Атлантиде в контексте творчества Платона».

Дальше, дальше... «Атлантический океан», «Средиземное море»... Хм! «Атлантида в Андах», «Атлантида в Бразилии». Вообще долбанулись... Вот:

«Прообразом для событий легенды об Атлантиде могло послужить катастрофическое поднятие уровня Чёрного моря, которое, возможно, произошло в шестом тысячелетии до нашей эры. Предполагается, что во время этого черноморского потопа в течение менее чем года уровень моря повысился на 60 метров (другие оценки — от 10 до 80 метров) в связи с прорывом Босфора средиземноморскими водами. Затопление больших территорий северного причерноморья могло, в свою очередь, дать толчок распространению из этого региона в Европу и Азию различных культурных и технологических новшеств».

И всё? Что-то доводов-то для такой теории немного у вас, господа.

По инерции просматриваю статью дальше...

«Индоевропейская экспансия.

Связанными с легендой о процветающей Атлантиде и её гибели могут быть и такие события, как формирование и распад индоевропейской общности, приведший к началу широкомасштабной индоевропейской экспансии в конце

IV тысячелетия до н. э. Географически эти события привязаны к регионам, прилегающим к Чёрному морю. Так, к Дунайскому (Северобалканскому) региону относится одна из гипотез местонахождения родины народов — носителей праиндоевропейского языка, предложенная В. А. Сафроновым. Гипотеза предполагает также привязку к этой общности возникновения письменности, укреплённых городов, разделения труда, централизованного управления, возникновения социальных классов и возникновения первой цивилизации на базе культуры Винча. При сопоставлении платоновской легенды с событиями IV тысячелетия до н. э. совпадение по времени достигается предложенной А. Я. Аноприенко интерпретацией указанного Платоном срока в 9000 лет как 9000 сезонов по 121–122 дня. Именно в этом случае наблюдается максимальное соответствие не только традиционной исторической хронологии, но библейской хронологии, а также теории черноморского потопы при условии датирования катастрофы примерно 3300–3200 годами до н. э.».

Ну ладно, понятно...

Подвожу курсор к плашке «Атлантида-Википед...»; уже появляется крестик и прям просит: «Нажми, закрой». А глаза, словно их направляет какая-то сила, выхватывают:

«В 1624 году английский учёный и политик Фрэнсис Бэкон Веруламский в книге “Новая Атлантида” (Nova Atlantis) отождествил с Атлантидой Бразилию».

Что, тот самый Фрэнсис Бэкон?

Проверяю. Да, у него есть «Новая Атлантида».

Как-то я пропустил эту книгу. Кусто читал, Григория Адамова читал, Жюль Верна, конечно, Беляева,

Рериха, Анчарова... Много ещё кого. Даже Валерия Брюсова. А вот Бэкона — нет. Но, может, её и не перевели в то время, когда я увлекался Атлантидой.

Фрэнсис Бэкон — это серьёзно...

«...отождествил с Атлантидой Бразилию.

Вскоре вышел в свет новый атлас с картой Америки, составленный французским географом Николя Сансоном, в котором на территории Бразилии были указаны провинции сыновей Посейдона. Такой же атлас издал в 1762 году Роберт Вогуди.

Наиболее последовательным сторонником локализации Атлантиды (или её колоний) на территории Бразилии был знаменитый британский учёный и путешественник полковник Перси Гаррисон Фосетт (1867–1925?). Главным указанием на существование в неисследованных районах Бразилии остатков доисторических городов Атлантиды для него служила т. н. Рукопись 512 — документ XVIII века, в котором описывалось открытие португальскими искателями сокровищ (бандейрантами) в 1753 году руин неизвестного мёртвого города в глубине провинции Баия. “Главной целью” своих поисков Фосетт называл “Z” — некий таинственный, возможно, обитаемый город на территории Мату-Гросу, лишь предположительно тождественный городу бандейрантов 1753 года. Источник сведений о “Z” остался неизвестным; эзотерические предания со времён Фосетта до наших дней связывают этот мифический город с теорией Полной Земли».

О Господи Иисусе, как любит восклицать писатель Евгений Попов.

«Материальным свидетельством существования неизвестной доисторической цивилизации на территории Брази-

лии Фосетт считал статуэтку из чёрного базальта. По словам Фосетта, эксперты из Британского музея не смогли объяснить ему происхождение статуэтки, и с этой целью он обратился за помощью к психометристу, описавшему при контакте с этим артефактом “большой, неправильной формы континент, простирающийся от северного берега Африки до Южной Америки”, на который затем обрушилась природная катастрофа. Название материка было Атладта.

По словам Фосетта, в своей экспедиции 1921 года он смог собрать новые свидетельства существования остатков древних городов, посетив район реки Гонгожи в бразильском штате Баия. В 1925 году Фосетт со спутниками не вернулся из поиска затерянных городов в верховьях реки Шингу, обстоятельства гибели экспедиции остались неизвестными».

Вот как — начитался теоретических и фантастических материалов, наслушался шарлатана, отправился и сгинул...

А что это, собственно, за рукопись... «Рукопись 512».

Щёлкаю на выделенное синим, появляется статья о ней.

«Рукопись 512 (Документ 512) — архивная рукопись, относящаяся к колониальному периоду истории Бразилии, в настоящее время хранится в запаснике Национальной библиотеки Рио-де-Жанейро».

Не устаю поражаться чуду интернета. Конечно, уже самому смешно, что всё ещё поражаюсь, хотя если вспомнить, что было двадцать лет назад...

Двадцать лет назад я учился в Литературном институте, и, чтоб написать курсовую, даже самый

несчастный доклад, нужно было обкладываться книгами. А теперь вот — щелчок за щелчком можно узнать обо всём на свете, постичь всю мудрость человечества. От курочки рябы до каких-нибудь квантов.

«Документ, — читаю дальше, — озаглавлен “Историческая реляция о неведомом и большом поселении, древнейшем, без жителей, кое было открыто в год 1753” и представляет собой повествование, оставленное неизвестной группой португальских бандейрантов (имя непосредственного автора — главы экспедиционного отряда (бандейры) — утрачено), рассказывающее об открытии бандейрантами в глубине бразильского сертана руин затерянного мёртвого города с признаками древней высокоразвитой цивилизации греко-римского типа. Также, содержится указание на находку золотых и серебряных месторождений.

Документ написан на португальском языке и имеет 10 страниц. Написан в форме экспедиционного отчёта; при этом, принимая во внимание характер взаимоотношений между автором и адресатом, его можно охарактеризовать также как личное письмо. Текст документа содержит существенные пропуски в результате порчи, которая, по-видимому, произошла из-за воздействия термитов на протяжении десятилетий, в течение которых Рукопись была затеряна в архиве (1754–1839 гг.).

Рукопись 512 — едва ли не самый знаменитый документ Национальной библиотеки Рио-де-Жанейро и с точки зрения современной бразильской историографии является “основой самого большого мифа национальной археологии”. В XIX–XX вв. затерянный город, описанный в Рукописи 512, был предметом горячих споров, а также неустанных поисков, которые предпринимали искатели приключений, учёные, исследователи.

Благодаря своему яркому и красочному стилю повествование Рукописи 512, по мнению некоторых, входит в число лучших литературных произведений на португальском языке».

— Любимый, тебе сколько пельменей? — кричит из кухни жена.

— Если большие — двенадцать, если маленькие — двадцать.

— Окей!

«Документ повествует, как отряд увидел горы, сверкающие многочисленными кристаллами, что вызвало изумление и восхищение людей. Однако сначала им не удалось обнаружить горный проход, и они стали лагерем у подножья горной цепи. Затем один негр, член отряда, погнав белого оленя, случайно обнаружил мощёную дорогу, проходившую сквозь горы. Взойдя на вершину, бандейранты увидели сверху большое поселение, которое с первого взгляда приняли за один из городов побережья Бразилии. Спустившись в долину, они направили разведчиков, чтобы узнать больше о поселении и его жителях, и ожидали их два дня; любопытной деталью является то, что в это время они слышали пение петухов, и это заставляло их думать, что город был обитаем. Между тем вернулись разведчики, с известием о том, что в городе не было людей. Поскольку остальные по-прежнему не были уверены в этом, один индеец вызвался отправиться на разведку в одиночку и вернулся с тем же сообщением, которое после третьей разведки было подтверждено уже всем разведывательным отрядом. Наконец, отряд в полном составе вступил в город, единственный вход в который проходил по замощённой дороге и был украшен тремя арками, главной и самой большой из которых была центральная, а две по бокам были меньшего размера. Как замечает автор, на главной арке были надпи-

си, которые было невозможно скопировать из-за большой высоты.

Дома в городе, каждый из которых имел второй этаж, были давно заброшены и не содержали внутри никаких предметов домашней утвари и мебели. Описание города в Рукописи соединяет признаки, свойственные различным цивилизациям древности, хотя присутствуют и детали, которым трудно отыскать аналогию. Так, автор замечает, что дома по своей регулярности и симметрии были так похожи между собой, словно принадлежали одному владельцу.

В тексте даётся описание различных объектов, увиденных бандейрантами. Так, описана площадь с чёрной колонной посередине, на вершине которой стояла статуя человека, указывающего рукой на север; портик главной улицы, на котором имелся барельеф с изображением полуобнажённого юноши, увенчанного лавровым венком; огромные здания по сторонам площади, одно из которых было похоже на дворец правителя, а другое, очевидно, было храмом, где частично сохранились фасад, нефы и рельефные изображения (в частности, крестов различных форм и корон). Рядом с площадью протекала широкая река, по другую сторону которой лежали пышно цветущие поля, между которыми было несколько озёр, полных дикорастущего риса, а также множество стай уток, на которых можно было охотиться голыми руками.

После трёхдневного путешествия вниз по реке бандейранты обнаружили ряд пещер и прорытых под землёй углублений, — вероятно, шахт, где были разбросаны куски руды, похожей на серебро. Вход в одну из пещер закрывала огромная каменная плита с надписью, выполненной неизвестными знаками или буквами.

На расстоянии пушечного выстрела от города отряд обнаружил здание наподобие загородного дома, в котором был один большой зал и пятнадцать маленьких комнат, соединённых с залом дверьми.

На берегах реки бандейранты отыскивали след золотых и серебряных месторождений. В этом месте отряд разделился, и часть людей совершила девятидневную вылазку. Этот отряд видел у залива реки лодку с какими-то неизвестными белыми людьми, "одетыми по-европейски"; очевидно, незнакомцы поспешно удалились после того, как кто-то из бандейрантов выстрелил, пытаясь привлечь их внимание. Однако по сохранившимся обрывкам фраз в этой части документа можно также предполагать, что эта часть отряда затем столкнулась с представителями каких-то местных племён, "косматыми и дикими".

Затем экспедиция в полном составе вернулась в верховья рек Парагуасу и Уна, где глава отряда составил отчёт, направив его некоему влиятельному лицу в Рио-де-Жанейро. Примечателен характер взаимоотношений между автором документа и адресатом (имя которого также неизвестно): автор намекает, что тайну развалин и рудников он открывает только ему, адресату, помня, сколь многим он ему обязан. Он также выражает свою обеспокоенность тем, что некий индеец уже покинул отряд, чтобы самостоятельно вернуться в затерянный город. Чтобы избежать огласки, автор предлагает адресату подкупить индейца.

Один из членов отряда (Жуан Антониу — единственное имя, сохранившееся в документе) нашёл среди развалин одного из домов в затерянном городе золотую монету, больше размером, чем бразильская монета в 6400 рейсов. На одной её стороне был изображён коленопреклонённый юноша, на другой — лук, корона и стрела. Это открытие убедило бандейрантов, что под развалинами погребены несметные сокровища».

Интересная логика. Находишь в старом сарае какой-нибудь екатерининский полтинник и перерачиваешь вверх дном всю усадьбу, уверенный, что

где-то здесь закопан сундук с монетами... Кстати, а ведь я лет в двенадцать сделал то же самое: гостил у бабушки и дедушки в Минусинске, обнаружил на их огороде монету царских времён и потом изрыл его вдоль и поперёк. Помню, выкапывал кусты картошки, проверял, есть ли что под ними, втыкал обратно. Несколько кустов погибло. Мне за это досталось.

А вот и про этого несчастного Фосетта...

«Перси Фосетт.

Наиболее известным и последовательным сторонником достоверности Рукописи 512 был знаменитый британский учёный и путешественник полковник Перси Гаррисон Фосетт (1867–1925?), для которого рукопись служила главным указанием на существование в неисследованных районах Бразилии остатков древнейших городов неизвестной цивилизации (по мнению Фосетта — Атлантиды).

“Главной целью” своих поисков Фосетт называл “Z” — некий таинственный, возможно, обитаемый город на территории Мату-Гросу».

Так, это я уже читал...

О, про него и фильм сняли — «Затерянный город Z» — 2016 год, должно быть зрелищно: теперь приключенческие фильмы не бывают скучными. Надо будет глянуть.

Копирую название фильма, вставляю в поисковик в «Яндексе», нажимаю «Видео». Да, есть. Отлично. Целиком, конечно, не буду. Впрочем, как пойдёт.

— Готово!

— А, да, иду, солнышко!

Всё, хватит. Закрываю все окна, плашечки, иконки. В том числе и «Видео» с фильмом. Голос жены отрезвил, вернул в реальность.

Поем и примусь за работу.

Перед тем как закрыть ноутбук, смотрю время. Половина десятого. Ё-о-о! Три часа на фигню... Три часа!.. И кофе не выпил. И даже курить не ходил ни разу. А когда пишу — бегаю каждые пятнадцать минут...

Да, позавтракаю — и за работу. За работу.

На кухне бубнит радио.

— Сергей Доренко умер, — сообщает жена.

— Да? — Я как-то и не удивляюсь.

— На мотоцикле ехал, и сердце остановилось.

Садимся за стол, поддвигаю к себе тарелку с мелкими пельмешками. Плюхаю на них сметану, сыплю перец.

— А чем он знаменит, что о нём повсюду?

— Ну, журналист... У него кличка была — Телекиллер.

— Из-за чего?

Жена намного моложе меня, поэтому девяностые помнит смутно, многого не знает.

— Мочил Примакова с Лужковым.

— Ну, Лужков же ещё тот гад...

— В чём-то гад, в чём-то не гад. — Я тоже помню далеко не всё — это было как в позапрошлой жизни, но рассказывать надо, не выставляя же себя перед женой бессмысленным быдлом. — А Евгений Примаков последней надеждой был, что у нас более-менее справедливое государство получится. Он, по сути, остановил панику после дефолта. Его тогда специально премьером сделали, чтоб Россия окончательно в яму не рухнула. И, когда опасность миновала, а Примаков стал героем, Березовский нанял Доренко, и тот стал долбить по Первому каналу: Лужков — вор, Примаков — больной и старый... Примакова,

кстати, в президенты двигали... В итоге президентом стал Путин, выгнал Доренко с телевидения за репортаж о «Курске». Ну, о погибшей подводной лодке.

— Как много ты знаешь! — восхищается жена, и меня обволакивает тёплая сладость.

Сдерживаюсь, чтоб не расплыться, печально вздыхаю:

— Да что тут знать — это время, когда я жил... Кстати, Навальный наверняка с Доренко пример берёт в своих роликах...

— Да? В чём?

— Ну, напор, ирония, демонстрация сенсационных документов. А может, и нет. Но сходство есть.

Прислушиваюсь к тому, что там говорят по радио. Оказывается, в финал Лиги Европы прошли и «Арсенал», и «Челси». Получается, в обоих кубках только английские клубы. Такого, кажется, ещё не бывало. Чтоб из одной страны.

— Спасибо, моя хозяйшкa. Такие вкусные пельмешки налепила. И так быстро.

Жена реагирует на мою шутку улыбкой.

Остатки кофе выливаю в раковину — пить его, остывший, не хочется, — делаю чёрный чай. Жене — зелёный.

— Какие планы на день? — спрашивает она.

Вчера весь день были грозы, сыпал град, поэтому сидели дома. А сегодня вон солнце, возвращается теплынь...

— Да я поработать хотел, — отвечаю, — много скопилось. Пописать...

— У меня тоже. Поэпизодник доделать, сценарий стоит.

Жена моя — драматург и сценарист. Известная. Заказы — тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить — сыплются один за другим. Благодаря им и купили эту квартиру.

Курим на лоджии. Жена недавно перешла на айкос, хвалит, пытается и меня увлечь. Покурил пару раз — не понравилось. Но попробую всё-таки — пора задуматься о здоровье.

— Ну что, кисонька, расходимся до обеда?

— Да, любимый.

Целуемся. Я закрываюсь в кабинете, жена — в спальне. У неё там тоже письменный стол.

Усаживаюсь, ставлю чашку с чаем на картонную подставку, открываю ноутбук. И тут же морщусь: зачем открыл? Надо было браться за тетради, блокноты. Там, в них, главная работа.

Но пальцы уже включили интернет, нашли «Спортбукс», и я читаю о выходе «Арсенала» и «Челси» в финал Лиги Европы.

«В полуфинале “Арсенал” обыграл испанскую “Валенсию”. В первом матче команда Унаи Эмери на своём поле одержала победу со счётом 3:1. В ответной игре лондонцы в гостях победили со счётом 4:2.

“Челси” в полуфинале прошёл немецкий “Айнтрахт”. В первой встрече лондонцы в гостях сыграли вничью со счётом 1:1. В ответной встрече команда Маурицио Сарри на своём поле одержала победу в серии пенальти.

Матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов также сыграют две английские команды — “Ливерпуль” и “Тоттенхэм”. Игра состоится в Мадриде 1 июня».

Сборная Англии тысячу лет не добивается больших побед, зато вот клубы ставят рекорды... Кто у них там забивает во внутреннем чемпионате?

«Салах Мохамед – 22 (3)». Это египтянин, помню, как мы его боялись на нашем домашнем чемпионате.

«Мане Саджо – 20». По фамилии явно не англичанин, да и внешне. Судя по фотке – чистокровный негр.

«Агуэро Серхио – 20 (2)». Аргентинец.

«Обамеянг – 20 (4)». Тоже стопроцентно не англичанин.

Пятым идёт «Варди Джейми – 18 (4)». Не хочу уточнять, кто он, но хочется верить, что с Британских островов. Играл в «Лестере», а «Лестер» у нас где? На девятом месте.

Просматриваю турнирную таблицу английского чемпионата.

«Ман Сити» с девяносто пятью очками на первом месте. За ним – «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал». «Манчестер Юнайтед» только пятый, и, кажется, давненько у него дела не клеятся.

Помню... Какой это был год, когда он вырвал Лигу чемпионов у «Баварии». Вот это был матч... Сейчас.

Набираю в «Видео» «Финал Лиги чемпионов Манчестер Бавария». «Яндекс» с ходу выдаёт столбец роликов. Нажимаю на верхний.

Что? Девяносто девятый год? Это ж, это – двадцать лет назад! Может, не то?

Нет, он, тот самый финал. Обалде-еть... Что-то действительно как в позапрошлой жизни было, а что-то пусть не вчера, но... Я думал, год две тысячи

четвёртый, шестой... Двадцать лет назад!.. Тот же гимн Лиги чемпионов, что и теперь...

Янкера сбивают на пятой минуте рядом со штрафной, и Баслер забивает. Вратарь «Манчестера» даже не шелохнулся.

Янкер... Где теперь этот Янкер, наголо бритый нападающий «Баварии»? Помню его прозвище — Отбойный молоток.

Смотрю в «Википедии»: тренировал «Рapid», а теперь какой-то «Хорн» из низших лиг Австрии... Моложе меня, кстати, семьдесят четвёртого года.

Кто там ещё был на поле? Бэкхем, конечно... Тоже моложе меня. Вообще — семьдесят пятого. А не играет тыщу лет. Вообще сгубил карьеру отъездом в США в расцвете лет. Да и в «Реал» зря ушёл — там вся команда тогда из звёзд состояла. Он затерялся и покатился по наклонной.

Райан Гиггз, Энди Коул, Гари Нэвилл, Ники Батт, Петер Шмейхель, Шерингем, Сульшер... Какие имена! Это в «Манчестере». А в «Баварии»: Оливер Кан, конечно, Лотар Маттеус. Это вообще персонаж из моего детства — кажется, как себя помню, так слышал его имя. Из ребёнка я превратился во взрослого человека, отслужил в армии, у меня родился ребёнок, а он всё выступал... Конец его карьеры, правда, оказался плачевным: на чемпионате Европы двухтысячного... Да, теперь постепенно хронология выстраивается: сначала был этот финал, а потом последний для Маттеуса крупный международный турнир... На том чемпионате Европы сборная Германии провалилась и развалилась, многие футболисты отказывались выходить на последний матч, который уже ничего не решал. А Маттеус хоть и держался внешне молодцом, выглядел на поле клоуном.

В сорок лет трудно сохранять форму. Не только в спорте.

Снова включаю видео того матча. Не целиком — десятиминутный обзор.

Непрерывный шум трибун, откуда-то из его глубины голос комментатора. То ли Маслаченко, то ли Перетурина.

«Манчестер», в красном, ничего не может сделать, атаки разбиваются, как волны о бетонную стену. А «Бавария», в сером, давит и давит, жалит атаками. Штанга. Янкер с линии вратарской через себя — в перекладину. Под конец матча меняют Маттеуса, чтоб болельщики «Баварии» проводили его аплодисментами.

Три добавленные минуты. Бекхэм подаёт угловой. Мяч мечется по штрафной, немцы выбивают, но кто-то из англичан слабым ударом посылает его в сторону ворот, а Шерингем по-хоккейному подправляет его. Оливер Кан поднимает руку, судья, знаменитый Пьерлуиджи Коллина, не фиксирует офсайд. Ничья. Впереди дополнительное время.

Но есть ещё около двух минут.

Опять угловой у ворот «Баварии». Тот же Бекхэм так же устанавливает мяч, так же разбегается и так же бьёт. Шерингем головой направляет мяч в угол ворот. Мяч летит вяло, и кажется, что стоящий на линии ворот защитник немцев выбьет его. Или вообще он пролетит мимо. Но тут появляется Сульшер, подставляет ногу, мяч меняет направление. «Манчестер» выходит вперёд.

Растерянное лицо старого футбольного солдата Маттеуса. Финальный свисток. Англичане ликуют; Маттеус, сидя на скамейке запасных, снимает бутсы...

Да, великий матч.

А что там было вчера?

Возвращаюсь на «Спортбокс».

«Валенсия» — «Арсенал». Два — четыре. Судя по ролику, неплохой матч. Но, в общем-то, без чудес. Как и второй полуфинал: «Челси» — «Айнтрахт». В итоге «Арсенал» и «Челси» схлестнутся в финале Лиги Европы... Кстати, вратарь «Арсенала» Петр Чех ведь много лет играл за «Челси». Под старость лет его продали в менее богатый клуб «Арсенал». Теперь он встретится с бывшими товарищами не только в чемпионате Англии. Интересный сюжет. Надо будет посмотреть. Болеть буду за «Арсенал»...

А что с нашим чемпионатиком?

Красноярский «Енисей» практически вылетел, а питерский «Зенит» — чемпион, это понятно. А вот за еврокубки борьба серьёзная. К завсегдатаям — «Локо», ЦСКА, «Спартак», да и «Краснодару» уже — добавился тульский «Арсенал». На шестом месте идёт, от ЦСКА отстаёт на три очка, а от «Спартака» — на одно. И это за три — да, за три тура до окончания. Тут каждая осечка может стать роковой...

Давай, тёзка английского «Арсенала», вперёд!.. Всегда приятно, когда команда из небольшого города вырывается на международный уровень.

А сколько, кстати, живёт в Туле?

Щёлк, щёлк...

Да не такой уж маленький город — четыреста семьдесят три тысячи. Хотя... Офигеть как быстро убывает численность: в том году ещё было четыреста восемьдесят пять, а десять лет назад — пятьсот.

Да, эти города недалеко от Москвы съеживают-ся. Екат, например, пополняется жителями окружающих городков, а Москва — Тулой, Смоленском, Калу-

гой... Хотя из Еката в последние года два тоже многие знакомые в Москву уехали. Тут зарплаты — двадцать-тридцать тысяч.

Может, на заводах повыше, конечно, но у тех, с кем общаюсь, — актёры, библиотекари, преподаватели, фотографы — именно двадцать-тридцать...

Я, когда из Москвы сюда переехал, подофигел, что цены-то на продукты выше. Сравнить «Пятёрочку» там и здесь — выше. Один поход в магазин — и самое малое полутора тысяч нет. Вдвоём с женой живём, такие походы совершаем раз примерно в четыре дня... Разделить тридцать дней на четыре: семь с половиной. Ну, берём — семь походов. Умножаем на полторы тысячи. Десять пятьсот. Правильно? Только на самые необходимые продукты. Ещё хочется овощей и фруктов настоящих, из палатки. Или как это здесь называют? Киоск? Ларёк?..

Короче, один подход к этому сооружению — и пятихатки нет.

А ведь и коммуналка, и носки-трусы, и хоть иногда в кафешке посидеть...

В последнее время я стал вести учёт поступающих денег. Оттуда-отсюда, но в течение месяца стекается от шестидесяти до девяноста тысяч. И где они? Распыляются незаметно... Жена откладывает свои доходы на строительство загородного дома, хотя тоже тратит предостаточно: крема, маникюры, обнови, заказ такси с оплатой по карте, ещё там разное — это на ней. Тоже с полтос в месяц выходит.

Не шикую. Впрочем, и не покупаем на месяц десять кило картошки, по десять пакетов макарон, гречки и риса и не сидим на них месяц, сдабривая кетчупом и солёной капустой. Как немалая часть.

А с другой стороны, у всех айфоны, у многих охрнительные тачилы, десять дней на Мальдивах уже не считается олигарховостью...

Так, об этом можно рассуждать бесконечно. Смотрю, что там с чемпионатом, — и приступаю. Иначе опять день будет убит.

Наш «Урал» на одиннадцатом месте. При самом-самом лучшем раскладе выше седьмого не поднимется, при худшем может свалиться в стыковые матчи и, проиграв их, вылететь в первую лигу. Как и «Динамо», кстати.

Товарищ мой, литератор Дима Данилов, болельщик «Динамо», наверняка снова в унынии... Он давно в унынии. В смысле, как болельщик — в литературе у него, наоборот, дела идут отлично и пьесы ставят повсюду, наверняка проценты идут хорошие.

Но как болельщику ему не позавидуешь: «Динамо» влачит убогое существование в футбольном мире.

Года три назад Дима попытался помочь своей команде, написав книгу, действие которой умещалось в календаре чемпионата России. С первого тура до тридцатого.

Дима и не скрывал, что последовал примеру Стивена Кинга. Кинг болеет за какую-то бейсбольную команду, которая долгое время не могла что-то там выиграть. И вот он написал о сезоне этой команды, практически хронику, и в последний момент команда вырвалась вперёд и победила.

У Димы получилось наоборот: «Динамо» в итоге выбыло из премьер-лиги. Такая вот горькая ирония...

Кстати, в нашем деле это часто бывает: напишешь о чём-то хорошем, и начнётся обвал, вплоть

до того, что лампочки взрываются, или решишь излить душу в повести, как всё плохо, и жизнь вдруг налаживается, а бывает, и вообще такой капец наступает — реально тянет выпрыгнуть из окна.

Не знаешь, чего и ждать. Лучше, кажется, не писать вовсе, а тянет... Вот и сейчас меня тянет к моим потрёпанным, захватанным тетрадям и блокнотам, и в то же время я упираюсь, брожу в интернете.

А минуты капают, капают, как вода из неисправного крана. И исчезают в вонючей трубе ушедшего времени-канализации.

...Сочувствую «Енисею». Земляки ведь почти что.

Математически он ещё сохраняет шансы остаться в премьере, но скорее всего вылетит. Девяносто девять процентов.

Под конец сезона встрепенулся, даже выиграл у кого-то, несколько ничьих заработал, но — поздно. Красноярск вновь без большого футбола.

Сибирь с Дальним Востоком жалко в этом плане. В советское время вообще было глухо — восточнее Урала ни одной команды ни в футболе, ни в хоккее. С шайбой, имею в виду. С мячом-то, конечно, и «Енисей» (футбольная команда раньше «Металлург» называлась, а потом и её «Енисеем» зачем-то сделали), и СКА-Хабаровск, и абаканские «Саяны», и в Иркутске какая-то команда неплохая...

Но его надо на стадионе смотреть, живую. Я ходил несколько раз, когда жил в Абакане, — классно. По телику же тоска полночая. Поэтому он, конечно, не конкурент футболу с канадским хоккеем.

О, «Динамо» с «Ростовом» уже скоро играют. Так, если «Динамо» проигрывает, то наверняка опускается в зону стыков, а если «Ростов» выигрывает —

приближается к «Арсеналу» и вполне ещё может побороться за еврокубки.

«Ростов» — симпатичная команда. Как она в позапрошлом — или в каком там году, но недавно, в любом случае — серебро отхватила. Никто не верил, а они лезли, лезли и залезли на второе место. А «Динамо» как раз тогда из премьер-лиги вылетело. Да, это я точно помню — мы как раз на матч «Динамо» — «Ростов» с Димой Даниловым ездили. В Раменское. И «Динамо» проиграло. Первым забило, а потом два мяча пропустило... Тоже весна была, и многое в том матче решалось... Дима расстроился. Водки купили и поехали ко мне — я тогда ещё в Москве жил...

Так, ладно, не надо об этом... Об этом я повесть пишу. О том, как у меня кончилась прежняя жизнь. Начал в декабре позапрошлого года, быстро написал в тетради почти шестьдесят страниц, потом навалились другие дела — халтура разная, подработки, — и продолжить оказалось сложно. Набрал написанное в компе, добавил ещё несколько страниц и снова остановился.

Успокаиваю себя тем, что много другого надо писать, читать, но... Наверняка просто больно. Раньше я умел боль переносить на бумагу — хорошо или плохо это получалось, не мне судить, — и она проходила. Переходила туда, в текст. А теперь не очень-то получается. Сидит внутри, как слишком глубоко вошедшая заноза, гниёт потихоньку, отравляет мясо вокруг, а кожа сверху уже срослась, загрубела. Даже не больно, если не касаться...

Всё, хорош, перекуриваю и принимаюсь. Есть другие начатые вещи. Про студента-платника, который вместе с родителями зарабатывает на учёбу

сбором ягод в тайге; про одного моего знакомого, бывшего прозаика, ставшего блогером-оппозиционером; про музыканта, которого после аварии выходила поклонница, а он от неё ушёл... Пересказывать фабулы, конечно, смешное занятие, но мне каждая представляется драгоценной. Я уверен, что получатся настоящие вещи. Надо только написать.

Иду на лоджию, быстро высасываю сигарету. С жадностью, удивляющей меня самого. Словно сутки не курил.

Тыкаю фильтр в пепельницу раз, другой, третий. Не дымит, хорошо...

Усаживаюсь за стол. Беру верхнюю тетрадь. Общая, сорок восемь листов, в клетку... Я привык писать в тетрадах. Говорят, что это признак графомании, — на худой конец прозаик должен использовать писчую бумагу, а лучше сразу работать в компе, ведь в нём столько опций, — я же часто подчёркиваю в интервью: сначала в тетради.

А может, из-за этого у меня затык — из-за тетрадей? Может, сама природа, какие-то токи, флюиды прекратились, и писание от руки теперь стало невозможным.

Бред, с одной стороны, а с другой... Я так-то к мистике отношусь саркастически, но что касается писательства... Вот не нужно стало природе или высшему разуму, чтоб человечество писало пьесы в стихах, и этот жанр исчез. Пробуют некоторые — выходит дерьмо. А ведь, кажется, так органично... Ладно, Шекспира и прочих зарубежных оставим в покое, но «Борис Годунов», «Маскарад»... Что там ещё?.. Островский в стихах тоже писал, кажется... «Снегурочка» в стихах?.. Решаю проверить.

На экране появляются новости «Яндекса». На кой чёрт они нужны — только отвлекают!

«Виторган призвал отказаться от празднования 9 Мая. Сооснователь “Фейсбука” призвал США разрушить монополию соцсети».

До сооснователя мне дела мало, а вот Виторган интересен. Надеюсь, Максим, а не папа... Максима ведь Ксюша бросила, вполне мог на этой почве крезануться или просто пьяный набуровил.

Смотрю новость.

«Актёр Максим Виторган призвал отказаться от праздничных гуляний и мероприятий по случаю Дня Победы, поскольку нынешнему поколению отмечать “уже нечего”, считает муж телеведущей Ксении Собчак. Артист уверен, что это не означает “игнорирование, замалчивание или забвение” подвигов наших предков. Соответствующий пост он разместил на своей странице в инстаграме.

“Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего”, — выразил своё мнение актёр. Он добавил, что 9 Мая — это “день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить” участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). “Наша обязанность — знать правду о них — самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность — не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины”, — отметил Виторган, выразив надежду на то, что “когда-нибудь” люди “повзрослеют” и “память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчи-

ками". Свой пост он сопровождал картинкой с изображением красного мака, который на Западе является символом победы над нацистами. Картинка подписана "Больше никогда". Рядом с ней даты — 1939 и 1945 — начало и конец Второй мировой войны.

Пост подхватили различные СМИ, и актёра не устроило, что многие из них выносили в заголовок фразу "нам праздновать нечего", которая, по словам Виторгана, вырвана из контекста.

"Это, конечно, сделано ради хлёсткого заголовка. Это мерзость. Делают они это сознательно. Да и х... с ними. Но я немного о другом", — написал в следующем своём посте Максим Виторган. Он отметил, что эта фраза касается "нас сегодняшних (после-послевоенных)".

Помимо этого, актёр сказал, что ему нравится акция "Бесмертный полк" и не нравится парад, не нравятся все разновидности "можем повторить", готовность "прикладывать" День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам.

"Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму. Не нравится, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съёмок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня", — подчеркнул Виторган. В заключение он пояснил, что предлагаемый им "День тишины" не имеет отношения "к игнорированию, замалчиванию или забвению".

"Это скорее ближе, например, к израильскому..."

Интересно, кто букровку «и» пропустил — сам автор или журналисты?

«...дню жертв холокоста. Когда вся страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Оста-

навливаются и вспоминают, и думают”, — добавил актёр в своём посте в инстаграме.

У актёра уже появились оппоненты. Так, телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с изданием “Инфореактор” осудил Виторгана за навязывание своего мнения окружающим.

“Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю”, — задался вопросом журналист.

При этом Соловьёва не удивило заявление Виторгана. “Как это часто бывает, либералов у нас перед 9 Мая начинает крутить, им всё как-то не так. Ну, покрутит-покрутит и успокоится”, — выразил он своё мнение в разговоре с изданием.

Ещё одним противником воззрений Виторгана оказался гендиректор концерна “Мосфильм”, кинорежиссёр Карен Шахназаров.

Предложение не отмечать День Победы он назвал экзотическим. “Для меня этот праздник останется и, надеюсь, для моих детей тоже. Мой отец воевал, прошёл всю войну. Да, он победил и передал мне по наследству трепетное отношение ко Дню Победы, а я его передал своим детям”, — отметил деятель кино в разговоре с ФАН.

Предложение убрать из календаря День Победы вызвало беспокойство у кинорежиссёра. “Но если нет Дня Победы, значит — нет истории, нет нашего общего прошлого. Нет прошлого — нет настоящего и будущего. Из этого всё складывается”, — заключил Шахназаров. По его мнению, к Виторгану навряд ли присоединятся многие россияне.

Певец Лев Лещенко выразил достаточно сдержанную позицию. Он отметил, что каждый волен делать то, что ему хочется. И если актеру нужен “День тишины”, он может сам его себе устроить. “Как мы можем ограничивать людей в эмоциях? Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни, хотя у них осталось всего ничего”, — размышляет Лев Лещенко в комментарии изданию Nation News.

“У них (людей. — *Примеч.*) есть определённые стандарты жизни и эмоций, регулировать это невозможно. Как люди хотят справлять, так пусть и справляют. Для кого-то важна торжественная часть, для кого-то просто важно порадоваться, что ты живёшь на этом свете”, — отметил исполнитель в ответ на заявление Виторгана».

Как легко в очередной раз светануться. Я не про Виторгана сейчас. Его позицию опасаясь разделить даже мысленно, хотя между «не праздновать» и «не отмечать» — большая разница. Огромная... Я про тех более-менее известных, что сидят в соцсетях и отслеживают, кто что написал. И тут же вступают в полемику у себя на страницах. А по страницам бродят журналюги и выхватывают, тащат в СМИ. Или, в крайнем случае, звонят и просят прокомментировать. Я, когда был в относительной моде, иногда давал по два-три комментария в день по любому событию; правда, часто отказывался. Может, поэтому мне и перестали звонить...

Да, чья-нибудь реплика в «Фейсбуке», «Твиттере» или ещё где, а следом — ответки. Всё это загружается в СМИ, вот тебе и — как это теперь называется? — хайп?

И все довольны. Максимку вряд ли начнут игнорировать режиссёры, Соловьёву, Шахназарову, Лещенке — плюсики к рейтингу узнаваемости, журналам — копеечки в карман. Знаю-знаю, сам таким некоторое время был...

Хм, а вот это вообще отлично — плашечка в новостях: «Рекомендуем. В Москве скончался Сергей Доренко».

Что они «рекомендуют», идиоты? Смерть?.. Даже открывать не буду.

Открою вот это: «Анна Делви отправится на нары».

«Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку подмосковного Домодедова и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырём годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов. Женщина выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать ужины для друзей. Об этом сообщает “Русская служба Би-би-си”.

Осуждённой предстоит провести в тюрьме четыре года, после чего оставшийся восьмилетний срок могут изменить на условный.

28-летней женщине, в последние годы известной как Анна Делви, вменяли использование поддельных документов и выманивание денег у отелей, финансовых учреждений и знакомых. Она убеждала потерпевших, что владеет состоянием в 60 миллионов евро. Прокуроры утверждали, что Сорокина совершила эти преступления за 10 месяцев, с ноября 2016 по август 2017 года.

В конце апреля Сорокину признали виновной в мошенничестве. Перед оглашением приговора женщина попросила прощения».

Что ж, неплохо пожила тёлочка, но за всё надо платить. Я бы свалил — затягивать здесь нельзя. Поел вкусно, денег настрелял — и айда. И вспоминать потом об этих месяцах в родном Домодедове как о сказочном сне. И тратить потихоньку выведенные доллары.

Оп-па, а вот новость так новость: сегодня чемпионат мира стартует. По хоккею. Не зря о нём вспоминал.

Что-то поздно. В шестидесятые, читал, зимой проводился, потом — когда я был подростком — в марте, в девяностые — с конца апреля до начала мая, а теперь вот десятого мая — первые матчи. Скоро, в угоду НХЛ, вообще на лето перейдём. Когда у них там Кубок Стэнли кончается?

Так, так... В этом году на двенадцатое июня запланирован последний матч финала. Ну вот. К этому потихоньку и движемся — к хоккею как к летнему виду спорта.

А что это за команды вообще в плей-офф? «Сан-Хосе», «Колорадо», «Сент-Луис», «Коламбус» какой-то, «Вегас Голден Найтс». Господи! Где «Монреаль Канадиенс», «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия», «Эдмонтон Ойлерз»? Нах-нах такой Кубок Стэнли, да и НХЛ целиком...

Чемпионат... Болеть буду, с вашего позволения, начиная с четвертьфинала. Надеюсь, двухтысячный не повторится... Худший, кажется, чемпионат для нас. По крайней мере в историческое время. Уже точно самый позорный.

Проходил он в Питере, и я там как раз оказался. На стадионы не ходил, смотрел по телику, но токи-то чувствовал. Питер вообще болельщицкий город. И вдруг такое. Павел Буре, Яшин, Афиногенов, Су-

шинский... Американцам, помню, проиграли, швейцарцам, белорусам, ещё кому-то... Катались красиво, но не забивали. Кто-то из комментаторов сказал: «Балет на льду». Правильно.

Некоторые утверждают, что спортсменов нельзя критиковать. Типа: они выкладываются в меру возможностей, или: а вы попробуйте, сами на диване жопу разъели, пиво сосёте и поносите тех, кому в подмётки не годитесь. Я не согласен. Если вышел на футбольное поле, беговую дорожку, хоккейную площадку, лыжню, будь готов, что в случае проигрыша, тем более бесславного, тебя обложат. А если победишь — будут носить на руках... Часто кумир в один миг превращается в ничтожество.

Ну, у спортсменов и писателей есть общее. Удачная книга может принести автору славу, а следующая, которую признают провалом, ввергает его в легион неудачников. Самому-то сложно понять, гениальная это книга или графомания. Ставишь планку на шесть метров, а прыгаешь на четыре. И все вокруг хохочут и тычут пальцем.

Чем старше становишься, тем труднее писать. Страшно даже. Есть наработанные приёмы, штампы, которые когда-то были свежим, новым словом. Волей-неволей повторяешься в персонажах, сюжетных ходах, языке.

По сути, все начатые мной вещи так или иначе повторяют или продолжают предыдущие. С одной стороны, так и должно быть — каждый литератор приходит со своей темой, своей миссией; одинаково сильно писать и о современности, и о далёком прошлом или будущем, быть реалистом и фантастом, модернистом, авангардистом невозможно. Не-

которые пытаются, но это ремесленники, а не искренние художники.

Я часто повторяю: «в прошлой жизни», «в позапрошлой», — но на самом-то деле жизнь одна, и я тот же самый, что был десять, тридцать лет назад. И пишу, по сути, одну и ту же книгу. Уверен, что честную и искреннюю. Но больно, когда критик, которого уважаю, некогда восторженно удивлявшийся моим вещам, потом советовавший включить некоторые в школьную программу, затем начинает выражать опасение, что если буду продолжать в том же духе, то стану тупиковой ветвью литературного процесса, предлагает написать неожиданное, а в итоге перестаёт отзываться на новые книги.

Ну да, ему попросту не о чем стало говорить в рецензиях. Не копировать же и ему себя самого...

Ох, всё, всё. Голова очугунела. Нельзя анализировать своё. Чужое — пожалуйста, а своё — нет. Так можно вообще перестать писать, если задумаешься всерьёз: что, как, зачем ты пишешь. Ёжик из анекдота умер не потому, что забыл, как дышать, а потому, что стал наблюдать за дыханием. Захлебнулся воздухом и умер...

Иду курить. Покурил — захотелось в туалет. Завернул в кабинет, подхватил со стола айфон. Без просмотра ленты «Фейсбука» как-то уже и не представляю сидение на унитазах. Кажется, ничего не получится. Мало того, накатывает тревога и муторное чувство впустую проживаемых минут.

Вожу большим пальцем по экрану, посты сменяют один другой. Тексты, фотки, рисунки. Что-то отмечаю символом «нравится», что-то — «ух ты!», иногда «сочувствую», изредка «возмутительно», случается «супер».

Конечно, просматриваю, что там кто пишет. Просто так френдов не лайкаю.

Фотка рекламы «напитков из Черноголовки»: «Пей! Не беси природу!» Ставлю «нравится».

«Планы на май-июнь 2019 год. Опять замахиваюсь на многое, рассчитываю сделать процентов 30. Но и их не сделаешь, если задачи заранее не обозначишь». *«Нравится».*

«На литературу не прожить. Решил открыть веганский общественный туалет на Невском. UPD: Спасибо, друзья! По результатам дискуссий, проект трансформируется в федеральную сеть веганских уборных “Зелёный великан”. Ищу компаньона и инвестора». *Это явно саркастический пост. «Ух ты!»*

«В этот день 28 лет назад погибла Янка Дягилева. Вечная память». *«Сочувствую».*

«В журнале “Традиция и Авангард” вышел мой очерк о селе Кривель и окрестностях, попытка разобраться с пространством, где я живу последние годы». *«Супер».*

«Не успел написать про то, что наше празднование 9 Мая одна из немногих оригинальных черт России сегодня, как выступил М. Виторган с алым маком — мол, надо именно так, без георгиевских лент. Для таких виторганов самое страшное — это самостоятельность, неповторимость». *Так, здесь воздержусь от реакции.*

Под постом комментариев: *«На лесоповал!»*

*«Такого президента вы никогда не увидите».* И ниже — ролик. Задерживаюсь, и он оживает. Но без звука.

Мордатые парни в вышиванках и шароварах начинают срывать одежду, сдирают усы и остаются в каких-то мазохистских топиках, в сапогах на высоченных каблуках. Танцуют, дёргая туловищами,

вихляя бёдрами. Один, невысокий, чернявый, кого-то напоминает. Рома Зверь?

Включаю звук. Сначала не могу понять слов. Что-то по-украински.

— Сало, цибуля, хринь, сивуха...

О, да это ж Зеленский, которого на днях избрали президентом Украины. Или сделали. Компромат, что ли?..

Останавливаю ролик, делаю запрос в «Яндексе»: «Клип с Зеленским». Читаю в первой же ссылке:

«В июле 2014 года, когда на Донбассе решалась судьба Украины, когда в кровопролитных боях с российскими боевиками и предателями Украины гибли наши военные и бойцы украинских добробатов, студия “Квартал 95” размещала в Сети клипы, высмеивающие украинцев».

Так, ладно, ясно. Пускай дубасят друг друга клипами и прочим... Возвращаюсь в ленту.

«Мой смартфонный Т9 сошёл с ума, но это даже весело. Например, сегодня он настойчиво исправляет невинное местоимение “ты” на таинственный глагол “тыркуем”. Но глагол хороший, мелодичный... Посидим рядом, потыркуем ладком, как говорится...» *«Сочувствую»*.

«Писатель Елена Чижова — из семьи блокадников, экономист, переводчик. И вот она даёт интервью швейцарской газете и говорит, что Сталин и Гитлер погубили Ленинград “в четыре руки”, что Сталин ненавидел Ленинград. Сталин ненавидел Ленинград — неужели? А зачем финскую кампанию затеял? Не для того, чтоб отодвинуть границу от Ленинграда? Спорить не хочется — истории есть, они скажут».

И дальше, вопреки заявленному желанию автора не спорить, длиннющий текст про то, как необходим был Ленинград советскому государству.

Того, кто написал этот пост, я знаю. Хороший писатель, мой товарищ. Елену Чижову тоже знаю: десять лет назад ей дали премию «Русский Букер». В финале была и моя книга, многие и до и после церемонии говорили, что моя — явный фаворит, больше всех достойна. После вручения я подрался с одним литературным журналистом; пошёл слух, что так я выразил обиду и досаду. Да нет, напился просто, и этот литжурналист, по-моему, был достоин отхватить. Отхватил в тот раз, а года через три, тоже на вручении «Русского Букера», он меня побил. В тот раз он был пьянее... В писательских драках кто пьянее, тот и побеждает.

«Русский Букер» прекратил существование. А был самой престижной премией. Лауреатом я так и не стал, хотя выходил в финал три раза. Зато много других премий получил... Может, мотивации теперь нет хвататься за ручку и строчить новое... В рассуждениях о соревнованиях часто возникает слово «мотивация» — есть мотивация у того или иного спортсмена, команды или нет. К писателям это тоже, наверное, применимо. Вроде хочешь написать, а вот толчка, порыва, настоящего смысла — нет.

Что такое мотивация?

— Сири, алло!

— И вам здравствуйте, — вежливый и слегка насмешливый голос из айфона.

— Не умничай. Что такое мотивация?

— Вот что мне удалось найти. — И на экране появляется текст:

«Мотивация — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности».

Ясно... Выключаю айфон, никак не отметив пост про Чижову и её интервью. Оправдываю себя тем, что и пост я целиком не прочитал, и интервью тем более.

Выхожу из туалета. А из спальни выходит жена.

— Привет! — говорю с искренней радостью; ощущение, что не виделись давным-давно.

— Привет, любимый. С кем ты там разговаривал?

— А?.. А, с Сири. Спрашивал, что такое мотивация.

— И что же?

— Так...

Обнимаемся. Я вдруг ощущаю, что проголодался. Нет, не то чтобы проголодался, а... Живот вроде полон, а мозг говорит: надо поесть.

— Может, пообедаем? — спрашиваю.

— Можно... А что?

— Не знаю. Давай посмотрим.

Идем на кухню, открываем холодильник.

Сметана, помидоры, банка сайры, кусок черкашинской ветчины, хлеб — хлеба едим мало и, чтобы не плесневел, кладём сюда, — кетчуп, соусы, яйца, сыр, сливочное масло в маслёнке...

Закрываем холодильник, открываем морозильник.

Два пакета замороженных овощных смесей, пельмени, вареники с картошкой и грибами, замороженные куриные грудки...

— Слушай, а давай закажем? — предлагает жена. — И не возиться...

Ещё недавно еда на дом стоила прилично, а теперь ну не копейки, конечно, но по-божески. Если посчитать, то самому приготовить ненамного дешевле. А прибавить электричество, воду на мытьё посуды, то, может, то на то и выйдет.

Доставок развелось — куча. Ну, не куча, но этих, с ранцами «Яндекс.Еда» и с зелёными... забыл название... бывает, на каждом шагу встречаешь, на великах гоняют, на роликах, сегвеях... Так что у них там конкуренция, а когда конкуренция здоровая — цены падают.

— Я не против, — отвечаю жене. — И время сэкономим. Как, кстати, поработала?

— Относительно... А ты?

— Ну, тоже.

Она кивает, а сама уже вся в айфоне — выбирает, где заказать обед. И что заказать.

— Супчик будешь?

— Не мешало бы.

— «Том Ям» пойдёт? С морепродуктами.

— Это острый?

— Ну так, да...

— Нет, мне что-нибудь традиционное.

— Борщ есть.

— М-м, — чувствую, что кривлюсь, тут же делаю лицо снова приятным: мы с женой стараемся не выражать негатив в общении друг с другом, — чужой борщ как-то неприятно. А гороховый глянь.

— И гороховый есть. С копчёностями.

— Отлично!

— А на второе?

— Ну, пару котлет говяжьих. И пюре. У них пюре обычно вкусное, машинное.

— Хорошо-о... — Жена постукивает по экранчику айфона. — А я возьму лапшу удон с цыплёнком и шампиньонами.

— А потом будешь жаловаться, что желудок болит.

— Что ж делать, люблю я азиатскую кухню... Может, ещё роллов?

— Как хочешь.

— Но ты съешь парочку?

— Съем.

— Каких?

— Без разницы.

— С угрём тогда и... и «Филадельфию Грин». Всё, оплачиваю?

— Угу. — Я устал от этого процесса.

— Доставят через тридцать две минуты.

— Отлично... Поработаем тогда ещё?

— Давай.

Обнимаемся, целуемся, расходимся.

Ноутбук чернеет экраном. Решительно закрываю и отодвигаю в сторону. Беру тетрадь. Что это? Повесть «Золотые долины». Начал её четырнадцать лет назад. Вот даже дата стоит перед названием: «Начато 14 апреля 2005 года». А ниже: «Окончено...»

Я всегда так делаю. Это стимулирует скорее закончить.

Да, начал тогда, написал страниц пять, и застопорилось. Позже время от времени возвращался.

Но двигалось другое. Как мне теперь кажется, двигалось с бешеной скоростью. Много писал, быстро. Когда успевал?

Много лет я жил в суровом темпе. Подъём в шесть утра, быстро умыться и прочее, кофе, стол. До без пяти семь писать. Потом разбудить дочек (сначала лишь старшую, потом, когда у младшей наступил детсадовский возраст, и младшую), ещё пописать минут пятнадцать, пока они собираются. Завтрак. Выход на улицу. Сотня метров — и метро. Если успеваешь до половины восьмого — садишься в поезд без особых проблем, а на пять-десять минут позже — кранты.

Где-то в «Ютубе» есть ролик про японское, кажется, метро в час пик. Как специальные люди в перчатках утрамбовывают людей в вагоны. Ну вот то же самое каждое буднее утро происходило у нас на «Коломенской». Только людей специальных не было, и вагоны брали штурмом, без всякой дисциплины и вежливости.

Ежедневные пассажиры ещё нормально, они привыкли, могли пропустить с ребёнком, не обижались тычкам, толканию, а вот когда на улице выпал сильный снег или случался ещё какой катаклизм и в метро спускались автомобилисты... Они лезли нагло, при этом огрызались, если на них давили, детей не замечали.

Многие критики утверждают, что писать о метро — давно моветон. Я так не считаю. Метро в моих вещах появлялось часто: двадцать лет в Москве оно было важной составляющей моей жизни...

Так вот. Берём удачный вариант, когда дочери не капризничают и мы без труда оказываемся в поезде.

Едем. И школа, и садик находятся возле станции «Маяковская». Почти центр. Но от нашей «Коломенской» без пересадок путь занимает минут пятнадцать-двадцать. И там ещё пешком минут семь.

Конечно, временами детей возила ныне бывшая жена, но в основном — я. Бывшая жена предпочитала забирать.

Когда подросла старшая, она отказывалась брать с собой младшую. До ссор доходило, но не слушалась, находила разные причины: «я пешком от “Театральной” пойду...», «я с девчонками встречаюсь на “Пушкинской”...», «сегодня ко второму уроку...». Короче, так или иначе мне приходилось в начале восьмого выходить на улицу. Когда пять раз в неделю, когда три-четыре, но в общем чаще, чем продолжать сидеть за письменным столом в благословенные утренние часы.

Иногда возвращался домой. Но это было и не очень-то логично, и затратно: в километре от школы и садика находилась редакция газеты, в которой я работал, и рабочий день начинался с десяти. Ехать обратно до «Коломенской» получалось бессмысленно: доедешь, а через полчаса надо отправляться обратно. А каждый проезд на метро — это денежки.

Главный редактор, сам нечеловечески писучий, каждый день спрашивал: «Материал сдал?» Неважно было, что ты сдал его накануне. «Новый день — новый материал», — был у него аргумент. «Я хочу рецензию написать на такую-то книгу». — «Отлично! Сдавай!» — «Ну, я ещё читаю». — «У тебя ж целая ночь была! Ночью прочитал — днём написал!»

Меня это бесило. Прямо скулы сводило, и слёзы выступали, и костяшки начинали чесаться. Но теперь я вижу, что это его ежедневное давление было полезно. Я писал много. Очень много. И для газеты, и для себя. Ну, в смысле — прозы.

Возвращался вечером злой, уставший, опустошённый, как мне казалось, совершенно. Ужинал

и плюхался на стул в своём кабинетике на утеплённой лоджии. И на злости, раздражении замарывал страниц десять в тетрадке. Или набирал из тетрадки страниц пять в компе.

Потом я уволился из газеты и сделался так называемым фрилансером, постепенно тратя премиальный почти миллион на семейные потребности; подросла младшая и начала ездить в школу сама. Дни мои стали свободнее, но писать я стал меньше. А теперь каждое утро передо мной целая вечность до вечера — никаких особых дел, отвлекающих моментов, сиди и работай хоть по шестнадцать часов, — а вот что-то...

Так, на чём я остановился в своих «Золотых долинах»? Повесть о том, как студент-платник на каникулах зарабатывает с родителями для оплаты следующего семестра. Отчасти сюжет автобиографический. Хотя я, слава богу, никогда не был платником, но каждое лето работаю на огороде, собираю в бору грибы и ягоды. Мы ездим из деревни, где живут мои мама и отец, в ближайший город и торгуем там на рынке. Когда-то заработанное очень помогало моей семье в Москве, потом же этот процесс — выращивание, собирание, торговля — превратился в некую традицию. Впрочем, знаю, многие студенты, да и не только, лето проводят за тем же делом...

Перечитываю последние написанные строки.

«Жимолость ещё не созрела, а земляника, растущая дальше от ручья, на пригреваемых солнцем полянках и проплешинах, оказалась спелой и рясной.

Но не бросились её собирать, походили, оценили количество, посовещались.

— Как считаете, наберём? — с надеждой, но какой-то неопределённой, спросила мама.

— Если упрёмся — считаю, ведра полтора-два сможем. — Папа говорил вроде по-прежнему бодро, хотя не так уже искренне. — Черемши подрежем.

Мама кивнула:

— Редиска ещё осталась, пучков на десять... Будет с чем ехать.

— Значит — берём... — В этой фразе папы не слышалось утверждения или вопроса.

Оба глянули на Илью, и ему снова захотелось сказать, что надо заканчивать с этими мучительными поисками денег, с его унижительной платной учёбой. Вернётся сюда, будет работать по хозяйству. Или ещё что... Но сказал другое:

— Берём.

Ну, неплохо. И знаю, как продолжать. Слова выстроились в голове в нетерпеливую очередь. Хватаю ручку, пишу:

«Вернулись к машине, попили воды, разобрали ковшки, разошлись по полянкам».

Паста другая. Тоже синяя, но с другим оттенком...

Листаю твёрдые, словно зацементированные словами страницы. Те, что исписал четырнадцать, десять, восемь, пять, три, полгода назад.

Цвет строк то ярко-синий, то бледный, то почти фиолетовый, то вот чёрный, а здесь гелевой полстраницы... И буквы то толстые, то тонкие. Это от шарика в стержне. Бывают большие шарики, а бывают микроскопические прямо. Я раньше любил как можно тоньше, и почерк был убористый, симпатичный, напоминающий распутинский, а теперь предпочитаю ручки с большим шариком, и буквы

часто в клетки не вмещаются... И почерк испортился, и зрение уже не очень.

Если листать тетрадь быстро, то страницы напоминают покрывало из разноцветных лоскутов... О, а тут вообще кусок карандашом!.. Карандаш почти выцвел, надо скорее дописывать. Или ручкой обвести.

Помню, почему карандашом. Это я в Шереметьево сидел. Летел в Братиславу. Да, в Братиславу, на презентацию проекта «Сто славянских романов».

Сумка была забита: ноутбук (даже в кратковременные поездки беру ноутбук, надеясь поработать), зарядки, блокноты, книги для презентации, электробритва... Мучаясь в ожидании посадки на самолёт, я вытянул эту тетрадь, а ручки лежали где-то на дне. В куртке был карандаш с затупившимся грифелем, и вот им стал писать.

«Сейчас, в конце июня, ручей стал узеньким, смирным, но отшлифованные валуны по его краям, наносы сучьев, а то и огромные стволы с содранной корой показывали, что во время таянья снега на вершинах ручей становился могучим и свирепым».

Надо, конечно, поработать над текстом. Но это когда буду набивать в компе. Потом вычитывать набранное, потом — вёрстку, даст бог.

Да, раньше часто писал в аэропортах, в электричках и поездах, в очередях. Теперь же коротаю время в айфоне...

А когда я летал в Братиславу?

Выдвигаю верхний ящик стола, где у меня загран.

Запищал домофон.

Встаю, иду в прихожую. Там почти сталкиваюсь с женой, но обгоняю — беру трубку первым. Не то чтобы мне хочется общаться с курьером, но нужно распределять работу. Жена заказала еду, я её принял...

— Да!

— Курьер.

— Открываю.

Тычу в кнопку на трубке; тонкий зуммер. Вешаю трубку, но не отхожу: курьер преодолел калитку, сейчас будет домофон у двери в подъезд.

Стою, жду. Тишина. Может, кто-то входил или выходил, и курьер заодно...

Возвращаюсь в кабинет. Писать уже нет времени. Беру айфон, гляжу, что там в ленте «Фейсбука». Делаю это рефлекторно — чтоб чем-то себя занять. Давненько уже такая у меня привычка. С одной стороны, хорошая — напиваться информацией не лишне, а с другой — задуматься о серьёзном всё меньше возможности. Постоянно читаю, слушаю, смотрю...

«А все ли детские писатели добрые?»

И фото страницы какой-то книжки. Стишок.

«Если вы на качели сели,  
А качели вас не качали,  
Если стали кружиться качели  
И вы с качелей упали,  
Значит, сели вы не на качели,  
Это ясно.  
Значит, вы сели на карусели,  
Ну и прекрасно».

Некоторое время выбираю, что бы поставить — «Ух ты!» или «Возмутительно». Ставлю «Ух ты!».

«Тихо смотрела второй сезон моста. Там перевод Людковской, хорошо. Ела кашку. Сыночек сходил за круассанами. Мне грустно, всё это бессмысленно, хочется писать абсолютно анонимно и чтобы никто ничего не спрашивал и не говорил. Уже лучше. Настолько, что можно смотреть кино. Настолько, что можно написать в Фейсбуке, что мне грустно. И есть кашку. Уже настолько хорошо. Когда всё плохо, ничего из этого нельзя. Всё это бессмысленно. Все эти попытки жить счастливо. Совершенно бессмысленный процесс».

Эта девушка — она поэтесса — всегда жалуется. Сначала я пугался её постам, а потом привык. «Со чувствую».

«Вылет “Барсы” из Лиги чемпионов, рождение сына у принца Гарри, День Победы, хайп по поводу Бессмертного полка, Доренко, Виторган, Чижова... Кто, кроме выживших и семей погибших, помнит о катастрофе в Шереметьево? А ведь прошло всего пять дней».

Эт точно... Ничего не ставлю, выхватываю из комментариев: «Да, забыли. Вот так и появляются Калоевы — помучаются в одиночестве, берут нож и идут мстить».

Калоев, Калоев... А, да, который диспетчера зарезал в Швейцарии... По вине диспетчера столкнулись два самолёта; у Калоева погибли жена и двое детей. Он ждал извинений, а потом поехал и зарезал. Его быстро освободили и выслали в Россию.

Кстати, мне несколько человек советовали посмотреть про него фильм. Недавно сняли. С Нагиевым в главной роли... Надо как-нибудь...

Где этот курьер? Что-то реально есть захотелось.

Кладу айфон на стол, иду в прихожую. Открываю дверь. Прислушиваюсь. Лифты молчат.

Подъезды у нас своеобразные. Их два. И если подниматься по одному, квартиры будут нормальной нумерации, а если по второму... Я за эти два года так и не понял. Короче, один подъезд — это квартиры, а другой — апартаменты или студии. На нашем этаже крыло стовосьмидесятых и крыло четырёхсотых. Крылья разделены дверью. Она открывается свободно, но впечатление, что это тупик. Вот многие и блуждают.

Сегодняшний курьер из этих многих. Прибыл злой, запыхавшийся. Правда, извинился за опоздание, но таким тоном, словно я виноват. Я забыл предупредить, впрочем, не обязан вообще-то. Тем более, бесполезно, если сам до конца не врубаешься в эту архитектуру...

— На кого заказ? — спрашивает курьер.

Называю имя жены. Он кивает, достаёт из салатного рюкзака два пакета.

— Приятного аппетита.

— Спасибо.

Как раз выходит из спальни жена. Принимает у меня пакеты, а я закрываю дверь.

Приступаем к обеду.

— Я радио включу?

— Да-да, давай.

«...Вскрытие показало, что Доренко умер от разрыва аорты, — тут же раздаётся из динамика. — "Сергей Доренко

всегда выделялся из среды, в которой жил и работал”, — считает публицист Александр Невзоров. “Беспощадность была основной чертой стиля работы Доренко”, — говорит телеведущий Владислав Флярковский. “Сергей Доренко, безусловно, был яркой личностью”, — утверждает телеведущая Светлана Сорокина. “Сергей Доренко был очень талантливым человеком, но при этом беспринципным”, — так о журналисте отозвался бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире РБК».

— Ну вот, сука, теперь у них один Доренко в эфире. Переключу на «Наше радио»?

Жена соглашается. Она вообще почти не спорит, хоть и Рак по зодиаку. Даже по принципиальным вопросам говорит: «Ладно». Но делает чаще всего по-своему... Что будет звучать во время обеда — не принципиальный вопрос.

На волне «Нашего радио» разговаривают об автомобилях.

— Да что ж это...

— Просто слушатели повзрослели, теперь их куда сильнее интересуют машины, чем рок. — Остроумная, поэтому, наверно, и стала хорошим драматургом. — Садись, а то и так остыло.

Едим молча, каждый в своих мыслях... Ну какие у меня мысли — так, перебираю в голове то, что закачал в неё в первую половину дня. По сути-то, шлак один, очень скоро всё это забудется. А если, хм, не забудется? Если такой шлак заполнит все клетки мозга?

Говорят, мозг наш работает в какую-то малую силу, что в основном он свободен, дремлет, что его надо постоянно тренировать, пополнять новыми знаниями... Не могу согласиться. Когда мне было лет семнадцать и я знал куда меньше, чем те-

перь, мне жутко хотелось писать, рассказать другим о своих открытиях, мыслях, догадках. К сожалению, писать я тогда не умел — получалось коряво, туманно. Сейчас же худо-бедно умею. А вот жуткого желания что-то нет. Есть сознание: надо писать, есть привычка сидеть за письменным столом, но вот хвататься за ручку, строчить... Где там сказано, что знания увеличивают печаль? В Библии где-то.

Не то чтобы я печален. Хотя... Ладно, хрен с ним...

После автомобилей занял Галанин: «А что мне надо? Да просто свет в оконце...»

Когда б ни включил «Наше радио», обязательно услышишь эту песню. И вообще, трек-лист у них там не менялся лет двадцать. Опять же, как пошутила жена однажды: «Они включили запись и разошлись, и песни идут по кругу».

— Спасибо, любимая. Ты у меня такая волшебница: раз-раз, и обед сварганила.

— Издеваешься? — без обиды отзывается она; впрочем, если буду ей говорить подобное по три раза в день, наверняка в конце концов обидится и разозлится. Надо прекращать.

— Не издеваюсь, а шучу. Да и не шучу — столько времени высвобождается. Даже вот посуду не надо мыть. — Открываю дверцу под раковиной, бросаю в ведро пластиковые судки, ложку, вилку, нож. — Тебе какой чай? Зелёный?

— Угу.

«Угу» прозвучало как-то тревожаще. Оглядываюсь. Да нет, просто увлечена роллами.

— Полежим после обеда? — спрашивает, когда возвращаюсь к столу.

— Конечно.

У нас такая традиция. Этакий перерыв в работе. Полчаса вместе.

Иногда, правда, засыпаем. Послеобеденные сновидения тяжёлые, абсурдные, иногда вообще кошмарные. Но случаются и такие, что хоть вскакивай и преобразовывай в прозу. С десятков снов-сюжетов у меня зафиксировано в блокнотах.

Довольно часто повторяется один и тот же — что у меня в Москве остались рукописи двух отличных повестей. Бывшая жена наверняка их выбросила, и мне так досадно, что я начинаю скулить. Нынешняя жена будит, успокаивает.

В реальности не было этих рукописей, хотя архив я бросил солидный. Кое-что жалко. Целая папка пьес. Их я написал в моё докомпьютерное время — машинопись. Впрочем, вряд ли я бы сейчас их пустил в дело — у меня жена драматург; скажут, подражает... Нет, в драматургию мне теперь нельзя. Хотя драматурги, которых активно ставят, зарабатывают на зависть...

— Четвёртую серию посмотрим? — Жена прижимается ко мне, просовывает руку мне под майку, гладит живот; живот в последние годы вырос. Надо бы заняться собой.

— Да, — говорю, — мы это уже обсудили. Но только вечером.

— Вечером... Но обязательно. А то послезавтра уже пятая выходит.

Это мы про «Игру престолов». Идиотский сериал, по моему мнению, но все смотрят. Уже сколько лет...

Когда он вышел?

По привычке ишу глазами айфон... Оставил в кабинете. Ладно... В любом случае, лет семь назад, не позже. Помню, старшая дочка ещё подростком

совсем была и тогда мне взахлёб рассказывала. Таргариен, Ланнистер, Старк... Советовала посмотреть, а потом испуганным шёпотом, по секрету так, добавила, что там много эротики, «ну и этого... секса, в общем».

Я глянул. Выдуманное средневековье, явно театральные наряды, мимика и жесты современных американцев; выдуманные имена перемежаются с обыкновенными, вроде Джона... Потом узнал, что ещё драконы появятся. И бросил. Тем более что эротика и секс действительно для подростков.

Эротика вообще скучна, порнуху не смотрю давненько — кастинги Вудмана отбили желание. Антипорнуха такая: ездит лысый пузатый чувак по Европе, однообразно трахает девок один или с бригадой, потом ссыт им в рот, обещая славу и деньги. Подонки. Правильно на него уголовное дело завели. Или хотели завести...

— Так, что-то я расплываюсь, — говорю. — Не надо спать. Пойду поработаю.

— Да, любимый. И я тоже...

Целуемся. Иду к кабинету, но по пути вспоминаю о кофе. Да, кофе сделать. Не то чтобы очень хочу, но сам его запах настраивает на рабочее настроение.

Пока чайник вскипает, выкуриваю сигарету на лоджии. Пепельница почти пуста. Не знаю, радоваться или тревожиться.

Погода по-прежнему отличная. Завтра надо погулять. Может, на какое-нибудь литературное мероприятие сходить. В Екате каждый день по два-три. Стихи читают, книги презентуют, новые номера журналов, альманахов... Или на спектакль в театр Коляды. Он от нас минутах в пятнадцати...

Сажусь за стол. Открываю ноутбук. Вспоминаю о футболе... «Спортбокс». Там трансляции платные, но у меня есть подписка. Что с матчем «Динамо» — «Ростов»?

Шестьдесят первая минута. По нулям. Досмотрю. Динамовцы в синем, ростовчане в чёрном...

«Динамо» давит. Удар Брулёва в упор. Вратарь ростовчан тащит. Удар Луценко. Рядом со штангой.

Вовремя я подключился.

Симпатизирую «Ростову». Но и «Динамо» не желаю поражения. Дима Данилов наверняка на стадионе. Расстроится, если его команда проиграет. Там ведь зона стыков рядышком...

«Динамо» подкрадывается к штрафной соперника и — взрывается.

— Пас на Кардозу, — в голосе комментатора дрожит нерв. — Ой как здорово!.. И не забил!

Вратарь ростовчан вытащил летящий под перекладину мяч.

Затишье. Новый взрыв «Динамо». Вратарь спасает.

Последние десять минут совсем кислые. Заунывное пение трибун. Наверняка «динамовских».

Отмечаю фразу комментатора: «Попал вместо мяча по ноге». Следом ещё одну: «Ох как высоко выпрыгнул Жоаозиньо!»

Ну и что? Вот Роберто Карлос прыгал. Выше Коллера.

Был такой высоченный нападающий — Ян Коллер. А Карлос — почти лилипут. Ну, по футбольным меркам... Сколько он, кстати? Сто шестьдесят восемь. Для защитника это просто ничто... А Коллер? Два метра два сантиметра!

Где-то есть ролик, как Карлос снимает у него мяч с головы.

Да, вот он — стоит набрать «Роберто Карлос Коллер».

Потрясающе... А какие голы забивал Карлос! Даже баллисты изучали полёт мяча после его ударов.

Уникальный футболист. Жаль, что его путь так бесславно закончился.

Нет, когда он перешёл в махачкалинский «Анжи», это была сенсация: впервые в нашем чемпионате появился по-настоящему великий игрок. Пусть немолодой, на излёте, но всё же. Незадолго до перехода забил мяч прямым ударом с углового. В родной Бразилии. До этого лет десять играл в «Реале». Потом ещё где-то...

— Где? — спрашиваю себя вслух тоном экзаменатора. — Вспоминай, шевели мозгами.

С минуту всерьёз мучаюсь вопросом, где играл Роберто Карлос после мадридского «Реала». Потом возмущаюсь:

— Да зачем? — И открываю в «Википедии» статью о нём.

Вот оно:

«1996–2007 Реал Мадрид 370 (47)

2007–2010 Фенербахче 65 (6)

2010–2011 Коринтианс 35 (1)».

А затем «Анжи». А до «Реала» был миланский «Интер»... Так, стоп, значит, Карлос в трёх клубах играл вместе с Роналдо.

Не с нынешним метросексуалом Криштиану, а с настоящим — с Зубастиком.

«Интер», «Реал» и «Коринтианс».

Надо проверить. Проверяю. Нет. В «Интере» они разминулись. Роналдо пришёл через год после того, как оттуда ушёл Роберто. Но потом они несколько лет играли в «Реале». «Реал» тогда был суперзвёздный. Фигу, Зидан, Каннаваро, Оуэн, Бекхэм, Рауль, Гути, Касильяс... В общем, почти то же потом повторили в «Анжи». Ну, в уменьшенном масштабе.

Их владельцем стал Сулейман Керимов и дал добро на покупку каких угодно футболистов. За ценой не стояли. Главным тренером стал Гус Хиддинк... В рамках такого набора Роберто и появился в Махачкале.

Заиграл, помню, классно. И в обороне, и пасы голевые раздавал, и сам бил. Забивал даже. Для Дагестана он стал настоящим брендом. Бурка, папаха, все дела...

С ходу победить в чемпионате «Анжи» не смог, Керимов сбавил финансирование, Карлос стал появляться на поле реже. Однажды с трибуны ему кинули банан, и он устроил истерику, убежал в раздевалку, обвинил Россию в расизме. Но впечатление было, что хочет свалить.

Да, это было похоже на поиск поводов. Тем более что сам он не отличался идеальным поведением — на одном чемпионате мира обозвал футболистов Парагвая грязными индейцами; был скандал. Да и негром его назвать сложно.

Ну и свалил, в общем. Посреди очередного сезона.

Вернее, сначала играющим тренером сделался, потом в тренерском штабе, потом — директором клуба... Но это уже просто попытки сохранять хорошую мину... Неудачные.

А так бы правильно было, если б дотерпел, хотя бы выходя иногда на замену, пробивая время от вре-

мени свои знаменитые штрафные. Потом был бы прощальный матч. Скажем, «Анжи» против сборной России, или Бразилии чемпионского образца, или сборной мира. Ничего в этом прямо такого уж фантастического нет: прощальные матчи великих футболистов когда-то были делом обычным, чуть ли не обязательным, а теперь — отпахал, состарился и пошёл вон.

Керимов мог бы отстегнуть десяток лимонов на это дело. Попрощаться по-человечески.

Или всё-таки что-то было? Что-то было, кажется...

Набираю в «поиске» «Прощальный матч Роберто Карлоса».

Идут сообщения *«Роберто Карлос: “В моём прощальном матче сыграют...”*», *«Роберто Карлос готовится сыграть прощальный матч»*», *«“Реал” проведёт прощальный матч Роберто Карлоса»...*

Всё в будущем времени — «состоится», «готовится», «проведёт». Так же и с прощальным матчем в «Анжи». Вон даже планировалось, что «Реал» сыграет с «Анжи» в Дагестане...

С этим футболом можно реально ёкнуться. А меня ждёт студент, собирающий ягоду, чтоб продать и заработать на учёбу.

Ноут не закрываю — вдруг понадобится свериться, уточнить — просто отодвигаю. Открываю тетрадь. Листы похрустывают.

Так, это сегодняшнее: *«Вернулись к машине, попили воды, разобрали коврики, разошлись по полянкам»*.

Дальше... Дальше: *«Начали»*. Это отдельный абзац. Сильное, крепкое слово...

Ну, само по себе не сильное, в общем-то, но вот так — отдельно стоящее — должно быть сродни гагаринскому «Поехали!».

Пишу следом:

«Ягодок было много, и каждый раз — а в сборе земляники Илья участвовал с детства — казалось, что набрать ковшик — дело десяти минут. Но ягодки маленькие, величиной с горошину, а то и меньше. Дно ковшика всё никак не скрывалось, а уже стало давить в спине, большой и указательный пальцы костенели от однообразных движений. Появились слепни, оводы, кружили над головой с жужжанием — слепни угрожающим, оводы как бы извиняющимся, — садились на спину. Левой рукой отгоняешь их, а правой теребишь-теребишь-теребишь кустики, сдёргиваешь с чашечки красные шарики.

Шарики скатываются в углубление ладони, и когда их скапливается четыре-пять, сыпаешь в ковшик, снова теребишь.

Иногда попадается крупненькая — раза в полтора больше обыкновенной, — не круглая, а продолговатая. Радуетесь ей, как дорогому подарку, медленно, на карачках, двигаешься дальше, теребя кустики, ожидаешь, что там, дальше, таких продолговатых будет через одну...»

Нет, не «на карачках», а «на корточках». Исправляю.

«Встаёшь, встряхиваешься, подпрыгиваешь, чтоб разогнать кровь в затёкших ногах, ловишь слепня, казнишь его, снова присаживаешься, правой рукой теребишь, сыпаешь, левой помахиваешь над головой, шлёпаешь себя по спине, шее, задку».

А слепень и овод — это все-таки разные насекомые? У нас слепень — это такая большая муха. Серая. Летает почти бесшумно и потому кусает не-

ожиданно. А оводы мельче, цветастые, с острыми крыльями. Жужжат жалобно, выются над головой. Скорость у них невысокая, можно ловить на лету в кулак...

Смотрю в интернете картинки.

Ну да, я прав. Слепень — именно серый, одноцветный, напоминающий бомбардировщик. Овод же похож на истребитель.

Хм, овод, сука, откладывает личинки под кожу, а слепень кусает и пьёт кровь. А я думал, что наоборот. Значит, овод опасней...

Кстати, я же хотел глянуть фильм про Калоева.

«В каком смысле — кстати?» — усмехаюсь.

Ну, наверное, в том, что раз уж снова в интернете... Надо. Мне советовали, даже удивлялись так не хорошо, что я не смотрел.

Тетрадь откладываю, ноут подтягиваю ближе. Набираю «Калоев». Так, «Википедия». «Биография», «Семья», «Авиакатастрофа над Боденским озером», «Убийство Петера Нильсена», «Суд и тюремное заключение».

«26 октября 2005 года Калоев был признан виновным Верховным судом кантона Цюриха и приговорён к восьми годам заключения. 8 ноября 2007 года решением суда он был освобождён за примерное поведение по отбытии части срока. 13 ноября 2007 года Калоев прибыл в Северную Осетию, где был тепло встречен в аэропорту».

Гуманно. Получается, с момента ареста отсидел меньше четырёх лет. У нас бы наверняка закатали лет на десять и дали посидеть лет семь. Хотя... Да наверняка.

«После освобождения.

По сообщению ряда российских СМИ, 9 августа 2008 года, на второй день войны в Южной Осетии, Виталий Калоев был замечен среди ополченцев в Джаве. Позднее его брат подтвердил, что Виталий действительно был тогда в Южной Осетии, но его присутствие было связано со строительством Зарамагской ГЭС, и что он вернулся домой в ту же ночь.

В Северной Осетии Калоев был назначен заместителем министра архитектуры и строительной политики республики. В день своего шестидесятилетия вышел на пенсию, за несколько дней до этого был награждён медалью “Во славу Осетии”.

В массовой культуре.

На основе катастрофы сняты фильмы “Полёт в ночи. Катастрофа над Уберлинген” (Швейцария/Германия, 2009; в главных ролях: Кен Дюкен и Евгений Ситохин), “Последствия” (США, 2017; персонажа, основанного на образе Калоева, сыграл Арнольд Шварценеггер) и “Непрощённый” (Россия, 2018; в роли Калоева Дмитрий Нагиев)».

Ни фигу себе, Шварценеггер! Я и не знал. Пропустил как-то. А ведь за его судьбой вроде слежу. С тех времён, когда в видеосалонах смотрел «Терминатора», «Коммандо», «Конана-варвара». Шварценеггер казался мне отличным актёром, снимающимся в этой зрелищной мути. Кажется, я в пятнадцать лет уже понимал, что это муть, от которой, правда, невозможно оторваться...

В определённый момент вроде бы произошёл прорыв в смене амплуа: «Близнецы», «Детсадовский полицейский», этот фильм, где он забеременел. Безделушки, но хоть без стрельбы и сверхчеловеческих подвигов.

А потом снова пошли боевики, пределом которых стала чередка «Неудержимых». Там престарелые супермены типа Сталлоне, Лундгрена, Уиллиса, Рурка, Шварца пародируют самих себя тридцатилетней давности...

Но, может, этот фильм, про Калоева дал возможность Шварцу наконец-то сыграть что-то настоящее? Вряд ли он там бежит с десятиствольным пулемётом и крушит целые кварталы.

Впрочем, если бы получилось реально сильно, то о фильме бы трубили повсюду, а так... Но, с другой стороны, может, там Калоев показан не очень и у нас его просто замолчали.

Снова мучаюсь. Теперь — над тем, что посмотреть сначала: наш «Непрощённый», с Нагиевым, или американский «Последствия», где Шварценеггер.

Выбираю наш. Во-первых, о нём я узнал раньше, да и вряд ли после американского наше захочется смотреть внимательно и полностью. Уровень сто процентов несопоставимый.

Нахожу «Непрощённого». Пока загружается, иду покурить.

Солнце уже на краю неба. Ещё не закат, но ясно, что день кончился. Долгий весенний вечер.

Десятое мая. Впереди пять тёплых месяцев. Конечно, съездим на море. В Крым, думаю. Я уже там побывал после присоединения с официальной делегацией года три назад, поэтому на Украину меня вряд ли пустят. Да и не приглашают что-то. В Казахстане побывал на книжной выставке, и в Беларуси, и в Прибалтике, в Молдове, даже в Туркменистане, а вот на Украину ни разу не звали. Ну и хрен с ними.

Через полтора месяца надо к родителям. Помочь с огородом, напиться деревенской сибир-

ской жизнью. Грубо говоря — июль на это уйдёт. В августе, наверное, в Крым. Крым мне больше подходит, чем Кавказское побережье. В Крыму суше, климат напоминает мою родную Туву. И пишется более-менее...

В Екате тоже климат нормальный — не слишком жарко и не слишком холодно. Подходящий климат...

Начало «Непрощённого» нравится. Правда, Нагиев сразу играет положительного героя — на работе он честный, идёт на конфликт из-за дефекта в проекте: «Я строю либо хорошо, либо не строю совсем». Нагиев такой осетин-осетин: глазами сверкает, подбородок выпячивает, — но в каждом движении, слове виден сериальный Физрук.

Да, не умеют наши актёры перевоплощаться. Или их не заставляют. Вот Евстигнеев, Евгений Леонов — вроде никакого грима особого, а во всех ролях — разные...

Сильно, когда Нагиев-Калоев ожидает жену и детей в аэропорту, смотрит на табло, и вдруг рейс исчезает с этим жутковатым шелестом. Табло не электронное, а... Где из квадратиков набираются буквы и цифры... Леня снова лезть в интернет, чтоб узнать, как это правильно называется.

Ну и сцена, когда ожидающим сообщают о катастрофе.

А потом — то, во что трудно поверить: герой вскакивает после обморока, покупает билет и летит к месту крушения. Прибывает, когда обломки ещё дымятся, на земле лежат трупы. И его пускают искать погибших. Он находит бусы дочки, а потом её саму...

Ставлю фильм на паузу, смотрю в статье о реальном Калоеве.

«2 июля 2002 года, узнав о случившемся, Калоев из Барселоны сразу вылетел в Цюрих, а оттуда — в Германию в Юберлинген, где случилась катастрофа. Сначала полицейские не хотели пускать Виталия к месту катастрофы, но, когда он объяснил, что там его жена и дети, — пропустили. По словам Виталия, его дочь Диану нашли в трёх километрах от места падения самолёта. Согласно документальному фильму канала National Geographic, Калоев сам участвовал в поисковых работах и нашёл сначала порванные бусы Дианы, а затем и её тело».

Что ж, поверю. Ладно...

Дальше герой скорбит. Уходит с работы, отращивает бороду, живёт в большом доме. У него сестра, которую играет Роза Хайруллина. Играет она везде одинаково — что в «Орде», что в «Кислоте», что здесь.

Герой ждёт извинений от диспетчерской компании, которая управляла движением, лично от диспетчера, из-за ошибки которого самолёты столкнулись. Но ему обещают компенсацию, глава компании ведёт себя предельно цинично: «Мы хотим помочь вам перевернуть эту страницу»...

В итоге Нагиев-Калоев узнаёт, где живёт диспетчер, приезжает к нему в Швейцарию. Хочет поговорить, но тот грозит вызвать полицию, выбивает из рук героя фотографию жены и детей. Герой бьёт диспетчера ножом.

Его арестовывают. Камера, суд, приговор. Глава компании в конце концов на ломаном русском признаёт их ответственность и просит прощения у семей жертв.

Через два года после суда героя освобождают, он возвращается на родину. Он не победитель; жур-

налистам признаётся: «С Богом я поссорился». В финале сидит в пустом доме, тикают ходики... А ещё через полгода подбирает бездомного котёнка. Ну это уж грубо, ребята...

Что ж, хотелось бы психологичней, сложней. Чтоб глава компании был не таким циничным, диспетчер бы мучился совестью. Некоторая плакатность очевидна.

Так, перекур, и фильм со Шварцем.

Вместо солнца — багровая полоса на горизонте. Или багряная... Что это значит? Кажется, в тёплое время года такой закат предвещает назавтра жару. А в холодное — мороз. Надо погуглить...

С лоджии видна стена-панель Ельцин Центра. Сейчас она голубая. Красиво — багряный закат и голубая панель. На самом деле до Ельцин Центра больше часа ходьбы, но высота скрадывает расстояние.

Про него много говорят и пишут плохого. Даже не о том, что в нём происходит, а о самом его существовании. И винят местных. Как будто они сами этот Ельцин Центр построили.

Мало кто вспоминает, что он появился благодаря указу тогдашнего президента Медведева. На открытии присутствовали и Медведев, и Путин, управляется он из Москвы. Но шишки сыплются на екатеринбуржцев. Типа, славите Ельцина. Да никто не славит. Но и представить Екат без Центра уже невозможно: очень многое происходит в нём. Я лично считаю Ельцина преступником, но в Ельцин Центр хожу. Что ж делать...

Завариваю чай, отрезаю кусок колбасы, кусок сыра, отламываю багет. С тарелкой и чашкой возвращаюсь в кабинет. Включаю «Последствия».

Начало один в один сходится с нашим. Вернее, наше с ихним, так как их фильм вышел на год раньше. Понятно, что по реальным событиям, но так уж откровенно передирать нельзя бы. Хронология, сюжетные повороты... Только у американцев героя зовут Роман Мельник (русский, из Самары, но работает в США), он занимает должность помельче, разбиваются жена и беременная дочь, а не жена и двое маленьких детей, и рейс не в Барселону, а в какой-то американский город. В остальном же абсолютное совпадение.

А вот трактовка образа диспетчера отличается. Он, по сути, не так уж сильно виноват — к трагедии привела цепь случайностей. Но диспетчер искренне переживает — плачет, у него начинается психическое расстройство, его подвергают обструкции, как принято в Америке. Он меняет имя и переезжает в другой штат, устраивается на новую работу. У него другая жизнь, но это не избавляет его от угрызений совести; он пребывает в постоянном страхе, вынужден жить отдельно от жены и сына. То есть герой Шварца, втыкая в него нож, делает ему благо.

Шварца-Мельника осуждают на десять лет, которые он отсидживает.

В финале приходит на могилу жены и дочери. Там его подстерегает сын диспетчера с пистолетом в руках. Шварц-Мельник говорит, что сожалеет о том, что сделал. А сын диспетчера отвечает: «Я не убью вас. Меня воспитали иначе. Уходите». Шварц-Мельник говорит «прости» и уходит.

Получается, теперь он, старый, одинокий, остаток своей жизни будет страдать куда больше, чем раньше: его пощадил сын убитого диспетчера. Великодушно пощадил.

Наш фильм показывает, что закон «кровь за кровь» иногда допустим (это косвенно продемонстрировали швейцарские власти, выпустившие Калоева достаточно быстро), а американский убеждает: ни в коем случае не мстите, вам же будет хуже.

В общем, что-то такое... А Шварценеггер сыграл неплохо. Неплохо... Но и не отлично. Прорывом, по крайней мере, эта роль не стала...

Что ж, перекурить и навалиться на повесть. Страницы три. А потом — «Игра престолов». И спать. Почти десять, блин.

А что за третий фильм? Немецкий... «Полёт в ночи. Катастрофа над Уберлинген». Он снят почти на десять лет раньше этих... Конечно, весь не буду смотреть, но глянуть, какой там у них герой. Чисто внешне.

Ссылки полно, а самого фильма нет. Вместо него — потоки рекламы. Суки, мошенники...

Копирую название на немецком и вставляю в поисковик «Ютуба». Там тоже фильм целиком не обнаруживается, зато есть несколько фрагментов. Столкновение... Сцена, где герой приходит к диспетчеру. Вот откуда наши взяли такую внешность! Невысокий, с широченной бородой и бритой головой, в каком-то плаще-брезенте. Разговор, выбитая фотография, удары ножом прям продублированы.

И те и другие, понятно, опирались на документальную основу, но... Ну вот взял бы я и написал что-нибудь почти теми же словами, в том же стиле, как у предшественника. А когда бы меня стали уличать в повторе, сказал бы: ну я же писал по следам реальных событий, как и предшественник. Меня бы наверняка назвали плагиатором. А тут — тишина. Или не тишина?

Нет, нет! Только не новый поход по лабиринту... Закрываю «Видео», смотрю новости в «Яндексе». Что там случилось новенького. Напоследок. И — за повесть.

Без новостей тоже нельзя. Целый день в интернете, а словно в герметичной кабине, почти не пропускающей звуки извне. Доносятся какие-то обрывки...

«Политолог Наталия Елисеева направила заявление в Следственный комитет по поводу эссе писательницы Елены Чижовой, опубликованного в швейцарской прессе».

Так это эссе, а не интервью, как писали утром...

«Чижова полагает, что Сталин способствовал плану Гитлера уморить Ленинград в блокаде. По мнению писательницы, Сталин испытывал неприязнь к Ленинграду. Также Чижова пишет: "Нет другого объяснения тому факту, что во время блокады целые поезда вооружений с ленинградских заводов ехали на «материк», в то время как Сталин и его сообщники даже не снабжали город минимальными запасами».

Политолог Елисеева считает, что за такие слова писательницу надо привлечь за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России. На своей странице в социальной сети политолог написала: "Друзья! моё обращение в СК вызвало шквал эмоций! Половина меня поддержала, спасибо вам. Остальная половина прокляла, это на их совести. Я как вела свою линию, так и буду вести. Так победим!"

Добавим, что лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов уже заявил, что считает высказывания Чижовой омер-

зительной провокацией и кошунством. Так же выступил и писатель Николай Стариков. Он назвал текст Чижовой пропагандой лживых идей.

Статья “Реабилитация нацизма” подразумевает наказание в виде штрафа, либо принудительные работы, либо лишение свободы на пять лет».

При чём здесь реабилитация нацизма?.. Так, не буду размышлять даже. А то доразмышляюсь, ещё на эмоциях писану в «Фейсбуке» что-нибудь. Получу по мозгам. Вообще у очень многих какое-то недержание. О каждом пукe сообщают миру, любую бредятину выносят на свет. За некоторых стыдно просто.

«Картины художника Ивана Айвазовского, предположительно находившиеся на борту затонувшего у побережья Крыма парохода “Генерал Коцебу”, могут быть утрачены. По словам руководителя экспедиции Романа Дунаева, для подъёма артефактов необходимо провести сложные работы, из-за которых целостность картин ставится под удар».

О, а это интересно. С детства люблю про затонувшие корабли, сокровища, клады.

«Операция по подъёму артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода “Генерал Коцебу”, в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

“Велика вероятность, что при подъёме мы их утратим. Хотя шанс сохранить всегда есть”, — приводит слова руководителя экспедиции “Нептун” Романа Дунаева ТАСС.

По данным издания, на борту затонувшего в 1885 году судна предположительно находятся фрагменты более 10 кар-

тин, в том числе и кисти Айвазовского. При этом, по словам Дунаева, авторство произведений пока не подтверждено».

Ну а почему они считают, что это картины Айвазовского? Опять желание сенсации?

«Затонувший пароход "Генерал Коцебу" находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. Он был обнаружен археологами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. Считается, что судно было построено в Англии в 1866 году и принадлежало Российскому обществу пароходства и торговли. Своё название оно получило в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу.

По данным СМИ, "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошёл по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. Среди тех, кто находился на его борту, был и Айвазовский. Художнику было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года судно столкнулось у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия", в результате чего затонуло».

Выше был 1885 года, а тут 1895-й. Задолбали эти журналистские борзописцы. Не проверяют, не вычитывают. Вот кому нужно штрафы впаивать.

Открываю «Википедию». Набираю «Пароход Генерал Коцебу».

«16 апреля 1895 года»... Ну да, Айвазовский плавал на нём на открытие Суэцкого канала. Есть его картина «Суэцкий канал». Она сохранилась... Сложно представить, что Айвазовский подарил пароходу несколько своих картин. Хотя ведь он был страшно плодовитый. Где-то встречал, что его картины на аукционах стоят не так уж дорого.

А сколько картин он написал за жизнь?  
Быстро нахожу ответ: около шести тысяч.  
А сколько прожил?

Восемьдесят два года. Родился в тысяча восемьсот семнадцатом, а умер в девятисотом.

И какова, получается, частота выдачи произведений?.. Включаю настольную лампу, нахожу в ящике калькулятор... Восемьдесят два на триста шестьдесят пять. «29 930». Гм, не так уж много... А я сколько дней прожил. Примерно. Сорок семь умножаю на триста шестьдесят пять. Семнадцать тысяч сто пятьдесят пять.

Я стал писать всерьёз в пятнадцать лет. Сорок семь минус пятнадцать. Тридцать два. Умножаем на триста шестьдесят пять. Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят.

Одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят утра просыпался с мыслью: «Надо писать!» Даже с глубочайшего бодунища. Корчился на кровати и думал: «Надо писать!» Собирался в школу и думал: «Надо писать!» Вскакивал по команде «рота, подъём!» и думал: «Надо писать! Надо найти угол в казарме и писать». Трахался, завтракал, вёз дочек в садик и школу, женился, шёл в суд на развод, снова женился, шёл на работу, летал в самолётах, ездил в поездах и думал: «Надо писать! А мог бы писать! Надо закончить с этим со всем, сесть и писать!» И сейчас так же. Брожу по этому бессмысленному интернетовскому лабиринту и думаю, убеждаю себя: «Надо!..»

Айвазовский родился и умер в Феодосии. Кажется, там и прожил почти безвыездно. Правильно. Не распылялся по свету...

Я бывал в Феодосии раз пять. Хорошее место. Мне там писалось...

У Чехова встречал, что Айвазовский преклонялся перед Пушкиным, но не читал его. И вообще никого не читал. Может, так и надо.

А они ведь были знакомы. В смысле, Чехов с Айвазовским. И с Пушкиным Айвазовский тоже был знаком. Если память не изменяет.

Где они могли встретиться? В Феодосии? Пушкин ведь туда заезжал. Я видел табличку на одном доме: «Здесь ночевал Пушкин»... Когда он посетил Крым? В двадцатом году? Но тогда Айвазовскому было года четыре. Может, на коленках посидел у Александра Сергеевича. Родители-то богатыми были, городская элита...

Набираю «Пушкин и Айвазовский». Натыкаюсь на статью «Айвазовский, Пушкин, Репин».

Она построена по принципу вопрос-ответ. Много иллюстраций... Читаю:

«Айвазовский был знаком с Пушкиным?

Да. И это знакомство очень похоже на то, как на лицейском экзамене в 1815-м году Державин, на пороге смерти, благословил юного Пушкина.

В сентябре 1836-го на выставку в Академию художество...»

Господи, и здесь опечатки!

«...заглянул Пушкин, где ему представили 19-летнего Айвазовского — как одного из талантливейших академистов. А уже в феврале 1837-го Пушкина не станет.

Эта встреча запала Айвазовскому в душу. Через 60 лет, в 1896-м в письме он вспоминал её в подробностях:

— В настоящее время так много говорят о Пушкине и так немного остаётся из тех лиц, которые знали лично солнце

русской поэзии, великого поэта, что мне всё хотелось написать несколько слов из своих воспоминаний о нём. Вот они: в 1836 году, до смерти за три месяца, именно в сентябре, приехал в Академию с супругой Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую выставку Александр Сергеевич Пушкин. Узнав, что Пушкин на выставке, в Античной галерее, мы, ученики Академии и молодые художники, побежали туда и окружили его. Он под руку с женою стоял перед картиной Лебедева, даровитого пейзажиста. Пушкин восхищался ею.

Наш инспектор Академии Крутов, который его сопровождал, искал между всеми Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не было, а увидев меня, взял за руку и представил меня Пушкину, как получившего тогда золотую медаль (я оканчивал Академию). Пушкин очень ласково меня встретил, спросил, где мои картины. Я указал их Пушкину; как теперь помню, их было две: "Облака с ораниенбаумского берега моря" и другая — "Группа чухонцев на берегу Финского залива". Узнав, что я крымский уроженец, великий поэт спросил меня, из какого города, и если я так давно уже здесь, то не тоскую ли я по родине и не болею ли на севере. Тогда я хорошо его рассмотрел и даже помню, в чём была прелестная Наталья Николаевна.

На красавице супруге поэта было платье чёрного бархата, корсаж с переплетёнными чёрными тесёмками и настоящими кружевами, а на голове большая палевая соломенная шляпа с большим страусовым пером, на руках же длинные белые перчатки. Мы, все ученики проводили дорогих гостей до подъезда.

С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и расспросов о нём...»

Чехов был язвительным господином. Читал Айвазовский Пушкина. Да и много кого наверняка читал. Может, специально Чехова подкалывал: чего мне, типа, вас читать, современных пигмеев?

«А ещё причина этой любви, конечно, в том, что Пушкин бывал в Крыму, зарифмовал в его честь несколько строк, а 16 августа 1820 года заглянул даже в Феодосию — родной город Айвазовского».

Очень рад, что не ошибся в годе пребывания Пушкина в Крыму...

«Айвазовский носил бакенбарды, чтобы быть похожим на Пушкина?

Нет. Во всяком случае, сам художник в этом никогда не признавался, да и мода такая была. Но современники находили, что Айвазовский похож на Пушкина! Вяземский писал Погодину перед визитом Айвазовского в Москву: "Знаменитый наш живописец Айвазовский желает с Вами познакомиться. Кроме отличного таланта, имеет ещё одно особенное достоинство: напоминает наружностью своею нашего А. С. Пушкина. Угостите его в Москве и за талант и за сходство..."»

Да, реально похож.

Стук в дверь. Входит жена:

— Любимый, пойдём посмотреть? А то меня уже рубить начинает. Засыпаю реально.

Проколола резкая и острая досада. Прошила мозг, длинной иглой-спицей вошла в грудь. Я даже испугался за сердце.

Досада не на жену скорее, а на то, что вот день-то действительно кончился. Кончился, пора спать,

а сделано... Ничего, по сути, не сделано. Да просто ничего, без всякого лукавого «по сути».

— Да, любимая. Три минуты. Можно?

— Угу... Я жду в кровати.

Вместо того чтобы открывать тетрадь, скольжу по строкам на экране ноута. Дочитать-то надо.

«Всех Пушкиных на картинах Айвазовского написал Репин? Нет. Только на одной. Айвазовский изобразил, как сошлись волна и камень, а Репин — самого поэта. В свойственной ему уничижительной манере о своём участии в создании картины “Прощание Пушкина с морем” Репин отзывался так: “Дивное море написал Айвазовский... И я удостоился намалевать там фигурку”. Инициатива написать картину в четыре руки принадлежала Айвазовскому.

А вот собственно портрет Пушкина Репину не дался. Вот что рассказывает об этом в своих воспоминаниях Корней Чуковский:

— ...Необходимо напомнить, что я познакомился с ним (Репиным. — Ред.) лишь за двадцать пять лет до его смерти, когда талант его был на ущербе. Но воля к творчеству осталась в нём та же».

Взгляд отскакивает как обожжённый вспышкой. Смотрю в стену перед собой, промаргиваюсь. Вот те слова, которые словно искал весь этот день. Страшные слова, но как точно составленные: *«Талант его был на ущербе»*.

Талант его был на ущербе...

Не закрывая окна, закладки, опускаю крышку ноута. Встаю, выключаю настольную лампу, рысцой бегу на лоджию.

— Не торопись, — слыша мои шажки, говорит жена.

Я не отзываюсь. Прикрываю дверь, закурываю.

Ночной ветерок приятно обдувает лицо. Моргаю и чувствую, как устали глаза. Если их зажмурить, а через несколько секунд открыть, то кажется, что ослеп. Ничего не различаю. Потом зрение возвращается. Огни, силуэты зданий, деревьев, чёрные пятна на тёмном небе — облака...

Надо снова таблетки с черникой пить. Может, капли купить какие. У жены лучше не спрашивать — станет волноваться... Да, надо помочь глазам. А то...

Талант его был на ущербе, но... Как там дальше? Но творить он стремился по-прежнему... Нет, по-другому. Не так...

Главное-то не это, а: познакомился за двадцать пять лет до смерти, а талант его был на ущербе... За двадцать пять лет до смерти талант уже был на ущербе...

Тушу окурок. Не тушу, а зло давлю в пепельнице. Накурил малò, не стоит тратить пакетик. Пусть лежат...

Иду в туалет. По пути говорю, стараясь сделать голос бодрым:

- Любимая, я зубы почистить — и к тебе.
- Да. Я уже загрузила серию.
- Я быстро.

После умывания вспоминаю, что не приготовил воду на ночь. Заворачиваю на кухню, наполняю кружку водой из кувшина-фильтра. Ставлю на прикроватную тумбочку рядом с новой книгой Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад».

Ложусь. Целую жену. Она кладёт на мои колени свой ноутбук. Нажимает «плей».

Долгие титры. Музыка, сильная, но уже приевшаяся, спецэффекты, давно надоевшие...

Кошусь на книгу. Прочёл половину и остановился. Не то чтобы не пошло, а как-то... То фильмы перед сном, то выпивший, то просто устанешь непонятно из-за чего... Но в конец заглянул. Там числа стоят, когда начал, когда окончил. Если верить им, писал всего месяц. Большую книгу писал всего месяц. Значит, пёрло. Не мог не писать. А я, получается, могу...

— Ты смотришь? — что-то наверняка чувствует жена.

— Конечно. И очень внимательно.

Прошлая серия была посвящена битве с белыми ходаками. Зрелищно, но как-то не трогающе душу. Может, потому, что знаешь: прототипов у всех этих персонажей не было. Зрелищная сказка.

А теперь они пируют. Одичалый с рыжей бородой подкатывает к бабище-рыцарю, но она не хочет, и одичалого уводит молоденькая брюнетка. Ничего такая.

Персонажи пьют вино, много говорят, непонятно шутят.

— Как поработала? — спрашиваю жену.

— Так, если честно. — Кажется, ей теперь тоже не очень хочется смотреть. — Целый день в инете залипала.

— Да?.. И я... В каком-то, в натуре, залипе последнее время.

Блондинка Дейнерис требует вести войска в Королевскую Гавань. Ей нужно убить Серсею и сесть на железный трон. Её просят дать войскам отдых...

Не могу сосредоточиться — мысль крутится вокруг этого залипа. С каждым витком нарастает тревога.

— А что, если нас сглазили?

— В плане?

— Ну, что мы с тобой такие писучие, успешные. И вот кто-то так крепко позавидовал и сглазил. Или специально.

Жена усмехается:

— Сглазить можно только того, кто этого боится.

— Да?.. Нет, любого можно... А ты не боишься, что в любой момент ниточка оборвётся? Ну, та, на которой держится способность писать, талант, удача. И больше — ни страницы настоящей...

Она не отвечает. Наверно, мой вопрос показался ей слишком наивным. Вспоминаю слова из её давнего интервью — прочитал года четыре назад, когда только познакомились. Хотел узнать, что это за дерзкая девчуля, которую все называют потрясающим драматургом, залез в интернет. Наткнулся на интервью, где было примерно такое: на вопрос журналистки, важно ли в её деле вдохновение, моя будущая жена ответила: «Какое ещё вдохновение?! Садись и пиши!»

— Боюсь, — говорит она сейчас. — Очень боюсь. Страха в голосе нет, но и иронии тоже.

— Ну вот... Слушай, может, рассказ написать о человеке, который всё время читает всякую муть, смотрит ролики. Мучается, а отлипнуть не может... А? И назвать — «В залипе».

— Как? «В залипе»? Достанется тебе за такое название. Сразу переименуют.

— Во что?

— Догадайся.

— В залупе? Ну и по хрен. Хотя, наверно, это и правильно. Есть высший смысл... Бывает состояние — в шоколаде, бывает — в жопе. А теперь будет —

в залипе. Может, этим и останусь в русской литературе. Или психиатрии.

— Попробуй.

Теперь же тон её кажется насмешливым, я объясняю:

— У меня так бывает: пишу о человеке, который совсем без денег, имея в виду себя, и — бац! — появляются деньги. Пишу, что всё ужасно, а когда текст уходит на публикацию, жизнь налаживается. Может, и здесь так же: вот опишу подробно этот день, когда с утра хотел писать, а сам... — Я ещё не запомнил то слово, которое сделал названием будущего рассказа. — Сам, ну, залип... Напишу, и подобного дня больше не повторится. Как думаешь, возможно же?

— Да, любимый, наверно. — Жена ставит фильм на паузу, закрывает ноутбук, обнимает меня; мы долго целуемся, гладим друг друга. Потом отваливаемся каждый на свою половину нашей широкой кровати. Некоторое время лежим в тишине и темноте.

Ну, не совсем в темноте — даже сквозь шторы свет города пробивается мощно.

— Нужно плотные купить, — говорит жена, и я не удивляюсь, что она тоже думает о шторах; такое часто случается. — Такие, как в отеле в Москве. Помнишь?

В апреле мы недели две прожили в Москве. Были на театральном фестивале. Я как муждра — муж драматурга.

— Помню... Купим.

— Но шторы — дорогое удовольствие. Мы за эти двадцатку отдали.

— Ничего. Спокойный сон важнее.

— Любимый.

Снова целуемся. Снова некоторое время лежим в тишине.

— Что, досмотрим как-нибудь?

— Да. — Открываю ноутбук, вбиваю пароль жены, включаю фильм, отмечаю, что осталось двадцать семь минут.

Дотерплю.

В сериале — бой. Гибнет второй дракон, корабли северян идут ко дну как мыльницы. А мои глаза слипаются. Я не хочу сопротивляться сну. Главное — не захрапеть. А то жена станет будить или выключит, и завтра нужно будет досматривать. И потянется что-нибудь: а что ещё написал этот Рики Мартин или как его, автор книг, по которым сняли «Игру престолов»? откуда пошли эти мифы о драконах? каков бюджет последнего сезона? И тому подобная муть...

Засыпаю успокоенным. В голове роятся Айвазовский, Елена Чижова, джунгли Амазонии, брюнетка, пошедшая с одичалым, пепельница, которую вопреки традиции не освободил от окурков, пятно Шарташа, Роберто Карлос, забивающий один и тот же гол со штрафного. Всё это надо сейчас, во сне, собрать, слепить в комок и похоронить.

# Петля

## 1

Жена молчала, не спорила, а он всё доказывал и доказывал:

— Тут без вариантов, понимаешь? Или они меня действительно завалят, или мы сейчас разыграем. И возьмём организаторов. Понимаешь, Лен? У них фото из моего паспорта. Откуда? Паспорт при мне все эти годы, вторая фотка — в паспортном столе. Значит, оттуда заказ. Те меня решили вальнуть, без вариантов. Понимаешь?

Жена смотрела в сторону и кивала. Времена, когда противоречила, давно прошли. Теперь в основном молча кивала и смотрела в сторону.

Они познакомились в родной Антону Москве, в спокойное и, как сейчас казалось, счастливое время — в начале нулевых. Были не юны, но жизнь словно только начиналась. Большая, радостная, широкая... Оба истряслись по ухабистым грунтовкам и одновременно выскочили на ровную, прямую автостраду. И помчались рядом, наигрывая

клаксонами бодрые мелодии, улюлюкая и давя на газ.

Елена — перспективный юрист, Антон — ветеран двух чеченских войн, журналист и писатель, лауреат престижной литературной премии, автор того журнала, где печатался Солженицын. Страшные, кровавые, смутные девяностые кончились, на их излете появился новый президент, молодой, с мягким голосом и крепкими руками; олигархов выдавливали из власти, война на Северном Кавказе постепенно, трудно, как огромный пожар, затухала, стали ощущаться намёки на порядок и справедливость. Россия из дикого поля начинала превращаться в государство. Не обратно в обветшалое советское, какое Антон помнил по детству, и не в бандитское ельцинское, а какое-то новое. Хотелось верить: в справедливое, открытое, но сильное.

Он тогда хватался за любую, какую предлагали, работу. И не только потому, что нужны были деньги, — он хотел участвовать в этом превращении, помочь ему, ускорить...

Шли месяцы, месяцы слеплялись в годы, а превращение не заканчивалось. Вернее, оно меняло свою суть. Появились новые олигархи — не такие наглые и богатые, как при Ельцине, но на своей территории всемогущие, цинично приговаривающие, набивая деньгами карманы и мешки, что приносят пользу России; программы на телевидении, в которых как корреспондент или гость-эксперт участвовал Антон, получались в итоге лживыми и карамельно-сладкими, хотя задумывались проблемными и честными; война в Чечне не кончалась, да и, складывалось впечатление, её не хотели заканчивать — она вспыхивала далеко от Северного Кавказа, вы-

рывалась смертоносным пламенем в самой Москве, и каждая вспышка укрепляла власть быстро матерящего, костенеющего президента и забирала кусок за куском свободы граждан.

По сути, в больших свободах Антон не нуждался, частенько тяготился тем, что живёт словно бы без надзора и пригляда, никому, кроме мамы и жены, не нужный. Но на радиостанции «Эхо Москвы», которую он пристрастился слушать, в «Новой газете», где в последнее время всё чаще получал заказы на статьи и заметки, говорили и писали, что свободы необходимы, что страна вот-вот превратится в концлагерь. Антон после суетливого, нервного дня пил пиво и мысленно соглашался: да, вполне может превратиться. Превращалась в государство-мечту, а на самом деле становится концлагерем.

Он стал бывать на акциях оппозиции. Сначала — по заданию СМИ. Видел плачущих пенсионеров и буйных акэемовцев зимой две тысячи пятого во время монетизации льгот. Видел захват нацболами здания Министерства финансов в сентябре две тысячи шестого и побоище на Триумфальной площади в декабре, разгон и винтилово в окрестностях Пушкинской в апреле седьмого, замесы возле памятника Маяковскому каждое тридцать первое число — выступления участников «Стратегии-31»...

Антон писал об этом нейтральные, репортажные материалы, но постепенно проникся настоящим сочувствием к протестующим. Теперь они не были для него однородной массой, появились знакомые лица, и его стали узнавать, кивать как товарищу, соратнику. Антон кивал в ответ и пока тихо, одними губами, повторял за многоголосым хором кричалки: «Нам нужна другая Россия!.. Россия будет

свободной!.. Россия без Путина!..» И к декабрю две тысячи одиннадцатого стал оппозиционером. Настоящим, убеждённым, без дураков.

Когда-нибудь события того декабря и последующих семи-восьми месяцев наверняка сольются с остальной «эпохой ВВП». Они и сейчас уже заслонены другим, более, как многим кажется, важным. Но для участников наверняка останутся глотком свежего воздуха. Таким неоконченным глотком — на вдохе ударили под дых, опрокинули, отпинали...

Антон часто задавался вопросом, зачем тоталитарным, авторитарным государствам нужны выборы. Вернее, их имитация. Чтобы на международной арене сохранять видимость законности избранной власти? Но все всё понимают. С тоталитарными и авторитарными имеют дело из-за их силы, из-за выгоды торговли с ними. Когда они теряют силу, их растаптывают.

А сила этих тоталитарных и авторитарных теряется в основном из-за имитации выборов. Даже она, имитация, порождает активность в обществе, происходят сейсмические толчки, пусть слабо, но ощутимо разрушающие опоры, на которых держится самовластье.

Реакция активной части москвичей на результаты выборов в Думу в декабре одиннадцатого стала сильным толчком. Если б его не пригласили вроде свои же, считавшиеся вождями оппозиции, то... Антон до сих пор был уверен: останься десятого числа те сто пятьдесят тысяч на площади Революции, к ним через несколько часов присоединились бы сотни тысяч, пошли на штурм, разметали трухлявые, почти без защитников, укрепления выдохшегося и одновременно зажавшегося режима.

Всё давно шло по накатанной: парламент был откровенным придатком правительства и президента; премьер-министр и президент четыре года назад поменялись местами и вскоре, в марте, собирались поменяться снова. Выборы в Думу проходили вяло, всех опасных от них отсекали на ранних стадиях, никакой борьбы народ не видел, и результаты оказались более чем предсказуемыми. И оттого возмутительными. Три-четыре живых человека на весь депутатский корпус; остальные — биороботы, послушные и холодные, но с искусственным подогревом — по мере надобности.

Итоги выборов объявили пятого декабря, и москвичи вышли на улицу. Сначала — тысячи — на Чистые пруды, потом — на многострадальную Триумфалку. Десятого на площадь Революции пообещали прийти многие десятки тысяч.

Самые радикальные и молодые лидеры протеста к тому времени сидели по административным статьям в спецприёмниках, а другие, постарше, вдруг побежали к власти — против которой кричали по радио, на страницах оппозиционных газет, в своих соцсетях громко и смело — с просьбой перенести митинг с опасной, под стенами Кремля, площади Революции на Болотную, находящуюся на острове.

Переговоры шли тайно, но про них узнали. Антон уже было решил, что сейчас народ взорвётся, выбросит этих трусливых или продажных вон и пойдёт на Кремль, но ошибся. Сто пятьдесят тысяч послушно и организованно переместились на Болотную, где можно было безопасно для власти протестовать хоть сто лет...

В тот день он приехал на площадь Революции заранее, видел, как лидеры уводят людей. Запом-

нился Борис Немцов, высокий, красивый, без шапки на морозце, воодушевлённый. Он строил колонны, словно командир, отправлял их будто в атаку, а на самом деле — в губительный котёл, окружённый плотными кольцами ОМОНа... Ещё тогда подумалось, что в эти часы Немцов подписывает себе смертный приговор как политик, а оказалось, что подписывал и как человек: через три года, когда протест окончательно захиреет, а большинство его участников будут раскаиваться в своём участии, Немцова застрелят на том же самом мосту, по которому он уводил от Кремля готовых к борьбе людей. И реакция на его убийство окажется достаточно спокойной, будто не убили мужчину в расцвете лет, а умер немощный и отработанный старик...

Антон тогда остался на Революции. Вместе с ещё парой сотен несогласных с уходом на Болотную.

Они плотно сгрудились возле памятника Марксу; Эдуард Лимонов, ещё кто-то из нацболов пытались выступить с гневными и зажигательными речами, но мегафон был слабый, по улице, шипя размокшим от реагента снегом, ехали и ехали машины, и почти ничего нельзя было разобрать.

Их, две жалкие сотни, охраняли от омовцев журналисты Алексей Венедиктов и Тина Канделаки — общественные наблюдатели. И, когда наступил согласованный с мэрией срок заканчивать митинг, один из нацболов призвал расходиться: «Силы неравны... До будущих побед!» Две сотни очень быстро испарились — было холодно, наверняка замёрзли.

Антон пошёл на Болотную; митинг там тоже дотлевал. Потоптавшись в реденькой толпе, встре-

тил нескольких знакомых и отправился вместе с ними в кафешку в Доме на набережной. Кафешка называлась серьезно: «Спецбуфет № 7».

Там было шумно, как в спортбаре после окончания трансляции матча; у дальней стены звенело несколько юных голосов: «...Весть летит во все концы: вы поверьте нам, отцы!..» За столом слева от входа сидели литераторы, среди них один из самых непримиримых оппозиционеров — Трофим Гущин. Тоже ветеран чеченских войн, тоже автор того журнала, в котором печатался Солженицын. По мнению многих, если бы он не был таким известным, давно гнил бы на зоне.

Трофим клял либералов и зло стонал: «Слили революцию, суки! Слили!» Остальные скорбно кивали и пили пиво.

Антон тоже купил пива, присоединился к компании — со всеми, с кем лучше, с кем хуже, был знаком. Послушал упаднические реплики и не выдержал: «Нужно быть смелее. Лезть на них, а не митинговать. Революции на митингах не делаются».

Его тогда не слышали. Нет, слышали, конечно, но не поддержали. Трофим заторопился: «Надо бежать, эфир на “Эхе” через полчаса». И другие, допив пиво, стали расходиться.

Антон остался. Сидел долго, подрагивая от возбуждения, крепко сжимая толстую кружку — был бы бокал, наверняка раздавил бы... Места литераторов заняли простые ребята, молодые и весёлые. Делились впечатлениями: для них это был первый митинг, впервые они оказались вместе с таким количеством единомышленников. Цитировали кричалки, тексты лозунгов, плакатов, говорили, что эта власть протухла, завтра капитулирует.

Антон ухмылялся, опустив лицо. Не капитулирует. Наоборот, сегодня она увидела, что народ не готов её валить, и теперь затянет петлю до предела. К президентским выборам будет тишь и гладь.

Так, в общем-то, и получилось. Внешне Москва бурлила, некоторые крупные города тоже иногда выпускали струйки гневного пара, но это было узаконенное бурление. В рамках отведённого властью коридора. Согласованными маршрутами двигались десятки, а то и сотни тысяч. Медленным шагом, расслабив мышцы. Ходить вот так, как и митинговать на островной Болотной площади, можно было действительно сто лет. Без всякого толку.

Антон ходил вместе со всеми, подхватывал смелые речёвки, но, сам чувствовал, глаза его оставались тусклыми. Это было противно — подстраиваться под общее бессилие. И накануне президентских выборов он написал в «Живом Журнале» пост под названием «Несколько мыслей о поведении в марте». Написал быстро, услышав по радио, что митинг на Лубянке, возле здания Центральной избирательной комиссии, который хотела провести оппозиция сразу после объявления результатов голосования, московской мэрией не согласован.

«Не согласован» — какая лицемерная формулировка. Говорили бы прямо — «не разрешён». Это лицемерие злило больше всего.

И на этой злости Антон за полчаса отстучал в компьютере свой текст. О том, что обязательно надо прийти к ЦИКу, прийти надолго, пока власть не отменит результаты выборов. А чтобы не замёрзнуть, нужно одеться потеплее, взять еду, палатки, дрова, печки-буржуйки (даже дал адреса трёх магазинов, где буржуйки продавались).

«Конечно, нас будут бить, — писал Антон, — поэтому лучше найти шлемы и сделать щиты. Лубянскую площадь будут охранять, и нужно найти снегоуборочную машину для прорыва милицейского кордона. Главное не бояться и помнить, что мы действуем в рамках Конституции, той Конституции, которую приняли после кровавого октября 93-го и которой нынешняя власть просто-напросто подтирается».

Советами Антона воспользовались единицы, и таких ОМОН хватал в первую очередь. В основном же люди пришли без вещей, в ботиночках и сапожках. Таких хватали тоже — впервые с начала декабря произошли массовые задержания. И довольно грубые, с заламыванием рук, ударами дубинкой, волочением по асфальту. Голос в диктофоне однотонно повторял: «Акция незаконна, просьба разойтись».

Законная акция происходила на Пушкинской площади, точнее, на её части — за спиной памятника автору оды «Вольность». Туда Антон, чудом избежавший автозака на Лубянке, добрался к окончанию. Но многие не разошлись, и тогда полиция стала действовать и там. Хватали, волокли, били...

Стало понятно: время президента-местоблюстителя Медведева, которого считали мягким, закончилось, вернулось время президента настоящего. Хозяина.

А через неполный месяц на Антона завели уголовное дело за ту запись в «Живом Журнале». Инициатором стал ныне прочно забытый, а в то время предельно активный персонаж, который создал несколько молодёжных движений, помогавших власти, гонялся по Москве за послом Эстонии во время

истории с Бронзовым солдатом, безустанно искал врагов. Таким врагом оказался и Антон.

Уголовное дело увяло на корню, но Антону принесло настоящую известность. Теперь он был не репортёром-пешкой, не одним из сотен блогеров, не рядовым участником протеста, а яркой фигурой, чуть ли не мучеником режима. Его приглашали на «Эхо Москвы», его посты в «Живом Журнале» цитировали оппозиционные газеты и сайты.

Это могло бы льстить самолюбию. Тем более что стало поступать больше предложений написать о том-то или том-то; на банковский счёт, которым завершал Антон некоторые посты, капали ощутимые деньги. Но это напоминало буксующую машину, в бак которой подливают бензин. Так она может буксовать очень долго — рычать, разбрызгивать грязь, но ни на сантиметр не сдвигаться с места.

Протест в стране затухал; власть помогала. Шестого мая двенадцатого года она спровоцировала столкновение оппозиции с полицией, после этого начались аресты, суды и реальные сроки. Так называемые «Марши миллионов» теперь собирали не сотни и не десятки тысяч, а тысячи две-три, и с декабря ходившие рядом националисты и анархисты, коммунисты и либералы стали переругиваться, возникали потасовки: людям надоело выпускать пар в пустоту.

В октябре двенадцатого по телевизору показали якобы документальный фильм о том, как зарабатывают лидеры оппозиции на протестной активности части граждан. Кроме прочего там были кадры, снятые скрытой камерой, где парни, похожие на лидера леваков Сергея Удальцова, его помощников Леонида Развозжаева и Константина Лебедева, ведут

переговоры с какими-то людьми, торгуясь о цене за ту или иную акцию. Предлагают перерезать Транссиб, выпустив из колоний заключённых, что-то ещё. В общем, цепь диверсий.

Антону стало ясно: вот-вот начнут сажать главных участников протестной эпопеи. Эпопеи, которая вроде бы уже завершилась. Но власти нужно отомстить за тот испуг, что она испытала в декабре, за те оскорбления, что выслушивала с оппозиционных сцен на протяжении полугода... Сажать будут теперь не на пятнадцать суток, а на годы.

Лебедева упекли первым, Развозжаев исчез, а потом появился в Киеве, но его выкрали оттуда и вернули в Москву. Удальцов долго был под подпиской, потом под домашним арестом, являлся на допросы, а затем в суд и в итоге отправился на зону на четыре года.

Антон сходил на несколько заседаний. Ему был симпатичен этот парень, ровесник, хотя его взгляды он не разделял — примитивный социализм. В оппозиционном мире именно Удальцова он стал узнавать первым. После Лимонова, конечно. Случилось это году в две тысячи третьем.

А в двенадцатом им обоим было по тридцать пять — самый возраст для свершений, реальной работы, а их держат, по сути, в кандалах. Теперь Удальцову надели кандалы вполне конкретные.

Заседания проходили в огромном зале Мосгорсуда. Перед их началом жена Удальцова, его друзья шептали: «Ведите себя тихо, пожалуйста. Не злите судью». А судья хамил, перебивал адвокатов и обвиняемых. Сидевшие на скамейках терпеливо молчали. Надеялись, что молчание поможет. Не помогло. Впаяли от души и отправили на зону...

В тринадцатом году Антон стал закисать. Чаще выпивал, бродил по улицам, словно что-то искал. Большинство площадей были огорожены просто так, на всякий случай, на других велись работы — снимали одну плитку, клали другую... Протестные акции не согласовывали, некоторых оппозиционеров или перетянули на свою сторону, или вынудили уехать из страны; власть явно искала, чем бы занять людей, на что отвлечь от придушенного, но настырного шёпота недобитой оппозиции.

И тут начался Майдан в Киеве. Вернее, Евромайдан.

## 2

Поначалу Антон отнёсся к нему не всерьёз — что-то типа нашего «Окупай Абай». Это когда после разгона шествия шестого мая люди стали собираться сначала возле Политехнического музея, потом возле памятника Абаю, потом на Кудринской площади, возле бронзового Окуджавы на Арбате... Но тут, побегав от украинской милиции по центру, киевляне укрепились на площади Независимости, огородились баррикадами, выставили посты, вооружились палками, цепями, битами, вилами, несколько недель удерживали позиции, обжились там, а потом пошли в атаку.

То, к чему призывал Антон здесь, в России, воплощалось там, в Украине.

Его поразило, что большинство российских оппозиционеров отозвалось на происходящее у соседей с неодобрением или вовсе с возмущением. Многие из тех, кого Антон считал своими соратниками,

проклинали майдановцев, в том числе и Трофим Гущин.

Ну да, заправляли там, в Киеве, в основном националисты, «Правый сектор». Но что поделаешь, если они оказались самыми энергичными и бесстрашными. Они в буквальном смысле слова лезли на пули и в итоге победили — скинули ничтожного, высмеянного и в России Януковича... Впрочем, не особенно националисты и победили, их тут же отёрли от реальной власти.

А российская власть революцией в Украине воспользовалась по полной программе. Во-первых, проявила великодушие и приютила Януковича. Во-вторых, в Крым мгновенно ввела войска, быстро провела референдум и включила в состав России. В-третьих, помогла сепаратистам укрепиться на большей части Донецкой и Луганской областей. Украина попыталась их вернуть, и это переросло в многолетнюю войну, конца которой не видно...

Наверняка нынешнему режиму в России на фиг не нужны Крым и Донбасс с Луганщиной, но он показывает своей оппозиции: «Вот что бывает, когда случаются революции: страна неизбежно теряет территории. Вы этого хотите?»

Антон был возмущён такими жестами. Именно тогда, весной четырнадцатого, режим стал для него преступным и он объявил ему войну. Объявил именно в те дни, когда Трофим Гущин, безуданно славивший воссоединение с Крымом, героизм президента, заявил о перемирии.

Последний раз они встретились в середине апреля четырнадцатого — ещё до большой крови в Донбассе, до сожжённых заживо в одесском Доме

профсоюзов — на записи ток-шоу на одном из федеральных каналов. Антона туда ещё приглашали, а Трофима только-только стали приглашать — дали где-то далеко наверху зелёный свет.

Ведущим был их товарищ, тоже писатель, тоже автор того знаменитого журнала, тоже оппозиционер, в прошлом непримиримый, а теперь умеренный, Андрей Шурандин.

Антон и Трофим стояли за разными столами-трибунами, друг напротив друга. Трофим — там, где собрались противники Майдана и последовавших в Украине событий, Антон — вместе с теми, кто если не полностью одобрял их, то уж точно пытался объяснить происходящее у соседей не только как победу бандеровцев.

Антон не высказал тогда всё, что хотелось. Не боялся, нет. Просто какой-то ограничитель ещё стоял внутри, нравственный, что ли, интеллигентский: нужно соблюдать приличия, не стоит называть всё своими словами, это не принято в споре, невежливо оскорблять чувства соперников. Да и некоторый расчёт в сдержанности был: скажешь всё — вырежут, внесут в стоп-лист, а так будешь иметь возможность доносить свои идеи дальше, пусть слегка по-эзопы.

И Трофим, кажется, сдерживал себя, больше слушал, держа на губах слегка ироничную улыбку, вставлял шутливо-едкие замечания; один раз вступился за него, когда патриот в косоворотке стал тыкать Антону его малороссийской фамилией — «Дяденко», но заступился опять же с улыбочкой, будто разнимал малышей...

Несколько лет назад Антон встретил в интервью его суждения о шукшинских рассказах: они Тро-

фиму не нравились, их героев он называл дураками. Но вот образ Шукшина-актёра, а может, и человека Трофим явно взял на вооружение: эта улыбочка, взгляд, словно смотрит на забавную пакость, язвительные словечки...

Другие участники шоу спорили громко и без тормозов. Временами, как водится на таких программах, диалог превращался в многоголосый собачий лай... За тем же столом-трибуной, что и Антон, находился один из лидеров националистов, примерно их ровесник, безбородый, в очках с тонкой оправой. Он доказывал, что Украина — самостоятельное государство и может выбирать себе каких угодно героев, вплоть до Бандеры и Шухевича. «А что, — отзывался он на гневные крики оппонентов, — у нас в некоторых субъектах не так? А Салават Юлаев и Канзафар Усаев у башкир, Шамиль в Дагестане и Чечне, Субедэй в Туве. Они русских убивали в не меньших объёмах». Через несколько месяцев его арестуют, а потом надолго посадят. Официально — за экономические преступления.

После записи страсти улеглись. Участники молча прошли в комнату, где оставили вещи. Трофим, собравшись первым, коротко попрощался со всеми разом и исчез. Он вообще был быстр и подвижен, перемещался по стране, да и по миру со скоростью ракеты... Антон тоже не стал задерживаться.

В коридоре столкнулся с Трофимом и Андреем Шурандиным.

— Друзья, давайте посидим, — предложил Андрей. — Давно обоих не видел, соскучился.

— У меня есть полтора часа, — быстро ответил Трофим. — Только я, Андрюха, теперь не пью.

— Русский — трезвый? Да и я стараюсь воздерживаться. Но так, чайку. А? Антоша, Трофим...

— Можно, — пожал плечами Антон.

С Андреем они были знакомы больше десяти лет, когда-то побывали вместе на книжной ярмарке во Франкфурте. С Трофимом — ровно десять; Антон публиковал отрывки из его первого романа на своём сайте «Анатомия войны», который, правда, давно забросил.

Сели за угловой столик в ближайшей кафешке. Трофим с Андреем заказали чай, Антон — пиво. Молчали. Трофим что-то читал в телефоне и хмурился, Антон, начиная скучать, но понимая, что посидеть надо, оглядывал пустой в этот дневной час зал, краем глаза отмечал: Андрей смотрит то на него, то на Трофима ожидающе, но сохраняя на губах радостную улыбку.

Тогда решил: Шурандин действительно рад их видеть, он всегда был таким восторженным, с идеей объединить поколение, вот и теперь хочет, чтоб они оба снова стали товарищами. Позже, вспоминая ту встречу, Антон пришёл к мысли, что «посидеть» предложил Трофим. Чтоб услышать от Антона его позицию не под телекамеры и поставить точку в их личных отношениях. Трофиму, как он заметил, нужно было ставить эти точки, делить людей на своих и чужих. Да и не только людей, а целые их группы. Что ж, недаром он из лево-правых — есть и такое движение в политике и мировоззрении... Одна из статей у него называлась прямо и чётко: «Полярные расы». О россиянах, которые не могут найти общий язык, обрести общие ценности. Тех, у кого ценности другие, Гущин считал врагами.

Подали два чайничка, чашки, бокал «Стеллы Артуа».

— Ну как, пишешь что? — резко оторвавшись от телефона, будто проснувшись, спросил Трофим. — Давно не встречал твоих рассказов.

— Рассказы не пишу.

— А что пишешь?

— В соцсетях... фельетоны.

— А, эт я читал, эт читал. — Трофим наполнил свою чашку золотистым чаем.

— Ребята, хоть и в частично безалкогольном режиме, — вступил Андрей, — предлагаю выпить за то, чтобы, несмотря ни на что, мы продолжали поддерживать человеческие отношения.

— Выпить-то можно...

В голосе Трофима нарастали ноты азарта, как перед дракой, и Антон снова подумал про Шукшина, вернее, про его героя из «Калины красной». «Один в один копирует».

— Выпить можно. Да что толку... Зря ты, Тош, такую позицию занял. Обидно. Такой был... — Трофим запнулся, казалось, он ищет подходящее слово, но почему-то Антон был уверен, что пауза искусственная, слово давно найдено. — Такой был боец. Я б с тобой тогда, в двенадцатом, пошёл бы в разведку. Сейчас бы — крепко подумал. Подозрение есть, что... извини, если ошибаюсь... Подозрение, что вполне можешь нож в спину сунуть.

Откровенно говорить тяжело. Можно часами гнать пургу без всяких усилий, а вот откровенно и нескольких фраз не свяжешь. Как и писать. То же самое. Поэтому никакого раздражения или обиды от этих слов Антон не почувствовал. Наоборот, нечто вроде благодарности: Трофим приоткрыл карты.

— Я обычно в грудь бью, а не в спину, — ответил, но без угрозы и наезда. — Тебя бы не стал.

— Спасибо... Не исключено, правда, что скоро захочешь. Или я захочу. Если начнём расходиться всерьёз. Дело-то серьёзное. Ты ведь это понимаешь: бывают вещи, которые дороже жизни.

— Это ты про Украину?

— Ну, грубо говоря — да. Про Крым, Донецк, Луганск. Мы их теперь не отдадим. Ни за какую цену.

Антон пожал плечами, отпил пива, твёрдо поставил кружку на картонную подставку. Пришло время говорить ему.

— А тебе не кажется, что это очень похоже на Германию в тридцатые годы? При Гитлере? Часть Чехословакии забрали, потом Австрию, ещё там что-то. А потом, в сорок пятом, пришлось и куски своей территории отдавать. Так и этот наш, с позволения сказать, президент...

— Был Гитлер, а был Сталин, — перебил Трофим, — который забрал часть Финляндии, Западную Белоруссию, Западную Украину. И не отдал... не отдали. И никто особо не возмущается. Всё от народа зависит: если народ крепкий, то и территории будут оставаться, а то и прирастать. При Горбачёве с его грёбаной перестройкой загнали народ, вот и распались. Но теперь мы этого повторить не позволим.

— Кто — мы?

— Мы? — Трофим пристально посмотрел на Антона. — Если ты не чувствуешь, кто это «мы», то мне тебя очень жаль.

Андрей Шурандин с интересом слушал разговор, не ввязываясь. На самом-то деле его позиция была Антону ясна: Андрей побывал в Крыму в те дни, когда там захватывали власть вежливые люди,

и вёл оттуда репортажи для «Эха Москвы», потом помчался в Донецк, наблюдал, как там берут штурмом здание администрации...

— Нет никакого единого «мы», — сказал Антон. — Немалая часть общества убеждена: что бы ни сделала нынешняя российская власть, это незаконно. Потому что она сама незаконна. Ты сам об этом два года повсюду кричал, во всех интервью... Я видел твою фамилию под требованием «Путин должен уйти». Какой она там идёт — пятой, седьмой? А теперь ты его славить.

— Я его не славлю. Просто он сделал то, что требовала, например, наша партия четверть века: вернуть Крым и Донбасс. И я объявил перемирие с этой властью. Я готов с ней сотрудничать. По крайней мере на данном этапе и по определённым вопросам. Сейчас долбить власть и Путина — это значит долбить Россию.

— Вот как интересно повернулось.

— Да, интересно. Мало кто ожидал... Поэтому предлагаю: приходи к нам, давай вместе работать.

— Погоди, — Антон ещё глотнул пива, он волновался — то ли злился, то ли радовался предложению; сам не мог разобраться. — А вот то, что это — преступный режим, что его принципы правления остались прежними, что там жулики и воры, это как бы принимается?

— Повторяю, на данном этапе — да. Потом будем решать эти проблемы.

— Хм! Это вот какой-нибудь социал-демократ в Германии объявляет: Гитлер присоединил к Германии немецкие территории Чехословакии, поэтому я теперь с ним, я буду ему помогать, а за свободу слова, за отмену расовых законов поборюсь потом,

когда мировое сообщество примет воссоединение. Так и здесь?

На лице Трофима появилась досада, на нём читалось: зря я решил поговорить, ведь он враг, враг. Но ответил, медленно и твёрдо:

- Примерно так. Ты прав.
- Не понимаю логики.
- Что ж, ничего удивительного.
- Почему?
- Потому что я — Трофим, а ты — Тоша.

Он встал, выбросил из кармана будто заранее приготовленную пятисотку и направился к дверям. Антон послал ему вслед:

- Во-первых, не Тоша для тебя, а Антон.
- Какая разница...

Хотелось ответить ему какой-нибудь колкостью, но Трофим уже уходил. Слегка сутулясь, чуть-чуть враскачку. По-шукшински.

Антон перевёл взгляд на Андрея. Тот допивал чай, лицо было печальным.

— Рассыпалась наша общность, — сказал Андрей. — У меня в начале нулевых была статья — «Разобщённая общность». Мы тогда и не все знакомы друг с другом были, но двигались в одну сторону. Интуитивно. А теперь вот разбрелись. Теперь бы действительно не перестрелять друг друга при случае...

### 3

Войну с властью Антон продолжил, и вскоре ему стали поступать угрозы. Почти после каждого поста в «Фейсбуке» или «Живом Журнале». В коммента-

риях угрожали редко, там в основном просто поносили. Угрожали по телефону.

Номер найти труда не составляло — в своё время Антон раздавал его направо и налево. Менять не стал, угрозы слушать было забавно, иногда отвечать в том же духе. Угрозы приходили и в «Эхо Москвы», где он иногда выступал, в «Новую газету», публикующую его статьи.

Статьи, правда, давались всё труднее — там нужно было осаживать себя, подстраиваться под редакционную политику, и Антон в конце концов — примерно с июня две тысячи четырнадцатого — стал писать только в соцсетях. Благо на счета банков, «Яндекс.Кошелёк», «Киви» поступали деньги, достаточные для существования их семьи. Ещё и маме-пенсионерке помогал...

Мама очень переживала из-за его деятельности. Она всю жизнь проработала учительницей, была законопослушной, покорной любой власти... Нет, «покорной» — не то слово. Многим она была недовольна и в советское время, и при Ельцине, и после него, но старалась недовольство не выражать. Скорее тихо горевала, чем роптала.

Горевала, когда её единственного сына, проучившегося полтора курса в Гуманитарном универе и ушедшего в академ, призвали в армию и отправили после учебки в Чечню в жутком девяносто пятом. Горевала, когда он, вернувшись, доучившись, вдруг заключил контракт и снова оказался в Чечне, уже добровольно. Горевала, когда стал заниматься оппозиционной работой, но не отговаривала, не велела перестать.

Но и она не выдержала. После его статьи «Небритое хлебало с плюшевым медвежонком». Было это осенью шестнадцатого.

Антон пришёл навестить маму в их квартиру на улице Правды — он с женой и дочкой жильё снимали — и сразу догадался: будет разговор.

Впервые, кажется, с его школьных лет мама усадила его перед собой за овальный — праздничный — стол в большой комнате и, теребя носовой платок — в этом могла увидаться театральность, но Антон знал свою маму, она была искренна, — начала:

— Сынок, выслушай меня. Выслушай только и... и не перебивай. Да?.. Мне очень трудно, я на грани... Мне не дают прохода.

— Кто? — удивился и разозлился Антон.

— Все. Соседи, ученики, знакомые... «Ваш сын...» У меня язык не слушается, не хочет повторять это слово. Но... Но ты должен знать. Ты должен... Они говорят: ты предатель, сынок.

Сказала это и промокнула глаза. Они действительно слезились.

И Антону привиделся тридцать седьмой. Вот сидит сын, ему под сорок, он герой Гражданской войны. Совсем молодым рубил беляков, получил орден Красного знамени. После войны пошёл по журналистской линии, писал статьи за мировую революцию, встал в оппозицию к середнячку Сталину. Теперь многих товарищей арестовали, а его оставили на воле по каким-то соображениям. Может, чтоб через него организовать новое дело. Да, он на воле, но все знают, что он враг, предатель, фашистский наймит. И мать передаёт ему... Произносит вот эти самые слова: «Они говорят: ты предатель, сынок».

Привиделось и другое. Германия. Тоже примерно тридцать седьмой. Сын, ветеран Первой мировой, сидит перед матерью... Он критиковал и про-

должает критиковать национал-социалистов. Многих его товарищей отправили в концлагеря на перевоспитание, а он ещё на воле. Но все вокруг знают: он предатель, тычут этим в лицо матери при каждой встрече. И вот мать усадила сына в уютной квартире, где прошли его детство и юность, откуда он уходил на войну, и произносит...

— Кого же я предаю? — спросил Антон.

— Сынок, я понимаю, что ты не такой. Но ведь ты сам видишь — везде, по всем каналам, и твоё имя постоянно. Я не знаю, что делать.

— Ничего не делать.

— Ну как же, когда они... Ваш сын... ещё это теперь повторяют вслед... — Она осеклась и посмотрела вверх, на потолок. — Повторяют за ним: нацпредатель.

— Этот термин Гитлер изобрел, кстати. Теперь понимаешь, чей он, — тоже глянул на потолок Антон, — ученик... Родину я не предавал. А Путин и вся его шобла — это не родина. Они предатели, кровососы, они превратили Россию в Мордор, и я буду с ними бороться.

Остро, до рези в груди, захотелось выпить. Не пива, которое он употреблял почти каждый день, а водки. Жахнуть стакан, подождать минуту, и тогда появятся именно те слова, которые нужны, которые убедят маму.

— Я буду с ними бороться, — повторил твёрже. — Они не навсегда. Они кончатся. Или случится революция. Как в Киеве. И мы будем их судить.

— Как в Киеве? — Лицо мамы исказилось ужасом. — Там ведь фашисты!

— Ма-ам-м... Ты веришь зомбоящику? Мам, ну как так! Там нормальные люди. Сейчас у них всё

сложно, как после любой революции. Там всё нормально. Нормальней, чем здесь.

Помолчали. Мама, которая всегда была для Антона статной и сильной, вдруг стала маленькой, немошной. Даже на похоронах папы, пять лет назад, она выглядела не такой жалкой...

— Мама, — с трудом сказал Антон, уверившись, что словами здесь мало что сделаешь, — поверь мне, я прав. Плюй им в морды, если они ещё раз посмеют вякнуть.

Через несколько дней он узнал, что против него собираются завести уголовное дело. Подано несколько запросов в прокуратуру по поводу его постов в соцсетях. Теперь был не двенадцатый год с его относительными свободами; Антон для режима давно стал не писателем, а матёрым врагом, и посадка казалась вполне вероятной. Он физически ощущал, как ему на шею готовятся набросить петлю. И решил уехать из России...

Когда пожилые теперь люди говорят, что нынче эмиграции как таковой нет — границы открыты, можно в любой момент вернуться, а вот в наше время, мол, прощались с покидающими страну, словно отправляли на тот свет, не мечтали больше увидеть, друг друга хоронили, — Антон внутренне возмущался: да и сейчас многие уезжают если не навсегда, то очень надолго, пути им сюда, при нынешней власти, нет. Разве что из аэропорта сразу за решётку.

Уезжал с женой и дочкой тихо, не объявляя об этом в «Фейсбуке». Маме сказал, что едут на месяц-полтора в Чехию. Старался, чтоб голос не выдавал его:

— В Карловых Варах подлечимся, там санаторий, потом — в Прагу. Она, я читал, уникальная, как в Средние века попадаешь... Война почти не косну-

лась. — Хотел добавить, что Прагу спасли солдаты армии Власова, которых потом или расстреляли, или отправили в лагерь, но сдержался. — Надо развеемся, отдохнуть от этой всей возни и грызни. — И намекнул, что, может, потом займётся чем-то другим, не критикой режима.

Мама, как ему казалось, не очень верила, тем более что Антон перевёз к ней со съёмной квартиры ценные вещи, посуду.

— Решили съехать. Что она будет стоять полтора месяца... Да и надоела. Вернёмся — другую найдём.

— Да, да, — кивал мама, сжимая в кулаке свой неприменный платочек.

Она попыталась узнать правду у невестки, но Елена держалась молодцом, не выдала.

— Ну а Мариночка-то как будет учиться? — в последний момент встревожилась о внучке. — У неё учебный год.

— Она на домашнем, вы ведь знаете, — спокойно напомнила Елена. — А к концу четверти вернёмся.

— А, да, да...

Вылетели по туристическому шенгену в Чехию, сняли на окраине Праги номер в дешёвой гостинице.

В первую ночь Антон написал в соцсетях:

«Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там ещё одно дельце. На первом же “Абрамсе”, который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушёнки. И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.

Запомните этот твит».

На другой день он связался со знакомыми журналистами и объявил, что уехал из России, где его преследуют, угрожают, на него собрались завести новое уголовное дело. Новость эта всколыхнула оппозиционные СМИ, соцсети, но на самое короткое время. Она тут же утонула в бушующем море других новостей. Растворилась.

Начались эмигрантские будни. Будни малоизвестных и никому, по сути, не нужных людей.

Антон подал просьбу о предоставлении ему и его семье политического убежища. Чешские чиновники приняли бумаги вежливо, но без готовности срочно решить вопрос; местные журналисты не шли к нему за интервью, правозащитники не трубили о ещё одной жертве авторитаризма в России, а те, кто уехал раньше Антона, не предлагали помощь.

Почему он выбрал Чехию? Во-первых, давно собирался в ней побывать, а во-вторых, там размещался программный центр радиостанции «Свобода», и вроде бы было логично ему в его положении влиться в её штат. Так поступали многие эмигранты из Советского Союза. От Газданова до Довлатова...

Да, не прошупал почву заранее, не навёл связи, но это служило доказательством, что он попросту бежал, спасаясь от удавки. Его должны бы встречать как героя, а вместо этого он наткнулся на почти полное равнодушие.

Первые недели, впрочем, внешне напоминали отпуск. Прогулки по действительно сказочным улочкам Праги, ужины в ресторанчиках, музеи, выставки, аттракционы... Изматывали частые разговоры по телефону с мамой. Она всё старалась добиться правды:

— Но ведь ты сам написал у себя, что уехал из-за политики. Значит, вы не вернётесь?

— Вернёмся, мам, вернёмся.

— Когда?

— Я уверен, что скоро. Не переживай, у нас всё отлично. А этим плюй в морду.

— Да как же?..

— Просто плюй.

— Легко сказать... Как там Марина, в её возрасте чужая среда, язык... Это же такой удар.

— У Марины всё отлично.

И Антон давал трубку дочке, та щебетала о красоте, зоопарке, танцующем доме. Потом возвращала телефон Антону:

— Бабушка плачет.

— Мам, не плачь. Я вот что думаю: мы как устроимся, заберём тебя оттуда. Здесь чудесно, мам.

— Да как я уеду, ты что!

— Сядешь в самолёт и уедешь. Виза у тебя есть, ещё полтора года.

— Не поеду я никуда!.. Возвращайтесь!..

Антон писал в соцсетях яростные посты; на счета капали деньги. С ними больших проблем не было. Но Прага стала надоедать, у Елены копились дела в Москве, Марина заскучала по подружкам... Антона же изводила та неопределённость, в какой он находился. К тому же срок пребывания в странах шенгена подходил к концу. А превысишь эти несчастные девяносто дней, и могут в будущем въезд закрыть...

О помощи просить было унижительно — Антон чувствовал себя героем, пошедшим против системы без всяких недоговорённостей и компромиссов. Система начала охоту на него, и он отбежал в сторону на то расстояние, где система не сможет его поймать. Нет, сможет, конечно, но не так запросто, как Леонида Развозжаева в домайданном Киеве.

Да, он не просил о помощи, но очень на неё надеялся. Иногда обращался к тем, кто покинул Россию до него или примерно в одно с ним время. Просил совета. Ответы приходили обтекаемые, нейтральные, по сути бесполезные: заключить контракт с каким-нибудь университетом, читать лекции, придумать проект и подать заявку на грант.

Под конец отведённых девяноста дней Антон вспомнил, что у него есть еврейские корни. Вернее, помнил всегда, но тут они могли реально пригодиться.

Собрали имущество, которое уместилось в двух больших чемоданах и трёх рюкзаках, и вылетели в Тель-Авив.

Через минуту после выхода из аэропорта Антон понял, что здесь они жить не смогут. И в глазах Елены, уроженки Брянска, прочитал то же самое. Другая планета, другая атмосфера, другой мир.

Но деваться было некуда, и больше месяца Антон пытался устроиться в Израиле. Его не приняли с распростёртыми объятиями. Наоборот, всячески давали понять, что он самозванец, решивший присосаться к священной земле. Задавали вопросы о вероисповедании, и Антон отвечал, что верит в человеческий разум; израильские чиновники морщились. Спрашивали о еврейской крови, Антон говорил, что бабушка по папе была еврейкой из Витебска, в двадцатые годы стала большевичкой, переехала в Москву, работала в одном из комиссариатов; чиновники снова кривились.

Цены в Тель-Авиве оказались запредельные, сбережения таяли, как лёд на солнце, ручейки поступлений после публикации постов обмелели — писалось плохо из-за жары. Вдобавок макбук умер. Как

сказали в мастерской, они не выдерживают здешней влажности. Разве что держать под кондиционером. В номере, который удалось снять Антону, кондишена не было...

Жара, сломанное орудие труда, капризничаящая дочка, потухшая жена, плоская пустыня за окном... От отчаяния Антон связался с украинскими активистами и спросил, смогут ли они их принять. И последовал прямой ответ с той интонацией, что раньше его сместила, а теперь стала милой, обещающей уверенность и защиту:

— Да какой разговор! Приезжайте! Двери открыты! Всё будет!

И спустя два дня Антон с женой и дочкой оказались в Киеве.

#### 4

В Киеве у него было немало знакомых. В том числе по писательскому цеху, из которого он давно вышел — проза не шла, и он себя не насиловал. Главным для него давно стали тексты в интернете. Как Антон их называл, фельетоны.

Да, знакомые были, но они не спешили с ним повидаться. Даже те, кто вроде как выступали за нового украинского президента Порошенко, разделяли мнение, что Россия захватила Крым, что она стоит за сепаратистами Донецка и Луганска.

Но появились другие люди. Рассказывали Антону об ужасах войны в Донбассе, о жизни в Украине после Януковича; они помогали устроиться.

Атмосфера в Киеве Антону нравилась. Такая — послереволюционная, свежая... Правда, если срав-

нивать с Октябрьской революцией, тут был не восемнадцатый год, а примерно двадцатый: крайне правых, тех, кто шёл в авангарде революции, оттёрли, но так всегда бывает; митингов и демонстраций стало меньше, споры не такие горячие.

Украина пыталась сделаться цивилизованным, европейским государством. Если бы не война на её востоке...

Антон стал писать посты с призывом помочь беженцам с Донбасса, солдатам украинской армии, раненым, покалеченным... Денег поступало удивительно много.

Тем же занимался по ту сторону Трофим Гушин. Собирал средства, отправлял гуманитарные конвои, сам возил лекарства, продукты, да и — он этого особо не скрывал — обмундирование, приборы ночного видения, бронежилеты сепарам...

Андрей Шурандин избрался депутатом Госдумы и с журналистики переключился на практику малых дел: помогал отдельным обитателям рушащегося Мордора.

Много времени Антон проводил перед телевизором. Он поставил «тарелку» и мог смотреть российские каналы. «Россия 24», «Первый», «ТВЦ», «Звезда»... Везде Украина была в центре внимания. И везде продолжали кричать: «Бандеровцы! Бандеровцы!» Антон бандеровцев не видел, речей, восхваляющих Бандеру, не слышал.

Просматривал соцсети бывших приятелей и товарищей. Почти все, казалось, были довольны тем, что творится в России, некоторые явно раскаивались, что участвовали тогда, в одиннадцатом-двенадцатом годах, в протестах, часть восхваляла Путина, делилась фотками из Крыма... Да, Путин

очевидно победил Россию, она была им очарована, видела в нём единственного защитника. Аналогия с Германией тридцатых становилась всё отчётливей.

И Антон окончательно отбросил политкорректность, стал выражаться по-настоящему прямо. «Вы сами заслужили таких слов».

Вот рухнул в Чёрное море самолёт Министерства обороны, на борту которого находились артисты хора Александрова, несколько бригад тележурналистов и врач-филантроп Елизавета Глинка. Самолёт летел на российскую военную базу в Сирии. И Антон написал в «Фейсбуке»:

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед лётчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды — причём самых передовых из них, “Первого канала” и “Звёзды” — клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытаются в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близких мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших анти-мигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инако-

родных уже в мирных российских городах — сотнями, если не тысячами — и в первых рядах строивших новую оруэлловщину, диктатуру и ГУЛАГ...

Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или всё так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно — плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что — совершенно плевать.

Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.

У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль — в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше.

No regrets. They don't work».

Умер юморист Михаил Задорнов, и Антон откликнулся:

«Печальные глаза долу, “о мёртвых хорошо“, соболезнования, христианское всепрощение.

Да фиг там.

Чувак внёс не самый последний вклад в дебилизацию, возвращение скреп, сортирного величия и шовинизма. К строительству говномёта руку он приложил неслабо.

Нет, я не ржу. Они не смешные. Я над ними, пидарасами, не смеюсь. Я их ненавижу.

Помер? Вот и отлично. Одним говном меньше. Земля стекловатой».

Или вот... Режим, да что там — Россия тратит огромные деньги на вооружение, шлёт помощь сепаратистам, строит мост через Керченский пролив, чтоб надёжнее пристегнуть Крым к себе, а внутри страны всё гниёт, рассыпается, тухнет, горит. Пожар в развлекательном центре Кемерово. Это же знак, символ. И Антон отреагировал:

«Одни построили торговый центр без соблюдения противопожарных норм. Другие забили болт на сигнализацию. Третьи брали бабло и закрывали глаза на недочёты. Четвёртые наплевали на пожарные выходы. Пятые заперли детей в кинотеатре и ушли за покупками. Шестые сбежали и даже не попытались спасти. Седьмые, хороня своих сгоревших детей, дают подписки, покорно отдают телефоны и боятся называть свои имена.

Вот я не могу в принципе представить, чтобы меня можно было заставить замолчать в подобной ситуации.

Знаете, в чём дело? Дело в том, что Путин здесь совершенно ни при чём.

Это ваш великодуховный лишнехромосомный народ убил этих детей. А совсем не Путин.

Инфантилизм, идиотия и неспособность выстроить логические связки подавляющего большинства населения этой территории и убили этих детей».

И на следующий день:

«Дорогие мои либеральные соотечественники. Все, кто мне пишет сейчас слова укора. Призывает “опомниться”, говорит, что им за меня стыдно, и прочую высокоморальную херню.

Поймите, пожалуйста, одну простую вещь.

Если единственный способ заставить вашу имперскую вату задуматься о ценности человеческой

жизни — это пожары и смерти, то — гори, гори ясно.

Если единственные моменты, когда ваши великодушные соотечественники перестают лезть ко всем соседям по периметру со своими, сука, флагами, медведями, балалайками, танками и градами, это те моменты, когда они, воя и ломая ногти, хоронят своих близких, — то пусть у вас горит в каждом городе каждый божий день.

Если от убийств других людей ваших имперских имбецилов останавливают только собственные трагедии и если доходит только так, значит, пусть будет так...»

Подписчиков в «Фейсбуке» становилось всё больше, лайки давно перевалили за две тысячи, деньги на счета капали чаще и обильнее. Но больше стало и угроз. И однажды, в конце апреля восемнадцатого, к Антону пришли.

Он тогда уже довольно давно работал на одном бывшем крымском, а теперь киевском телеканале. Вёл передачу о происходящем в России... Пришли двое, под конец эфира, отвели в кабинет шеф-редактора.

Позже Антон пытался вспомнить, что чувствовал, когда шёл за крупным, широкогрудым мужчиной в пиджаке, плохо скрывавшем бугры мышц, а за спиной чувствовал близость такого же. Шёл как под конвоем...

Мелькнула мысль: сдают. Нашли выгодный вариант и сейчас отправят его, Антона, в Россию, а взамен получают кого-нибудь важного для себя оттуда. И стало обидно. Ну и страшно, конечно.

Но быстро понял нелепость такой версии. Не сдадут его. Он слишком известен теперь, популя-

рен, нужен. Мало кто даже среди местных так смело говорит о российской власти... Ради чего-то другого пришли.

Может, задание? Реальное, настоящее. Пусть бы дали гражданство и отправили на передовую. Тем более что его когда-то приятель и соратник, а теперь враг Трофим Гушин взял в руки оружие: стал политруком в батальоне ДНР. Что уж ему, в своё время повоевавшему, торчать в Киеве... Идти так идти, до конца. Жалко, маму там заключут. Надо её вывозить.

Мужчины, этакие киношные люди в чёрном, сели за стол. Жестом пригласили сесть и Антона. Возраст примерно его — слегка за сорок.

— Василий, — представился один.

— Пётр, — другой.

«Не Петро», — с тревогой и странным любопытством отметил Антон и тоже назвался. По имени.

— Антон Аркадьевич Дяденко, — многозначительно уточнил Пётр.

— Да, так...

— Антон Аркадьевич, — заговорил Василий, — мы будем с вами предельно откровенны, так как речь идёт о вашей жизни. Всё очень серьёзно — на вас готовят покушение.

Антон, видимо, рефлексивно усмехнулся, так как Василий неодобрительно покачал головой:

— Прошу поверить. Это не шутки. Убит журналист Шеремет, убит Денис Воронёнков, бывший депутат российской Государственной Думы. Оба граждане России. Оба здесь, в Киеве. Россия кричит, что украинские структуры не могут обеспечить безопасность. Что мы непрофессионалы. Но известно, как трудно предупредить заказное убийство. В случае с вами нам повезло.

От этого «повезло» лицо Антона опять дрогнуло; Василий и Пётр поморщились, как морщатся серьёзные люди, когда им не верят.

— Да, Антон Аркадьевич, именно так: повезло. На нас вышел исполнитель вашего убийства, — такая формулировка была явно умышленна, — и предупредил. Уже почти месяц мы ведём это дело, и вот пришло время сообщить вам.

— То есть, — перебил Антон, — погодите, я что-то не догоняю... Уже месяц ведётся подготовка покушения на меня? И вы только сейчас...

— Нет-нет, никакой подготовки на самом деле нет. Киллер делает вид, что готовится, а мы собираем материал на организатора и пытаемся выйти на заказчика.

— А если организатор или заказчик наймёт другого киллера? Этот, типа, тянет.

Тревога и любопытство исчезли, их сменило негодование, но такое, не совсем настоящее. Антон словно бы находился внутри американского фильма. Он знал, как себя вести, что говорить. Где-то он видел такие сцены...

— Если тянуть, это может произойти, — ровным голосом ответил Василий. — Поэтому мы и решили провести операцию.

— В смысле?

— Мы решили инсценировать ваше убийство и при расчёте киллера с организатором взять последнего. Может быть, удастся перехватить сообщение организатора заказчиком. Организатор у нас под колпаком, но стопроцентного повода взять его нет.

— Мы действуем в правовом поле, — добавил Пётр.

Люди в чёрном замолчали, давая Антону время сообразить, как и что.

Тишина длилась минуты две. Тягостные две минуты. А может, больше.

— Скажите, — спросил Василий, — по какому паспорту вы въезжали в Украину?

— По заграну, конечно.

— Ясно. Тогда вот, минуточку, — он со вздохом поднял прислонённую к ножке стула сумку, достал из неё папку, а из папки лист бумаги в файле. — Вот что нам передал киллер. — Положил на стол.

Это было увеличенное фото Антона из российского паспорта.

— Таких фотографий две, — продолжал Василий. — Одна в вашем паспорте, другая — в московском, как мы понимаем, паспортном столе. Теперь УФС. На этой фотографии нет следов орнамента, который проходит вот тут по краю. Значит, она не из паспорта. Орнамент могли отрезать при увеличении, хотя вряд ли — размер соответствует положенному. Так что наверняка фотография взята из российского государственного учреждения. Это очень серьёзно, Антон Аркадьевич.

Да, именно фото убедило Антона, что это действительно серьёзно. Не игра, не какая-то странная разводка.

— И что, — спросил, — я должен как бы погибнуть, а потом воскреснуть?

— Именно так.

— На сколько?

— Погибнуть? Примерно часов на двенадцать. Мы считаем, что этого будет достаточно, чтобы организатор вышел на заказчика. Или заказчик сам как-нибудь проявился.

— Так, ладно. И кто будет знать, что это... — Слово вылетело из головы. — Это...

— Инсценировка?

— Да. Кто будет в курсе?

— Никто.

— А жена? Мать? Дочка моя?

— Антон Аркадьевич, — Василий постучал файлом по столешнице, — кто может гарантировать, что у них не сдадут нервы и они в последний момент не сорвутся? Единственный шанс провести операцию удачно — стопроцентная достоверность. Понимаете?

— Понимаю. Понимать-то понимаю, но мама, она не перенесёт, если вот так... Включает телевизор, а там... Нужно будет её предупредить. И жену. Дочку можно на эти часы как-то...

Антон вдруг вспотел, его стал бить озноб. Пытался представить, что будет с родными, с теми несколькими друзьями, что у него остались, когда узнают: в Киеве убит Антон Дяденко...

— Фуф...

— Жене вы доверяете абсолютно? — очень строгим тоном спросил Пётр и при этом буквально вцепился взглядом ему в лицо.

— Конечно! Мы с ней семнадцать лет... Она со мной везде, во всём поддерживает. Карьеры из-за меня лишилась.

— В таком случае её можно сделать участником операции?

— Как это?

— Она обнаружит ваш якобы труп, вызовет скорую, полицию. Вернее, — голос Петра стал живее, — вы не сразу умрёте — умрёте в карете скорой помощи.

Антон молчал, стараясь представить, как всё это произойдет.

— Если она согласится участвовать, — продолжил Пётр, — то, естественно, будет в курсе, что это инсценировка.

— Да, она согласится, — сказал Антон.

— Вы уверены?

— Да. И предупредит мою маму.

Пётр посмотрел на Василия. Василий кивнул. После него кивнул и Пётр.

Операция должна была состояться недели через две-три. Киллер пока не получил оружия, организатор явно что-то решал с заказчиком. Может, о цене спорили.

Домой Антон возвращался обычным маршрутом, изо всех сил стараясь вести себя так, будто ничего не произошло, ничего он не знает. А на самом деле его буквально корёжило от ощущения, что за ним следят.

Вряд ли следили, но ощущение это было очень острым, физическим. Словно к затылку прижимали холодный металлический брусок... Потом оно долго не проходило, да, по сути, до самого конца: стоило выйти за дверь квартиры, этот брусок прикладывался к затылку.

По пути завернул в магазин. Нужно было чего-нибудь выпить. Водка показалась похоронной, коньяк — мажорским, пиво — обыденным. Купил бутылку шампанского. И вот так, с ней в руке, как с дубинкой, пришёл домой.

И стал рассказывать жене.

Она вроде как не удивилась и не испугалась. Принимала его слова ровно. И ему даже стало казаться, что до неё не доходит. Пришлось доказывать:

— Тут без вариантов, понимаешь? Или они меня действительно завалят, или мы сейчас разыграем

убийство. И возьмем организаторов. Понимаешь, Лен? У них фото из моего паспорта. Откуда? Паспорт при мне все эти годы, вторая фотка в паспортном столе. Значит, оттуда заказ. Те меня решили вальнуть, без вариантов. Понимаешь?

Нет, она, конечно, всё понимала. Смотрела в сторону и кивала. Времена, когда противоречила, давно прошли. Теперь в основном молча кивала и смотрела в сторону.

5

В последние месяцы Антону часто снилась Москва. Не нынешняя, а та — его детства. Родной дом на улице Правды, двор. Именно такой у них был двор, какие описывал Николай Носов в рассказах, какие показывали в старых советских фильмах про детей. Деревья, незамысловатая площадка с песочницей, горкой, грибком, ракетой, скамейками для мам, а дальше — забор из стальных прутьев и за ним огромный мир, притягательный и опасный. Опасный, потому что там машины.

Машины долго воспринимались Антоном как живые существа. Вроде лошадей, верблюдов, слонов. Люди их тоже приручили, и машины стали возить людей. Обычно послушные, но могли понести (это слово Антон запомнил после десятка сеансов «Неуловимых мстителей», где кони понесли тачанку), и тогда обычный человек, не герой, оказавшийся на их пути, обязательно погибнет...

Иногда, после долгих обсуждений и сомнений, они с соседскими пацанами выбирались за забор и, опасливо прижимаясь к стенам домов, у которых

дворов не было, шли или налево, к Савёловскому вокзалу, или направо, к Белорусскому.

Вокзалы казались им замками из сказок, где происходят чудеса. Там можно исчезнуть, можно сделаться богачом, а можно нищим и остаться там жить, собирая недоеденное другими, клянча деньги (слова «бомж» Антон тогда не знал, но нищих и бездомных видел на вокзалах в изобилии). Там продавали сахарную вату, как в парках; там громкий женский голос объявлял поезда в далёкие города... Антон очень мечтал уехать...

Просыпаясь и прокручивая в голове сон, почти один и тот же — двор, уют, защищённость, поход на вокзал, страх и восторг, зачарованность, тоска по дороге, другим землям, — Антон, нынешний, взрослый, чувствовал, как сильно он соскучился по Москве. Двор вспоминался наяву с ностальгией, а вокзалы, тоска по дороге и другим землям — с отвращением. Остаться в том дворе, за прозрачным забором, навсегда...

Май в Киеве был жаркий, липковатый, душный. Много солнца. При такой погоде хорошо отдохнуть неделю, а жить — тяжело. Мозг замирает, томится, коптится, что ли... За компьютер не тянуло, хотелось пить пиво. Пойти на берег Днепра, открыть бутылочку — этот приятный короткий пук, — делать редкие, но размашистые глотки и смотреть вдаль.

После той встречи в кабинете шеф-редактора состоялись ещё две. Обговаривали детали инсценировки; Антону передали синюю футболку, в которой он будет в день якобы гибели, — вторую такую же футболку в трёх местах прострелят в служебном тире, и Антон наденет простреленную, перед тем как лечь в лужу крови... Ему сообщили, что заказаны

не только он, а ещё сорок шесть человек — журналисты, бизнесмены, политики, переехавшие после Майдана из России в Украину. Антону называли несколько очень известных фамилий.

— Вы, так сказать, у них как опытный образец, — сказал Пётр. — Если всё с вами получится... Получилось бы, — поправился. — Если бы получилось, то стали бы крошить пачками.

— Да, — подключился Василий, — как говорит ваш президент...

Антон дёрнулся:

— Кто это — мой президент?

— Извините, президент России... Как говорит президент России: врагов я уважаю, а предателей презираю. Вас всех он считает предателями. А с предателями не церемонятся.

Двадцать первого мая сказали, что операция будет примерно через неделю. В общем-то, Антону и его семье эти числа подходили — у дочки заканчивался учебный год (её устроили в русскую школу в центре Киева), и жена вполне естественно могла отвезти её в Москву (на жену гонения не распространялись). Решено было так: Елена увозит дочку, потом возвращается, дня три они живут вдвоём, а потом происходит покушение. Слово «убийство» старались не употреблять, но оно проскальзывало. Быстро поправлялись: «инсценировка убийства».

Дни замелькали. В каждом вроде бы умещалось много, а оглянешься назад — пустота. Лишь какие-то мелочи.

Антон много времени проводил с дочкой. Ей было уже двенадцать, и она удивлялась, почему папа так пытается с ней играть, как с пятилетней, сажает на колени, тискает. Елена объясняла:

— Ты едешь к бабушке почти на всё лето, и папа будет скучать. Он очень тебя любит. — И добавляла: — Если что-то плохое услышишь про папу по телику или в сети, не верь. С папой всё будет отлично. Поняла? Поняла, Мариша?

Дочка с показным равнодушием, свойственным подросткам, дёргала плечами:

— Поняла.

Была договорённость, что Елена, приехав в Москву, всё расскажет маме Антона, велит ей оградить Маришу от телевизора и интернета. Но когда именно состоится инсценировка, они не знали, поэтому риск того, что дочка увидит папу мёртвым, убитым, сохранялся.

Те четверо суток, что жена провела в Москве, Антон не выходил из квартиры. Не боялся, нет. А может, и боялся. Но не смерти, а того, что если его убьют в то время, когда Елена будет далеко, это станет чем-то вроде предательства, обмана. В инсценировку он до сих пор по-настоящему не верил: было крепкое ощущение, что его просто водят за нос, мучают этим планом, смеются над ним. А на самом деле киллер окажется настоящий; Василий и Пётр будут сидеть в машине неподалёку и наблюдать, как он, Антон, дёргается на асфальте в агонии.

Тяжело было встречаться с приятелями и товарищами, разговаривать по скайпу и вотсапу с теми немногими, кого он уважал в России, с кем общался. Представлялось, как они сначала не поверят, потом поразятся, а потом долгие двенадцать или сколько там часов будут оплакивать его, убитого, но на самом деле живого. А потом, когда узнают, что жив...

— А может, и не жив! — спорил с собой Антон. — Может, не жив! — И ему уже хотелось, чтобы дей-

ствительно убили: убьют, и он станет настоящим героем, без вариантов.

Грубо и примитивно матеря себя за такие мысли, доставал из холодильника очередную бутылку пива — перед отъездом жены и дочери купил три коробки «Славутича».

Часов по восемнадцать сидел за ноутбуком, читал новости, посты в «Фейсбуке», смотрел программы российского ТВ. Отсюда, со стороны, происходящее на родине виделось особенно абсурдно, сюрреалистично. Постоянно возникали сюжеты для постов. И Антон писал:

«Будни Сверхдержавии. В Мурманске мужик вышел из барака, где жил, и провалился в придомовой сортир на улице. Сосед зашёл отлить, смотрит, в выгребной яме мужик мычит. Ну, подумаешь, в сортире кто-то тонет, эка невидаль. Отлил, развернулся и дальше пошёл бухать. Мужик окоченел в фекальной жиже. Умер.

О случившемся сняли ролик, показали по мурманскому каналу. Величие просто в каждой секунде. Инфантилизм, идиотия, алкогольная деградация, нравственная кастрация, нищета, средневековые и долбаное Северное Конго.

Уж на что я привычный, и то волосы дыбом».

И ещё:

«Способы ограбления россиян растут и ширятся. Вот что сообщает “Медуза”.

Житель Москвы Алексей Надежин обнаружил, что ворота на въезде в садоводческое товарищество, где находится его дом, самостоятельно подписались на платные сервисы МТС. Дело в том, что осенью 2017 года Надежин установил на ворота GSM-реле, которое позволяет открывать их звон-

ком с телефона. В реле вставлена SIM-карта, но сами ворота не могли подписаться на “Полезные советы” и “Автоновости” оператора — устройство не может отправлять SMS и отвечать на какие-либо сообщения, кроме команд с паролем. “Реле успешно пережило зиму, но в конце апреля вдруг перестало отвечать на звонки. Оказалось, что баланс SIM-карты стал нулевым. Сделав детализацию, я обнаружил, что мои ворота подписались на три платных сервиса МТС, причём, по мнению МТС, они это сделали осознанно”, — рассказал Надежин. Оператор списывал по 15 рублей в день за три подписки. Москвич подозревает, что оператор подписывает абонентов на платные сервисы без их ведома, а в детализацию добавляет фиктивные SMS-подтверждения подписок.

Счастья и благосостояния вам, мордорчане».

И ещё, ещё:

«Вести с просторов Сверхдержавии.

Жители посёлка Александровка в Челябинской области избили французскую писательницу и её друга. Причиной инцидента стали трудности перевода. Астрид Вендландт решила несколько месяцев провести на Урале на свежем воздухе, где прекрасные условия для занятий творчеством. Женщина начала общаться с местными людьми на ломаном русском языке. Одно высказывание иностранки было неправильно понято, последовала агрессивная реакция.

“Это ужас здесь был! Они появились подобно трём демонам, один был с кастетом. Я орала «помогите», но на помощь никто не пришёл. Я была с другом Жаном Филиппом, который так похож на Бельмондо. Мы все, европейцы, такие кривые, аморальные люди, источник разврата, неадекватные, они

придумали такую историю, что я хотела туда геев возить. А вообще, у меня нет друзей-геев”.

Прекраснодушная идиотка поехала пожить в этой загадочной, но такой прекрасной России... Ну, надеюсь, теперь мозги на место встанут».

Двадцать седьмого мая вернулась жена, и в тот же вечер к ним пришёл Василий. В спортивном костюме: на вид — обыкновенный городской бегун.

— Пустите? Чайком угостите? — спросил бодро и дружелюбно, одновременно оценивая взглядом планировку прихожей, расположение дверных проёмов...

Устроившись на диване в комнате, сообщил изменившимся, серьёзным голосом, что операцию назначили на послезавтра.

— В двадцать один тридцать.

И дальше следовало подробное описание сценария, сыпались инструкции, детали. Антон старался слушать внимательно, но периодами голос Василия исчезал, и он видел лишь шевелящийся рот, в ушах же возникало гудящее давление. Будто очень глубоко нырнул...

— Антон Аркадьевич, всё понятно?

— Да... да. Понятно.

— А вам, Елена Сергеевна?

— Да.

— Ведите себя натуральнее. Истерик не надо, но волнение должно быть. Вернее, шок.

— Да, — кивала Елена, — постараюсь.

Василий положил на стеклянный журнальный столик фотографию.

— Вот, так сказать, киллер. Он появится ровно в двадцать один тридцать. Позвонит следующим образом: один долгий звонок, второй — короткий. Но

это скорее для порядку — вдруг кто из соседей в глазок в это время глянет. Люди-то такие, подозрительные теперь. Замок будет открыт, Антон Аркадьевич будет лежать...

— Да, вы это говорили уже, — с болью перебила Елена. — Не надо снова.

С фотографии смотрел человек лет пятидесяти. Лицо полноватое, вполне себе добродушное. Не убийцы...

— Тогда — всё. — Василий убрал фотографию в сумку. — Счастливо.

— Да...

## 6

День накануне инсценировки был, наверное, самым длинным в жизни Антона: не знал, чем занять себя, не мог находиться на одном месте. Но показывать свою нервозность было нельзя — чувствовал, жена на грани. Хотя она вела себя как обычно.

Нет, не совсем.

После завтрака долго и тщательно мыла посуду, причём и ту, которую не запачкали, — находила на верхней полке шкафа запывлившуюся, какие-то кастрюли в тумбочке рядом с плитой; потом стала подметать пол, чистить коврик у входной двери. Потом — мыть пол в комнатах... Антон почему-то боялся смотреть на неё, поглядывал искоса, краем глаза, как на чужую женщину. И внутри бурлило, жгло небывалое возбуждение, соединённое с тошнотой. Тошнотой не от Лены, а... От возбуждения тошнило, что ли... Или от того, что было и чему предстоит быть. И выступал из-под кожи, из каких-то глубин

организма — оттуда, где жир, кишки, желчь, — медленно тёк по спине, из подмышек густой, едкий пот.

В этот день он принял душ пять раз. Не помогало. Через некоторое время тело вновь покрывалось, омывалось, может, бальзамировалось густым и едким.

Двадцать девятого проснулся свежим и умиротворённым. Ощущение было: вчера болел, сгорал от вируса и вылечился за ночь. Вирус сам сгорел, испарился.

Было поразительно тихо. Словно не в центре огромного города они находились, а в замке посреди высоких, неприступных гор. Никто их здесь не найдёт, не потревожит... Посмотрел на Лену. Она спала лицом к нему, и на нём такое удивлённо-доверчивое выражение. Как у ребёнка.

Долго лежал, не шевелясь, прислушивался к себе и к тому миру, что за окном, за стенами, и чувство умиротворения не проходило. Различил тиканье ходиков на кухне. Потом мягко загудел холодильник. И эти звуки добавили покоя. Уютного, тёплого покоя.

Вот так бы всегда. Навсегда.

Но проклятая физиология в конце концов подняла с постели — живой не может долго оставаться в покое. Туалет, чистка зубов, умывание, кофе... Сегодня каждая мелочь казалась значительной, каждое своё движение Антон отмечал, будто делал его в первый раз. Или в последний. Сел с кружкой перед компьютером, открыл «Фейсбук». И тут вспомнил, что ровно четыре года назад — день в день — чуть не погиб. Должен был погибнуть, но какие-то силы отвели. Двадцать девятое мая четырнадцатого.

Это была его первая поездка на юго-восток Украины, где уже вовсю стреляло и рвалось. Собирался побывать по обе стороны фронта: тогда он ещё хотел быть журналистом, объективным и непредвзятым. Политические события — одно, а репортажи — другое. Сепаров он называл не террористами и бандитами, а повстанцами, публично сомневался в том, что в Донбассе воюют регулярные российские части, высказывал мнение, что поток оружия из России наверняка не очень большой... Дурачок.

Когда объявил — еду на войну, из ДНР и ЛНР отозвались: приедешь, пристрелим как собаку, у первого же столба. Не с высшего уровня отозвались, но тем опаснее было появляться там, у так называемых защитников русского мира. Бородаю или Захарченко его убийство явно будет невыгодно, а вот какой-нибудь комвзвода казачков вполне может поставить к стенке. А потом сказать: ничего не знаю, мало ли таких валяется по нашим просторам...

Поехал в Украину. В то время это ещё было довольно легко — война хоть и полыхала, но большинство людей по обе стороны границы не верили в серьёзность разлома. Отлаженные механизмы рушатся не сразу — вокруг горит, плавится, а механизм продолжает работать. До последнего. Вот когда это последнее наступает, тогда уж действительно крах и катастрофа.

Это последнее в отношениях Украины с Россией наступило, но позже. А тогда, в мае четырнадцатого, был пожар в Славянске, Донецком аэропорту, под Луганском, в Мариуполе, одесском ДOME профсоюзов. Но механизм ещё работал, люди и там и там ещё не воспринимали друг друга смертельными врагами.

Попал сразу под Славянск, который в очередной раз штурмовали украинские силы. Прибился не к регулярной части — у вэсэушников любые журналисты вызывали, мягко говоря, неприязнь, — а к добровольческому батальону нацгвардейцев.

Двадцать девятого мая Антон узнал, что начальник боевой и специальной подготовки Нацгвардии генерал Кульчицкий, с которым он за несколько дней успел сдружиться, вылетает для осмотра позиций в районе Славянска. Побежал проситься на борт; генерал сначала дал добро, но в последний момент подъехали несколько специалистов, и Антон просто не влез. Расстроился, обиделся, досадовал. А через час тихо благодарил обстоятельства, что остался на земле, — вертолёт был сбит, все четырнадцать человек погибли...

Три недели провёл вблизи передовой. Писал колонки, посты в соцсетях, фотоотчёты. Наблюдал бои под Семёновкой, Царицыным, Красным Лиманом, падающий Ан-30 и три парашютика, появившиеся в небе, — ещё пятеро мужиков остались внутри...

Перед самым возвращением в Россию Антона задержали сотрудники СБУ. Допросы, избиения, камера, вывод на расстрел. По-настоящему, нутром, он не верил, что убьют. После чуда двадцать девятого мая.

Не верил, но предполагал, и было обидно погибнуть вот так, с клеймом российского шпиона.

Выпустили опять же с чудесной лёгкостью. Правда, не отдали планшет, фотик, диктофон...

Россия встретила его как врага. Митинги с лозунгами «Дяденко — пятая колонна России», угрозы, крики: «Выходи, разберёмся!» Тогда, кажется, впер-

вые прозвучал призыв лишить его российского гражданства.

Несколько дней Антон всерьёз ожидал, что за ним придут. И звание журналиста не поможет. «Аккредитация была? Нет? Ну и всё». И упекут за наёмничество. Снимков-то, где он в бронеике и каске среди украинских бойцов, навалом.

Интервью оппозиционным СМИ давал достаточно осторожные. Но не из-за боязни, просто не хотел сжигать мосты. В четырнадцатом ещё на что-то надеялся. Верил не власти, а народу. Что всколыхнётся, встанет на дыбы, сбросит паразитов, вернёт отобранный Крым, извинится за юго-восток.

Не встал народ, не сбросил. Наоборот, всё сильнее прогибался. Человек не только ко всему привыкает, но и начинает уважать, любить, почитать хозяина. Если хозяин его упорно дрессирует. Палкой, плёткой, дубинкой, а иногда кусочком сахара...

Но какое совпадение всё-таки — день в день. Четыре года назад. Так далеко, но и близко... И Антон написал короткое, раскидал по соцсетям:

«Вспомнилось: четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня в вертолёт. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается».

Хотелось думать, что друзья, услышав сегодня, что его, Антона Дяденко, убили, благодаря этому посту не поверят, заметят намёк. Хоть так попытаться предупредить.

Закрыв ноутбук и пошёл к жене. Взял её без предварительных ласк, грубо, молча. Жена стонала, закрыв глаза, не сопротивлялась. Но и не отзывалась своим телом.

7

А дальше наступило и не отпускало состояние как после запоя день на третий или четвёртый. Когда боль, ломота, тошнота проходят, а остаётся истощение. Физическое и душевное. И лежишь почти не двигаясь — трудно даже повернуться с одного бока на другой, — то погружаясь в душное, тяжёлое забытьё, то медленно из него всплывая...

Позвонили. Антон вскочил, на подгибающихся ногах метнулся было открывать — и остановился, застыл. Звонок был один, короткий. И на часах ещё только начало девятого. Кто? Тот, киллер? Или дублёр? У них ведь бывают дублёры? Наверняка...

Посмотреть в глазок? Нет — заметит затемнение там, в крошечном стеклянном кружочке, и выпустит обойму. Дверь обычная, деревянная, советских времён, когда не боялись... Да боялись, и квартирных воров было как грязи, но не ставили стальные. Не принято, и где взять...

«О чём я думаю?» Антон тряхнул головой, в шее громко хрустнуло. Но больно не стало. Как у неживого.

Ещё звонок, длинней, настойчивей.

— Тош, — изумлённый голос жены за спиной, — что не открываешь?

— А?.. Но кто это может?..

— Эти пришли. Они сказали ведь: десять минут девятого.

— В девять тридцать.

— Это потом... А эти — в десять минут...

— А... — Вспомнил, что многое пропустил во время последней встречи, и стало стыдно: жена могла подумать, что испугался.

Подошёл к двери, глянул в глазок. На площадке стоял Пётр, за ним кто-то ещё. Отлегло.

Повернул вправо ручку сначала одного замка, потом второго. Открыл дверь. Из подъезда пахло затхлой прохладой. Такой сквознячок, наверное, гуляет в skleпах с разбитыми окнами.

— Антон Аркадьевич, впустите? — строго и в то же время с ноткой иронии, что ли, спросил Пётр и шагнул на Антона; Антон посторонился.

За Петром следовали ещё трое. В гражданском, естественно, но сидящем как форма. Джинсы, кроссовки, рубашки — разного цвета, а словно одинаковые, в одном магазине купленные... У двоих, несообразно одежде, дипломаты в руках. Вернее, кейсы — крупнее дипломатов и явно металлические, хотя и обтянутые дерматином.

— Здравствуйте... Здравствуйте... Здравствуйте, — произносили, ровнясь с Антоном, и затем снова: — Здравствуйте... Здравствуйте... Здравствуйте, — его жене.

— Шторы! — крикнул шёпотом, но именно крикнул Пётр. — Шторы задёрните!

Елена побежала.

— На кухне сначала!

Расположились на кухне как хозяйева. Защёлкали кейсами.

— Так, Антон Аркадьевич, — принял Пётр из рук помощника футболку, — переодевайтесь.

В футболке было три отверстия. Сквозных. Явно пробитых пулями — на спине нейлон по краям запёкся. На груди отверстия были больше, рваные.

— На специальном манекене пробивали, — сказал Пётр. — Всё профессионально... По легенде, киллер будет стрелять почти в упор: вы открываете дверь, видите пистолет, разворачиваетесь, чтобы бежать в глубину квартиры, и он стреляет.

— Лучше бы в грудь, — бормотнул Антон.

— А вы бы выдержали неподвижное лицо во время всех манипуляций?

Антон не ответил.

— Вот и мы о том же. Переодевайтесь.

Антон торопясь, но всё равно, как ему казалось, страшно медленно стянул ту футболку, что была на нём. Другая оставалась в руке и через рукав пролезла с усилием.

Подал целую жене, надел пробитую. Спине сразу стало колюче и холодно. Колюче и холодно в тех местах, где были отверстия; холод просочился внутрь, и вот стало холодно груди. Как три туннеля сквозь него прорыли.

«Успокойся! — мысленно прорычал Антон. — Успокойся, мудень!»

— А Василий где? — спросил вслух.

— Василий? Василий на месте, не беспокойтесь... Так, — Пётр оглядел его, — штаны нормальные. Это ведь домашние?

— Домашние, — ответила жена эхом.

— Шлёпки — тоже хорошо. Достоверно... Хотите в туалет? Я серьёзно — часа два-три придётся терпеть.

— Не хочу...

— Да?.. Что ж, тогда на грим.

Его усадили под лампой, и двое мужчин занялись обработкой спины, груди, лица. Тыкали в отверстия кисточками то с тёмно-, то со светло-красным, мазали по щекам, губам, лбу. Пахло неприятно — одновременно мясом и краской.

Антон хотел спросить, что это, но не стал. Какая разница... Молчал, прикрыв глаза. Никого не хотелось видеть, даже жену.

— Так, — голос Петра, — хорошо. Что ж, девять ноль семь. Через пять минут — последний штрих. Курите?

Антон не понял, кого он спрашивает.

— Курите, Антон Аркадьевич?

— Нет... Нет, не курю.

Пётр повернулся к Елене.

— Вы-то как? Всё помните? Ванна, выбегаете, звонок в скорую, через три минуты — в полицию. Бригада скорой будет наша, полиция — не в курсе.

— Да, вы говорили.

— Ну, не грех повторить. На вас, Елена Сергеевна, вся надежда. Антон Аркадьевич что-то раскис совсем.

— Я не раскис! — вздёрнулся Антон и почувствовал лёгкие уколы прилипшей к коже футболки. Точно там действительно раны, и коросты срослись с тканью...

— Нет? Ну и славно. Подождём.

Ожидание последнего штриха. Для Антона и Елены изводящее, для остальных... Безымянные мужчины стояли неподвижно и спокойно смотрели на Антона. Не равнодушно, а именно спокойно. Они, скорее всего, с бóльшим интересом смотрели бы, например, на магнетики на дверце холо-

дильника или на хозяйку квартиры, но их подопечным был Антон, и они смотрели на него. Соблюдали профессиональный этикет, что ли. Но это спокойствие было зловещим — как роботы. Или как люди, которые ждут, когда придёт время запустить работа.

Лишь Пётр вёл себя иначе: вертел головой, пересекаясь с Антоном взглядами, подмигивал. Улыбался Елене, покачивался то на носках, то на каблуках, вздыхал, покряхтывал.

Тикали часы. Антон зачем-то стал вслушиваться в тиканье, и оно быстро стало невыносимым. Захотелось зажать уши, вскочить и уйти. Рухнуть в кровать, зарыться, завалить себя одеялом, подушками.

— Так, пора, — объявил Пётр. — Прошу, Антон Аркадьевич, на пол.

Тут же один из мужчин вынул из кейса пластмассовую бутылку с ярко-красным. Почти малиновым.

— Это что? — дрожа голосом, спросила Елена.

— Кровь. Свиная.

— Зачем — свиная?

— А какую надо? Свиная хорошо имитирует человеческую. Артериальную.

Антон медленно, мелкими шагами пошёл в прихожую. Мелкими не от страха — просто каждое мгновение ожидал, что велют остановиться. Так бы хватило шагов пяти, чтоб от кухни до входной двери. Антон был высоким, ноги длинные. В школе всё время тащили в баскетбольную команду...

Пётр придерживал за локоть:

— Вот здесь. Ну-ка приляжьте.

Это неправильное «приляжьте» заставило Антона хмыкнуть, и лицу стало больно. Грим подсыхал, стягивал кожу.

Лёг на живот. Ногами к двери.

— Так, так, — сверху раздумчивый голос. — Правую руку согните, и кисть под себя. Левую откиньте. Да, по направлению к комнате. Вы же туда как бы рванули. Хорошо, та-ак... — Но в голосе появилось сомнение. — М-м, не нравятся мне шлёпанцы. Да и штаны. Нехорошо это выглядит, несерьёзно.

«Что, во фрак надо переодеться?» — про себя огрызнулся Антон. Но снова ничего не сказал. Лежал, ощущая щекой на ламинате мелкие крошки или песчинки; эти-то не разулись...

— Давайте-ка переоблачимся.

Пришлось менять домашние штаны на выходные, песочного цвета, а шлёпанцы — на кроссовки. Вернее, это были не совсем кроссовки. Антону вспомнилось слово из детства — «сланцы». Теперь так называют именно шлёпанцы, а лет тридцать пять назад — вот такие полукеды, полукроссовки. Кажется, по названию города, в котором их выпускали, пошло это название. Стало до зуда интересно, где эти Сланцы находятся. В России? Украине? Белоруссии?

— Ну во-от, так получше. — Пётр оглянулся на человека с кровью. — Пора.

Тот срезал миниатюрными ножничками запаянный носик и стал лить густое и малиновое туда, где ещё недавно была грудь лежавшего Антона. Сейчас он стоял и смотрел на медленно расплывающуюся по ламинату лужу. За его спиной тихо заскулила жена...

— Ложимся, — прозвучала команда, и Антон резко, словно опаздывает, стал опускаться на лужу.

Пётр руководил:

— Да, вот так, на основную туловищем, и чтобы нижняя часть лица... Лицо — направо! Хорошо...

Потом наберёте немного в рот и выпустите, чтобы образовался потёк.

— Кровь в рот... свиную? — голос жены, слёзный и брезгливый.

— Ничего страшного. Она пастеризованная. Да и вообще, свиная кровь очень полезна... Так. Мы уходим. Скоро появится объект. После него — звонок в скорую, затем в полицию. Не перепутайте... Елена Сергеевна, вы с нами?

— Да с вами. Куда я денусь теперь...

В это время кто-то чем-то тупым тыкал Антона в спину. После каждого тычка спине становилось всё более мокро. Наверное, кровью промакивали.

— Главное, спокойствие, — размеренный голос Петра. — Побольше достоверности, но внутри — спокойствие. Поверьте, всё нормально, всё в порядке.

— Всё нормально, всё в порядке, я беру тебя с собой, — тихо запел из кровавой лужи Антон; ему сделалось весело, — я беру тебя с собой в тёмный омут с голово-ой.

— Что, Антон Аркадьевич?

— Всё нормально, говорю. Не беспокойтесь.

— Ну, удачи, господа.

Мужчины пошли к двери. Антон видел только ноги. Обувь. Одна пара, другая, третья. Вот туфли Петра. Чёрные, блестящие, чистые. Осторожно обогнули лужу...

— Дверь не захлопываю.

— Да, — короткое и тоненькое жены.

Антону стало жалко её.

— Лен, — произнёс нарочито серьёзно, чтоб было похоже на шуточный тон, — а ты меня любишь?

И она ответила так же коротко и тоненько:

— Да.

Эта взрослая, опытная женщина просто покорно попискивала.

— Слушай... — Он приподнял голову, но щеке, вынутой из крови, сразу стало неприятно, зябко, и пришлось вернуть её в лужу. — Слушай, всё нормально. Отлично просто. Всё скоро закончится. Сходим в ресторан, отметим. Слышишь?

— Да. — На этот раз не так жалобно.

— Хорошо. Слушай, сфоткай меня.

— Нет!

— Да ладно, Лен. Сфоткай, лет через пять ржать будем. Давай.

Шаги. Сочные шлепки резиновых тапочек. Что шлёпает — подошва о ламинат или ноги о подошву? Никогда не задумывался, не замечал, а теперь стало интересно. Встать бы и посмотреть...

Шаги обратно. Шлёп, шлёп. Тишина.

— Фоткаешь?

— Да. — Уже сдержанное раздражение. Хорошо. Всяко лучше покорного писка.

Щелчок айфона, напоминающий спуск «Смены». У Антона была «Смена», плёночная, тридцать шесть кадров. А на ванночки, увеличитель, фонарь, глянецватель у их семьи денег постоянно не хватало, приходилось проситься к однокласснику — у него дома была кладовка, превращённая в фотолабораторию. Это было чудесно: красный свет, запах фиксажа, от которого плывёт в голове, ванночки, в которых происходит превращение белого листа бумаги в фотографию... Никуда не надо спешить, это не ванная, не совмещённый санузел, в который постоянно стучатся домашние. Тщательно выбрал кадр,

увеличил, выверил резкость, где надо, подсветил, где надо, затемнил... Но одноклассник был всё-таки гадом — пускал не просто так, забирал себе с треть фотобумаги, ещё и реактивами пользовался и постоянно давал понять, что он тут хозяин...

— Ну как, получилось?

— Не знаю.

— Дай глянуть.

— Потом.

Антон не настаивал. Голос жены становился всё более раздражённым, и снова слёзы в нём слышались.

— Не вешай нос, гардемарина, — пропел он, и в рот влилось немного крови. Неожиданно пресной, с каким-то ржавым привкусом.

«Откуда я знаю, какой вкус у ржавчины?» — удивился Антон.

Звонок. Протяжный, а за ним короткий. Жена вскрикнула, а Антон не то чтобы услышал, но почувствовал, что дверь стала открываться.

— Доброго здоровьичка! — хрипловатый приветливый голос.

Не шевеля головой, Антон скосил глаза. На пороге стоял плотный, кажется, невысокий человек в короткой кожаной куртке, шерстяной шапочке. На лице — щетина, почти борода. Типичный, как в фильмах, киллер.

Жена тихонько скулила, явно боясь зарыдать. Антон ответил весело, чтоб её успокоить:

— И вам не хворать!

Пришедший сунул руку в карман. «Неужели?!» Но он вытащил не пистолет, а что-то мелкое. Бросил на пол. Мелкое ударилось о ламинат тяжело и веско. Одно, второе, третье. «Гильзы».

— Ну, прощевайте. — Крутанулся, нарочито громко протопал по площадке; застучали шаги по ступеням лестницы.

— Раздевайся, — сказал Антон жене, — ты, по легенде, из ванны... Обмотайся полотенцем, наследит тут ногами. И — звони в скорую.

8

Часа через два он стоял под душем и с удовольствием мыл своё тело. Живое, белокожее, в меру волосатое, мягкое. Невредимое.

Позади было изматывающее ожидание скорой, переползание с пола на носилки. Испуганные голоса прибежавших полицейских, недоумённые вопросы-причитания соседей: «Что ж это? Убили? Да как так-то? Ничего не слышали... Живо-ой?! Кровищи сколько!»

Позади долгий спуск по лестнице — грузового лифта в их доме нет, — даже ремни не помогали, и Антон сползал с носилок, приходилось держаться за бортики... Погрузка в машину. Снова голоса полицейских, теперь не испуганные, а сердитые: «Отошли, отошли! Дорогу!» И щелчки камер, гаджетов... Кто снимал? Простые прохожие или успевшие сбегаться журналисты? Или сама полиция?

В скорой. Антон хотя и знал, что бригада в курсе операции, но лежал без движения, закрыв глаза. Его ведь предупредили: предельная достоверность везде, в каждой мелочи. Везде могут оказаться предатели, любой может заснять, что он вдруг сел на носилках, или записать аудио его голоса... Врач над Антоном говорил в рацию: «Везём к вам. Состояние

критическое. Три сквозных. Готовьте операционную». А через две-три минуты: «Всё, кончился. Сворачиваем в морг».

От этих слов по Антону прокатилась волна ледяных, щиплющих мурашек. Вернее, две волны — от сердца вверх до кончиков волос и вниз — до ногтей на ногах. Такие сильные и противные волны, что Антон передёрнулся.

— Лежите-лежите, — заботливо, словно он был действительно ранен, сказал врач.

Позади морг. Цинковый или какой там стол. Жуткий стол; до сих пор спина чует его, и струи воды не могут смыть это ощущение холода и мёртвости. Как впитались... И запах этот повсюду — душок подтухшей курятины...

Опознание. По голосу Антон узнал журналиста их телеканала, Халика. Выпускник Таврического университета, он уехал из Симферополя после оккупации Крыма. Стал одним из тех немногих, кто отнесся к Антону по-настоящему душевно, старался помочь. Они подружились.

Халик стопроцентно не знал, что это инсценировка. «Зачем его?»

— А-а! — закричал, когда с лица Антона сняли простыню.

И забился в истерике, рычал угрозы Путину, гэбне, сепарам. Антон, вытянувшись, задержав дыхание, наблюдал за световыми бликами над веками и слушал. И где-то в основании скул, в заглазьях где-то морщился от сочувствия и чего-то похожего на стыд...

Халика увели. Стало тихо. А потом врач сказал с облегчением:

— Ну всё, Антон Аркадьевич, поднимайтесь. Теперь — ждать. Сполоснитесь, и вот в эту комнату.

Это служебная. Мы там вас, извините, закроем. Еда, вода будут. Пакет с одеждой...

— Мне ещё айфон обещали.

— Да, будет и айфон.

И вот, помывшись, надев собранные женой трусы, треники, майку, свитер, Антон прошёл в небольшое квадратное помещенье. Стол, три стула, что-то типа кушетки, вешалка... Здесь наверняка коротали свободное время санитары. А теперь здесь будет он, Антон Дяденко. Неизвестно сколько.

— В туалет, если что, вот в ведро придётся, — кивнул врач в угол, — извините.

— Ясно...

На столе лежал айфон. Не его, конечно.

— А интернет-то есть?

— Есть-есть. Но, вы сами понимаете, с ограничениями... Устраивайтесь.

Врач, да наверняка никакой не врач, а сотрудник того же учреждения, что и Пётр с Василием, вышел, закрыл дверь. А потом ключ в замке два раза со скрежетом провернулся. Антон попадал в обезьянники после акций, и вот там именно так скрежетало.

Сел на кушетку. Отвалился к кафельной стене. Прикрыл глаза. Но спине стало противно, и он выпрямился. Посидел так с закрытыми глазами. Спина устала. Пересел на стул.

Очень тихо. Так тихо, что в ушах гудит. Это от волнения. Не каждый день...

— Не каждый день тебя убивают, — усмехнулся вслух.

Пузатый пакет был на соседнем стуле, и Антон стал вынимать оттуда продукты. Полторашка воды без газа, хлебная нарезка, сырная нарезка, куриный

окорочок, запаянный в полиэтилен... От вида окорочка затошнило.

Отложил в сторону, стал шарить в пакете двумя руками, перебирая какие-то пачки с печеньем, пластиковые коробочки. Искал что-нибудь выпить. Так захотелось, до рези в желудке, в голове, в каждой жилке... Чёрт!..

Чёрт, не могли догадаться, что надо? Профессоры долбаные...

Антон вскочил, чтобы начать биться в дверь, требовать. Хотя бы бутылку пива, сто грамм водки. Святые сто грамм.

Не стал. Опустил кулак. Не дадут. В любой момент его могут выхватить отсюда и поставить перед журналистами. И объявить: это была спецоперация, организатор покушения на известного российского оппозиционера задержан, заказчики установлены...

— Российского...

Можно ли называть его российским? Российский паспорт... Но он не хочет иметь ничего общего с нынешней Россией. Ничего, пока она такая.

Как называли Томаса Манна, Ремарка, когда они уехали из Германии Гитлера? Вряд ли «немецкий писатель». Да у них вообще не «немецкий», а по-другому. Дойч? Дойчер? Германский?.. Ну, не суть... Хотя они ведь писатели. Его можно было называть «русский писатель». «Русский писатель» — звучит. А «русский оппозиционер», «русский журналист», «русский блогер», тем более «российский» — нет. Нет, не то.

В отношении писателя главное — язык, на каком пишет, а оппозиционер, журналист, блогер — другое. Могут писать как угодно хорошо на русском, но с языком их ассоциируют в какую-нибудь пятую очередь.

Он был писателем. Был. Писал рассказы и повести, их публиковали. О них говорили. Ему присылали в «ЖЖ» слова благодарности. Но он бросил. Важнее стало другое. Да. Да, есть периоды, когда проза должна уступить место другому. Прямому высказыванию, реальному действию. Достоевский откладывал свои романы, Толстой. Рылеев шёл на Сенатскую площадь, Гайдар сменил блокнот на пулёмёт...

Но сейчас Антону страшно захотелось описать всё с ним произошедшее. С того момента, когда понял, что в той России нужно или браться за оружие, или не жить. Не участвовать, не быть соучастником. Он — уехал. И вот сидит здесь, в комнатке санитаров одного из моргов города Киева. Сам не знает в каком. Для всех, кроме десятка человек, он умер, убит.

Захотелось описать этот путь. Разобраться, куда он — вверх, вниз. Но уж точно не по плоскости... Не было блокнота, не было ручки... Вот айфон, в нём можно начать... Айфон чужой, его заберут, когда всё закончится... Да и... Антон понимал это, хотя и не желал себе признаваться, — не сможет. Не сможет написать об этом прозой. Получится длинный пост для соцсетей. Не проза. Длинный пост. Много букоф...

Открыл воду, сделал несколько жадных глотков. Пожрать. Пожрать и завалиться спать. И проснуться в другой жизни. После воскресения у него начнётся другая жизнь. Действительно другая, без вариантов.

Разорвал полиэтилен на только что вызывавшем отвращение окорочке и откусил мяса. Да, надо мяса, жира, хлеба. Набить ими желудок. И лечь.

Потрогал кушетку. Мягкая. Хорошо. Выспаться.

Достал помидор из пакета. Мытый, нет? Какая разница... Как в детстве, потёр о штанину и врезался зубами в бок. Помидор брызнул. По кафелю поползли розоватые капли. Прилипло семечко.

Он живой и должен есть. Мёртвые не едят. А он — живой. Его много раз могли убить. В детстве, в Чечне, в Южной Осетии, в Турции.

Да, в Турции чуть не разорвали — в две тысячи тринадцатом, на площади Таксим: приняли то ли за шпиона, то ли за переодетого силовика, снимавшего происходящее на камеру, стали толкать, уронили, пинали; спасла полиция, но арестовала и тоже била, допытываясь, кто такой, почему вёл несанкционированную съёмку. Вмешалось журналистское сообщество, благодаря ему не сгноили в подвалах местной Лубянки, просто выслали.

Могли убить в Москве за любой из тех постов, что писал в четырнадцатом — шестнадцатом. Мог погибнуть, если б сел в тот вертолёт с генералом Кульчицким. Могли расстрелять украинские эсбэушники. Мог выполнить заказ сегодняшний человек «Доброго здоровьичка», а не ввязаться в опасную для него самого игру... Но не случилось, он, Антон Дяденко, — жив. Ха-ха вам всем!

— Ха-ха! Суки! Ха-ха!

Подстёгивая себя весёлой злостью, Антон включил айфон. Без кода, отпечатка пальца. Тут же увидел значок «Фейсбука», ткнул в него пальцем. Зарегистрировано на какого-то ааа777, ни одного поста, друга, вместо фотографии — серый силуэт бюста... Но сначала в новости.

Вбил в «Гугле» свои имя и фамилию, и посыпалось...

«Тремя выстрелами в спину убит журналист и блогер Антон Дяденко».

«На месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту собираются люди с фотографиями убитого час назад оппозиционера Антона Дяденко».

«В Екатеринбурге на площади Труда появился стихийный мемориал в память об убитом сегодня в Киеве...»

«В Москве на памятнике погибшим журналистам возле Дома журналиста прикрепили фотографию убитого...»

«Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать семью убитого в центре Киева журналиста Антона Дяденко. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил убийство и принёс соболезнования родным и близким...»

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Антона Дяденко в Киеве».

«Акция, посвящённая памяти Антона Дяденко, состоится завтра у Соловецкого камня в Москве».

«Как стало известно, на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН будет поднят вопрос об убийстве в Киеве российского журналиста и оппозиционера...»

— О господи, до ООН дошло! — удивился и немного испугался Антон.

Открыл «Фейсбук», стал набирать фамилии друзей. Здесь и там, в России.

«Антон Дяденко убит в Киеве. Он пережил все путинские войны, понял всё, предупреждал, уехал — и за это его обзывали радикалом. Так кто прав?

Господи, как же я устал узнавать, что моих друзей, знакомых, тех людей, с которыми был знаком, убивают. Подло, в спину».

«Я не знаю, кто вы, но я желаю, чтобы в лучшем случае вам было беспокойно всю жизнь, в худшем — харкали кровью. Антоша, мой любимый оппонент и самый сердечный, мудрый человек среди всех нас. Он никогда не боялся быть против всех, даже друзей. Говорить неприятные вещи, спорить с улыбкой, но до конца. Вряд ли бы он вам подставил левую, если бы вы его ударили по правой, хоть он был удивительно мирным и добрым человеком, несмотря на всё то, что он прошёл. И тот, кто застрелил его так подло, в спину, трусливо и мерзко, тот не заслуживает даже собачьей смерти».

«Сегодня в Киеве убили моего друга Антона Дяденко. Антон был одним из самых добрых, милых и хороших людей, которых я знал. Всем нам будет очень не хватать его. И мы поймём это только со временем, потому что второго Дяденко нет. И не будет. Ему просто неоткуда взяться».

И комменты, комменты:

«Это кошмар какой-то!»

«Боже мой, как жалко».

«Ужас! Кто следующий?»

«Не верю! Антоша!!!»

В горле образовался шершавый сгусток, и Антон кашлянул, проглотил его. Но сгусток тут же всплыл и вернулся на своё место. Глаза щипало. Было жалко. Не себя, а того человека, о котором такое писали.

Чтоб разбить это нехорошее, пакостное какое-то чувство, Антон набрал «Трофим Гуцин». Клин клином выбить...

Ну да, этот уже отписался. И как много! А, это не пост, а колонка из одного прокремлёвского СМИ. Быстро они работают... Антон выхватывал из текста куски. Жгущие, едкие:

«Пьяный он становился борзый, не со мной борзый, здесь он всегда оставался предельно корректен, а с окружающим миром. Помню, как он после какого-то митинга стал на пути машины, где сидел то ли Дворкович, то ли Абызов, лимузин сигналил, Тоша не двигался. В итоге машина проехала ему по ноге. Тоша за ней некоторое время бежал, хромая. Кричал что-то...

В 2011 году на митингах протеста мы оба были на площади Революции. Когда все либералы ушли на Болотную, Тоша остался с нацболами, стоял там злой — он хотел движа.

В итоге я тогда, в первом же интервью в тот день, объявил, что с либералами вообще дела не имею отныне, а Тоша, напротив, перебрался в ту компанию. Думаю, он ощущал в той среде себя мужчиной, вожаком — там такие редкость, — он не боялся полиции, дубинок. Не страшился быть избитым, отсидеть свои сутки. Ну, почти ж война.

Однако если б он жил в Москве, ему ещё долго пришлось бы искать тот канализационный люк, куда бы он провалился. Его бы никто не тронул здесь. Много позже он просто спился бы и упал с табуретки. Но потом.

А сегодняшний Киев — это другое.

Зачем его убили?

Если в ближайшее время на Донбассе начнётся обострение — а со стороны ВСУ всё к этому готово, — причина убийства Тошика сразу станет прозрачной. Его убили, потому что правящему Киеву нужен шум».

— Повёлся! — Антон опять захохотал. — А я жив! Ха-ха! Жив, с-суки!

Но хохот оборвался — как-то сам, без его желания, — и новые волны мурашек покатались от груди к голове и ногам. Антона встряхнуло раз, другой, третий. «Холод тут собачий, блин...»

Да, они уверены, что его убили. Что он сейчас мёртвый. Мёртвый, с дырами в груди. Одни злорадствуют, другие рыдают, третьи сжимают кулаки. А он жив. И скоро они об этом узнают.

Представил этот момент, и ему стало страшно. Это будет какая-нибудь пресс-конференция или брифинг, журналисты соберутся, чтоб узнать подробности убийства, услышать, какие у следствия есть версии, улики, а тут — он. Его выведут целого, и все ахнут. Усиленно защёлкают фотики.

Ему придётся что-то говорить. Пётр, или Василий, или ещё кто объяснят перед прессухой, что именно. Но слова вряд ли будут важны. Будет важен он сам, живой. Оторопь у друзей и врагов.

А потом?... Нет, в «потом» он вглядываться не хотел. Если начать, то можно свихнуться. Это как вглядываться в густой туман. Столько намерещится... Ясно одно: его жизнь не будет прежней. И он не будет отныне свободным. Недавно тяготился своей ненужностью, а теперь станет нужен. Местные будут его пасти и охранять, а те — наверняка охотиться. Теперь уже всерьёз. Они умеют. Ведь он наколот — нагло, откровенно — и Путина с Песковым, и Матвиенко, и Следственный комитет.

— И всех-всех-всех, — добавил вслух голосом Пятачка из мультика.

Это не помогло. Его колотило, и он, глотая и глотая царапающий горло сгусток, как при фарин-

гите, оглядел комнатку в поиске одеяла или куртки. Только сейчас заметил на той стене, где была дверь, под потолком, ряд крючьев, небольших, но толстых. Когда-то, видимо, они держали какой-нибудь кабель или трубу. Крючья напоминали кабаньи клыки — сейчас зацепят, подбросят и наткнут на себя...

Кушетка была застелена простынёй. Несвежей. Кто на ней лежал? Во всяком случае, не трупы... Снял, закутался.

Мама... Когда Елена вернулась из Москвы, он спросил, как мама отнеслась к предстоящей операции. «Давай потом об этом», — сказала она таким тоном, что Антон не решился настаивать — догадался: если услышит — всё может сорваться, он откажется. За словами жены маячил выбор: или эта история с убийством, или она, мама. Лучше не уточнять. «Потом».

Потом, да, но уже скоро.

Снова полез в «Фейсбук».

«Антон Дяденко очень жаль. Он был молодым человеком, полным сил и страсти. Его смерть — страшная несправедливость и демонстрация звериной бессмысленной жестокости, презрения к человеку и ненависти к свободе, кто бы ни были те звери, которые это задумали, и те другие, которые это сделали.

Надо каждому из нас продолжать делать своё дело, чтобы звери не праздновали свою победу над нами и не убеждались, что их звериная жестокость оказывается эффективной. И ведь вот что важно: каждому из нас есть что делать в это время дикости и озлобления, в этом страшном мире, в этой несчастной стране, в каждом из этих бесчеловечных городов.

Надо стараться дожить до того момента, когда обезумевшие в своей злобе звери и прислуживающие им скоты будут собраны вместе и наказаны. И важно быть готовым к этому моменту, не пропустить его, когда он придёт».

Это писал Сергей Пахоменко, один из тех, кто уводил тогда, в декабре одиннадцатого, людей с площади Революции на Болотную. С тех пор он был для Антона врагом. Не явным, но непрощаемым. Когда нынешний режим рухнет и начнётся сбор тех, кто поведёт Россию по новому пути, Антон приложит все силы, чтобы Пахоменко не было среди ведущих. Он в своё время поводил, хватит.

Но сейчас от его слов стало теплее и как-то свободнее в горле. Сгусток исчез. На секунды. Потом пришла мысль, а за ней холодный озноб, горечь, булькающая тошнота. Да, мысль: «А что напишет Пахоменко завтра?» Завтра, когда окажется, что он жив...

Пахоменко знает об отношении Антона к себе, наверняка читал его посты. Да, читал, читал и отвечал резко, с раздражением. А этот пост написал пусть и искренне, но для пользы дела. Своего дела. В чём оно заключается, Антон так и не разобрался. Щиплют режим своими постами, выступлениями на «Эхе Москвы», колонками в «Новой газете», но, кажется, падения его, режима, не хотят. А Антон — хочет. И идёт ради этого на всё. Эти, типа Пахоменко, объявившие себя эмигрантами, то и дело ездят в Россию, а ему путь туда заказан. Особенно теперь, после сегодняшнего...

«Будь ты проклята, Россия, — прочитал он на странице своего друга и соратника, живущего в Москве, — пожирающая лучших своих сыновей».

В этой короткой записи была сила тех древних времён, когда проклятия ещё не стали пустым ругательством, брехнёй, а — сбывались. Когда проклятый на глазах племени покрывался язвами, скрючивался и изгнивал.

— Будь ты проклята, Россия, — медленно повторил Антон, вслушиваясь в каждое слово, в каждый звук. — Будь ты проклята, Россия.

Запись опубликована сорок минут назад; Антона потянуло открыть новости и посмотреть, не рухнула ли Россия в преисподнюю. В лаву и магму. Стало страшно за неё. И не потому, что там мама и дочка, а... Страшно было представить, что там, на месте России, чёрная пустота...

А может, Россия давно проклята и эти, вроде Пахоменко, знают? И потому не хотят реально менять. Зарабатывают на этой проклятости, показывая миру язвы и струпья. Какие у нас коррупционеры во власти, какие плагиаторы в науке, садисты в полиции, воры в бизнесе... И одновременно берегут их, как берегли уродов в цирке позапрошлого века.

И он, Антон Дяденко, для большинства такой же. Вместе с этими.

А он не такой — он хочет изменить. Разрушить Мордор — чёрную страну сделать светлой. Он хочет революции. Но как это докажешь? Тем более сидя здесь, не в России. Посты, колонки не то; Пахоменки только кивают: молодец, льёшь воду на нашу мельницу. А мельница ничего не мелет, жернова вращаются впустую.

И украинцам наверняка он нужен не для настоящей борьбы, а как мелкая собачка, которая громко лает. Лает, но загрызть не способна. Лай привлекает

внимание, создаёт напряжение. Властям — любым — выгодно держать народ в напряжении.

— Фигня это всё, — сказал себе Антон и поднялся, прошёл по комнатке. — Всё нормально. Всё должно быть так.

Взял айфон, посмотрел на экран, уже забыв, что там, от какой записи мысли его увели.

«Будь ты проклята, Россия...»

— Да, правильно. Такая — должна быть проклята. Хочет жить под людоедами, пусть знает: она проклята. Горит, рушится, тонет... Чёрт, как же холодно! — Антон сел на кушетку, стал кутаться в простыню плотнее. Её край врезался в шею, надавил, как ошейник. Или петля.

Покрутил головой вправо-влево, чтоб ослабить. Не получилось. Мерзкое ощущение. Догадывался: оно теперь с ним навсегда.

# Девушка со струной

## 1

Он считал себя лучшим. В своём деле. Иначе и не может быть — даже самый оголтелый пункер или радикальный психодел, отрицающий все законы написания текстов и музыкальной гармонии, громко и сочно плюющий на популярность, поклонников, внимание, на самом-то деле мечтает стать лучшим. Просто не может. И завидует тем, кто может. Ведь их, лучших, слушают, их песни потом поют на тусовках, сторожат новые треки в инете.

Да, он считал себя лучшим и был таким. Не для всех, но по крайней мере в своём кругу.

Сегодня невозможно подняться до уровня Цоя, Гребня, Летова, будь ты в сто раз талантливей. Не то время. Но быть подобным Цою, Гребню, Летову для нескольких сотен — возможно. Это у него получилось. Вернее, он, Володя — Вэл — Собольцов, этого добился.

В семнадцать, сразу после школы, приехал из маленькой деревушки на севере области в Екат. Не

стал никуда поступать; у него имелось восемь песен — они должны были дать ему жильё и пропитание. Восемь отличных песен.

И он не ошибся: появились слушатели, быстро ставшие друзьями, они вписывали, кормили, устраивали концерты... Говорят, квартирники ушли в прошлое. Нет, и сегодня запросто могут собраться человек двадцать, скинуться по пятисотке, чтобы послушать настоящее. Вживую.

Постепенно подобрались музыканты. Барабанщик, басист, скрипач. И родилась их группа. Играли и здесь, в Екате, и в Перми, Челябине, Тюмени, добирались до Питера, Москвы, фестивалей на Чёрном море.

Где-то далеко, в потустороннем мире, маячила угроза загреметь в армию, там, в том мире, существовали люди с уютными, своими квартирами, машинами, работой по восемь часов пять дней в неделю. Дачи, дети... Где-то там осталась мама в ветшающей избёнке.

Вэл отправлял ей деньги — немного и по возможности. На пяточке «Для письменного сообщения» в квитанции торопливо черкал: «У меня всё хорошо. Обнимаю».

Он не врал — действительно у него было всё хорошо. Силы на кочевую жизнь имелись с избытком, энергия не испарялась, тексты теперь писались по десятку в месяц, на них без особых усилий ложились мелодии. Алкоголь, трава, колёса не мешали, а помогали внутреннему мотору не снижать обороты.

Липли поклонницы. Вэл был крепкий, хотя никогда специально не занимался поддержанием формы, широкоплечий, высокий... Однажды он вычитал, что Чехов написал про уральцев: их, мол, дела-

## Девушка со струной

ют на заводах, роды принимают не акушеры, а механики. Сначала разозлился, но потом сам стал это повторять, даже песню сочинил:

Мы — брак чугунолитейных заводов:  
В сплав сыпанули горсть руды не той.  
Так появились мы, чугуноподобные люди  
С незастывающей, вечно горящей душой...

На очередной вписке покопался в компьютере — тогда у него ещё не было смартфона, — узнал, что их деревня возникла триста лет назад при заводе и жители — потомки рабочих. Завод давно исчез с лица земли, даже места, где он находился, никто не мог указать, а люди вот продолжались.

Вэл представил своего отца — огромного, молодого, сильного. Всё рядом с ним становилось игрушечным и хрупким. Не зная, что делать со своим здоровьем, куда тратить силу, отец пил стаканами, сигареты подмачивал и сушил на батарее, чтоб были крепче.

Но оказался и он сам хрупким, как чугун. В тридцать шесть лет поднял зарывшийся по капот в грязь передок жигуля на их улице, держал на весу, пока мужики подкладывали под колёса жерди и лапник, а потом заболел, перестал вставать и умер от болей в животе. «Надорвался», — говорили соседи без удивления. Констатировали. Подобных историй вокруг было полно.

Гроб на кладбище несли восемь человек.

Вэлу было четырнадцать, и он отлично запомнил себя на похоронах. Его трясло. Но не от горя по отцу, а от страха — страха, что он навсегда останется здесь, с матерью.

«Теперь один ты ей помощь, — повторяли люди. — На тебе, парень, хозяйство».

Ему хотелось закричать: «Нет! Не хочу!» — но он молчал: нельзя спорить на кладбище, за поминальным столом. Он молчал и твердил мысленно обрывки строк из песни «Нау»: «Бриллиантовые дороги... следы оставляют боги... чтоб вцепиться в стекло, нужны алмазные когти...»

Уехал. Убеждал себя, что не виноват. Были бы братья, сёстры — не осталась бы мать одна, кто-нибудь полюбил бы эту деревенскую жизнь. Почему родили только его?.. Он — не полюбил. Он создан для другого.

Многие уверены, что созданы для другого, и обманываются. Он не обманулся. Он двигался вперед, вцеплялся в стеклянную стену алмазными когтями.

Но всё оборвалось в один миг. Удар — который он даже не успел отметить — и чёрная пустота. Без полёта по коридору к свету, без души, смотрящей сверху на лежащее тело. Ничего, чернота. Может, удар был не таким сильным, а скорее, не всем, наверное, дарятся эти видения за гранью жизни. По крайней мере, там, за гранью, он ничего не увидел; или не пересек её, зацепился...

Шёл в хорошем таком состоянии после бессонной ночи, приятной болтовни с близкими людьми, нескольких выкуренных косяков, которые медленно отпускали. Над городом вставало ещё не спящее глаза, весеннее солнце, улицы были пусты и тихи, просторны, но далеко за спиной зазвенел трамвай. Наверное, первый.

И чернота. Его сунули в ничто. Он исчез.

А потом — короткие, судорожные возвращения. Словно на секунду — нет, меньше — выныривал из

плотной глубины на воздух... Вэл когда-то в детстве тонул. Было почти так же. Но тогда он понимал, где он, что с ним, как можно спастись; видел берег, знал, что где-то рядом есть дно. Тогда он помнил, кто он, а здесь выныривало из неизвестности в неизвестность какое-то существо без имени, без памяти, оно не знало, что нужно делать, чтоб снова не захлебнуться пустотой.

Видел белое мельтешение над собой, слышал металлический звяк, прерывистый писк, сдавленные голоса. Случалось, успевал различить людей в масках на лицах, оставляющих только глаза. Позже, через десять или, может, сто коротких возвращений, стал отмечать одну девушку, перепуганную, но красивую, на которую тянуло смотреть (инстинктивно обрадовался, что способен воспринимать красоту), и другую, смутно знакомую, но неинтересную — даже не хотелось вспоминать, откуда она знакома...

Все говорили что-то ему и между собой. Слова вязли в густом пространстве, будто он действительно лежал на глубине, под толщей. Доходило лишь бу-бу-бу. У людей в масках оно было деловитым, у красивой — быстрое и слезливое, а у второй — успокаивающе-печальное, быстро обвивающее сном. Сном, после которого можно проснуться таким, как они. По ту сторону толщи.

Боли он поначалу не чувствовал. Но сколько длилось это «поначалу» — не знал. Вообще время изменилось. Оно возникало, когда он появлялся из пустоты и пытался всплыть, и исчезало, когда пустота утягивала его в себя.

Боль пришла. Не такая, как бывает после ушиба или перелома, — боль была другой, какой-то общей.

Она резала и кости, и мясо, внутренности, мозг. Она была одновременно и невыносимой, и в то же время как бы не совсем его... Его словно бы разобрали, оставив лишь нити вен, нервов, жил, и боль шла по ним из полуотделённых кусков тела к голове. Но и в голове всё было разобрано, разъято, висело на нитках...

Однажды Вэл вынырнул, хлебнул воздуха и не погрузился обратно, как бывало. Остался. Закачался в обжигающих, кипящих струях. «Ни фиги я вчера накурился! — слепилась первая мысль, и тут же возмущённое недоумение: — Зачем меня держат в горячей ванне?!»

Он хотел вскочить, но не получилось, что-то сковывало, мешало. И — боль. Такая боль, что он снова стал тонуть. Сотни пил врзались в него, зароботали.

Вэл тонул и тут же поднимался. Как поплавок удочки, на крючке которой крупная, зубастая рыба.

Над ним появился человек. Без маски. Мужчина. Всмотрелся и спросил:

— Бу-бут?

И затем, как эхо, пришло слово: «Болит?»

Вэл застонал, дрожа веками.

— Это хорошо, что заболело. Значит, живой. У мёртвых ничего не болит. Ноги как — болят?

Слова тоже доставляли боль — падали на голову камнями. Но это было лучше, чем давящая толща и глухое «бу-бу-бу». И Вэл снова застонал, утвердительно: болят.

— Отлично! — радовался человек. — А руки? Руки? Левая рука болит?

Она не просто болела — её выворачивало, жевало. Вэл попытался увидеть — скосил глаза, их зали-

ло горячим. «Зачем льют кипяток?» Но перед тем как зажмуриться, успел заметить: рука висела на чём-то вроде штатива и была от кисти до локтя проткнута спицами, прикреплёнными к кольцам. Кожа багрово-синяя, ногти как тёмный виноград...

Полежав в полуотключке, дождавшись, когда пилы перестанут кромсать, вспомнил страшное ещё по школе — «аппарат Илизарова». Одноклассник на мопеде раздробил ногу, и ему поставили такой аппарат.

— Хорошо, хорошо, — приговаривал, посыпал человек словами-камнями. — Жить будем. Сейчас поспим, сил наберёмся, а потом и станцуем, может. И споём...

Он что-то поделал рядом, и в Вэла стало капать не горячее, а тёплое, сладковатое, уносящее не в толщу тёмной пустоты, а в морской заливчик... Где это: Утриш? Лиска? Новый Свет?..

С этого момент началось возвращение. Медленное, трудное, страшное и удивительное. Позже он думал, что походил в те недели на похороненного заживо, который упорно выбирается из могилы. Да так оно, по сути, и было.

Общались с ним в основном санитарки и врачи; постепенно он запомнил имя и отчество того, кто появлялся чаще других, — Борис Львович. Девушки возникали изредка, смотрели на него ожидающе и исчезали. Но вот красивая подошла, долго вглядывалась в его глаза и не исчезла.

Вэл попытался улыбнуться — в палате от её лица стало светлее. И она улыбнулась, заговорила:

— Здравствуйте! Как вы?

Хотел ответить, но рот не слушался — столько сил, чтоб произносить слова, ещё не накопилось.

— Ему нельзя, — объяснил голос Бориса Львовича. — Говорите вы. И постарайтесь быть лаконичной. Гаишник названивает по три раза на дню — рвётся допросить. Завтра, край послезавтра утром я буду вынужден его впустить.

— Да-да, — девушка готова была заплакать, — я постараюсь. Я... — Она снова всмотрелась в лицо Вэла, точно не доверяя, что он слышит. — Дело в том, что я... это я вас сбила. Из-за меня вы вот так... Я... — Она выхватила откуда-то бумажный платок и стала промокать им глаза. — Простите меня, простите, пожалуйста...

Камни падали, падали на голову. А там, под черепом, лежал отбитый, накачанный лекарствами мозг. Вэл не мог морщиться, лишь дрожал скулами и часто моргал.

Воспринимать сказанное было и больно, и трудно. Он старался заглушить боль, любясь красотой говорившей, наблюдал, как быстро шевелятся её губы, приоткрывая белые, как подушечки «Орбит», зубы... Вспомнилось или придумалось: «Красота врачует». Действительно врачевала.

Но слова-камни нужно было принимать — они касались его, объясняли, что с ним случилось, почему он здесь.

— Я уже наказана, Владимир, поверьте. Я так мучаюсь... Мы — я, папа — мы готовы на всё. Лучшие препараты, все условия, отдельная палата... Только, пожалуйста... Мне стыдно... — Красивая промакивала глаза, они блестели всё ярче. — Только, Владимир, пожалуйста, не пишите заявление. Я не перенесу суд, остальное. И мама... И для папы это будет удар, понимаете... Я отравлюсь тогда на первом же допросе... Пожалейте нас...

Она замолчала. Всхлипывая, смотрела на него. Ждала. Ухоженная и покорная. Это всегда трогает, когда такие девушки становятся покорными... И Вэл кивнул; тут же сморщился от рези в голове. Понял, что кивнул слишком сильно. Когда резь стала слабеть, выдавил:

— Да.

На её лице появилось удивление. Подержалось и сменилось благодарностью. Она погладила его правую, здоровую руку.

— Спасибо. Спасибо огромное. Мы вас не оставим... Спасибо...

А на другой день с ним разговаривал инспектор по дознанию из ГИБДД. Правда, разговора не получилось — инспектору пришлось рассказывать, как всё произошло.

Вэл шёл по тротуару, а красивая, которую звали Ольга, не справилась с управлением и вылетела с проезжей части. На безлюдной утренней улице на сотни метров был один только он, Владимир Соболев, и такое вот совпадение — машина нашла именно его.

— Должно было банальное дэтэпэ случиться, а вот как вышло. — Инспектор вздохнул. — М-да... И вы действительно ничего не помните?

— Нет.

— М-да-а... — Вздох протяжней и горше. — Конечно, удар, сотрясение. Месяц комы...

— Седации, — поправил голос не видимого Вэлом врача.

— Ну да, ну да... Прискорбно, конечно... И Ольгу Константиновну жаль — совсем молодая девушка, и с таким клеймом оказаться может... Но ведь у вас, Владимир Викторович, гм, в организме обнаружи-

ли... — Инспектор замялся наверняка специально, пристально смотрел на Вэла. — Гм, наркотические средства обнаружили.

Вэл выдержал его взгляд. Да, выдули они тогда немало, но это вряд ли относится к делу — сам инспектор говорит, что он шёл по тротуару. Не скакал ведь по белой разделительной полосе...

— Нет, я всё понимаю, — продолжил инспектор мягко и каким-то оправдывающимся тоном. — Я понимаю: музыкант, неформальная жизнь. Но и вы поймите: реакция замедляется, сознание, гм, изменяется. Были бы в форме, могли бы отскочить... Нет, я не оправдываю, просто должен предупредить, что в случае открытия дела очень много чего завертится, расхлёбывать придётся долго. По мне, так лучше без этого. Договориться... Составим протокол, что вырвало шаровую опору. А? В том месте как раз такие колеи... куда дорожники смотрят... Обстоятельства непреодолимой силы... Они... ну, Ольга Константиновна... готовы компенсировать. Я бы на вашем месте договорился. — Подождал. — А? Владимир Викторович?

И Вэл снова сказал:

— Да.

Спустя время, перебирая в голове эти разговоры с Ольгой и инспектором фразу за фразой, оценивая своё согласие не писать заяву, Вэл каждый раз приходил к одному выводу: ни она со своим богатым отцом, ни этот старлей-инспектор не были гадами, не разводили его. Может, инспектор предлагал «договориться» бескорыстно. Зачем, типа, действительно портить жизнь девчонке? Зачем вся эта возня со сбором материалов, доказательств? Суд, адвокаты, прокурор, её попытки выгородиться, его,

Вэла, усилия если не посадить её реально, то уж точно впаять условку. Ведь не будет же он на заседаниях говорить: ничего не помню, ничего не знаю, упал-очнулся-гипс... Зачем тогда в суд пришёл?.. Ну, там адвокаты должны включиться, но их ещё нанять надо, платить им... Наверняка придётся врать, что траву один пыхал, сам собрал, засушил, никого не угощал... Тьфу...

В общем, дело не завели, чем там отделалась Ольга, он не знал, да и не хотел знать. Насчёт помощи не обманула: из реанимации перевели в отдельную палату, лекарства ему поступали такие, каких в государственных больницах не видывали, медсёстры были добрыми. Сама Ольга приходила раза по три-четыре в неделю, приносила фрукты, разную вкуснятину из магазина «Гипербола» для состоятельных слоёв.

Первое время она разговаривала с Вэлом с неизменной жалостливой нотой, вела себя как виноватая, но потом стала смелее, шутила, делилась впечатлениями о его песнях, которые нашла на музыкальных сайтах. Многие хвалила и смотрела на него восторженно. Глаза поблёскивали, и ему даже стало казаться, что она в него влюбилась.

«А что, — думал, оставаясь один, лёжа на измученной, зудевшей несмотря на все процедуры, крема и порошки, спине, глядя на подвешенную, медленно сраставшуюся руку, — было б неплохо. Красивая, небедная, стопудово со своей квартирой. Пора выбираться из андеграунда. Бобом Диланом я уже не стану».

Куда чаще Ольги — каждый день, а то и по два раза — у него бывала другая, та, которую смутно узнавал, всплывая на мгновения из пустоты.

Вторую звали Ирина, красотой она не цепляла, но была заботлива и одновременно тиха. Не лепетала, не тараторила. Сидела на стульчике в углу палаты молча, если Вэл в ней не нуждался. Когда просил, рассказывала городские новости, какая погода, читала электронные книги, посты в «Фейсбуке».

Постепенно он вспоминал её все лучше, подробнее. Не потому, что возвращалась память, — многие часы, а по сути, сутки за сутками, проводимые в бездействии, однообразно, заставляли мысленно уходить в прошлое, просеивать его через мелкое сито. Любая мелочь могла стать алмазиком, пустяк — событием, кем-то когда-то рассказанный анекдот, над которым тогда даже не улыбнулся, теперь веселил так, что Вэл стонал от приступов смеха.

Ирина... Только сейчас, здесь она выделилась из сотен людей, которых он периодически видел, встречал в той, до аварии, жизни. Она приходила почти на все их сейшены. Не лезла, как большинство девок, после выступлений с предложениями потусить или глупыми вопросами типа: «А что ты в этом куплете имел в виду?» Громко не хлопала и не визжала в финале очередной песни. Сидела, слушала, смотрела на него. Смотрела не влюблённо, а слегка грустно, что ли, или умно, или просто задумчиво. Вэл, как ему казалось, и не обращал внимания на этот нейтральный, не подпитывающий энергией взгляд. А вот теперь оказалось, что помнил. Может, он вообще всё помнит, каждый день поминутно, — нужно только остаться надолго одному, не двигаться, и его прожитые двадцать девять лет развернутся огромным подробным полотном...

## Девушка со струной

Остальные парни из группы тоже не выделяли её, и она ни к кому не цеплялась. Так — приходит, платит свою пятисотку или сколько там стоил билет, слушает, уходит.

Нет-нет, что это он, — память открыла новую дверцу, — она выделялась, конечно, у неё даже был свой никнейм. Он не заменял имени, а использовался вместо него. Имена, данные при рождении, в тусовке ничего не значили, людей выделяли по чертам характера, поступкам. Её вот называли Девушкой со струной.

И сейчас, вспомнив, Вэл радостно опознал:

— Девушка со струной!

Она заулыбалась, стала кивать. Улыбка была счастливой, искренней и поэтому некрасивой. Улыбаться ведь учатся, а она, наверное, не училась. Или в этот момент забыла, как правильно надо...

Но улыбка быстро исчезла, появилась забота, ожидание, что он что-то попросит, — ведь зачем-то позвал, — желание как-то помочь.

Как ему можно помочь, распыленному на кровати? Единственное — не бросать насовсем, но и не донимать вниманием.

Она сидела в сторонке, а он вспоминал. Концерты, тусы, поезда, гостиницы или вписки, репетиции, споры, пропахшие слюной микрофоны. Всё это было теперь так дорого и казалось навсегда потерянным... Он боялся смотреть на левую руку, боялся двигать пальцами. Это будет хуже смерти, если рука окажется полумёртвой. Ему она необходима вся, до последнего капилляра.

Отгонял разъедающие голову мысли, старался находить светлое, забавное — то, что быстрее поможет вернуться.

Ирина была из забавного. Так теперь оказалось. Из забавного, но и трогательного. Именно то воспоминание, что лечит. Именно то...

У Вэла часто рвались струны. Особенно вторая. Бывало, доигрывал без неё, но, если предстояли песни со сложными партиями, приходилось прерывать выступление, натягивать новую. И однажды замены не оказалось.

Вэл пожаловался в микрофон:

— Вот ведь — хотел зайти за запаской... Извините, друзья, придётся продолжать без наших душевных запилов.

И тут внизу, под сценой, поднялась рука с конвентиком:

— Есть струна! Есть, держите.

С тех пор эту девушку стали называть Девушка со струной. Случалось, Вэл специально рвал струны, зная, что у неё есть запасные. Это было круто — преданная фанатка помогает группе.

## 2

Её любимым фильмом была «Асса». С детства. Многого она ни тогда, ни теперь в сюжете не понимала, но ей очень нравилась главная героиня — милая, открытая, лёгкая и при этом умная, с необычным, волшебным именем Алика. Она хотела стать такой же. Только чтоб у неё не было этого старого и злого то ли мужа, то ли любовника, а был весёлый, с чужинкой музыкант, похожий на Бананана.

Может, такие и жили в восьмидесятые, но Ирина в восьмидесятые только родилась, а мир стала познавать в середине девяностых, когда чудакова-

тость, оригинальность, вообще романтика оказались признаком неполноценности.

В то время над поэзией смеялись, рок был музыкой родителей-неудачников, а фильм «Асса» кто-то из одноклассников Ирины назвал отстоем. Тогда она услышала это слово впервые. Отстой...

Её в последних классах тоже считали отстойной. Не травили, не говорили открыто, но она чувствовала, знала, что считают. Она была нужна тем, кто бы мог и хотел её затравить, — она хорошо училась и помогала им, давала списывать, переводила слова учительниц на их язык — язык будущих гопников.

Её терпели, ей пользовались, но с ней не дружили.

У них была своя музыка — «Мальчишник», Богдан Титомир, «Любэ», какие-то рейв-группы, названия которых Ирина не знала и не хотела узнавать.

Её «Аквариум», «Адо», «Тёплая трасса», «Африка», феньки и длинные пёстрые юбки вызывали ухмылку... Да и некрасивой она была. Она сама это знала.

Она могла придать лицу приветливое, соблазняющее выражение, но удержать его не умела. И когда неожиданно взглядывала на себя в зеркало, пугалась какой-то угрюмости или, может, кирпичной серьёзности. К такой вряд ли кто захочет подкатывать... И фигура — вроде бы, по канонам, нормальная: не коротконожка какая-нибудь, грудь бугорками, тонкая шея, и в то же время, что называется, костистая, узловатая.

Да и не в костистости дело... Однажды — Ирине было лет семнадцать, самый мучительный возраст — услышала на улице обрывок разговора. Две женщи-

ны шли и говорили. И она ухватила именно тот обрывок, который ей всё, кажется, объяснил о себе.

— Вот я не понимаю, чего они в этой Женьке находят. Она ж страшная как я не знаю что, — удивлялась одна, а вторая отвечала усмешливо-безысходно:

— А мужикам и не нужна красота. Им манок нужен.

— Какой манок ещё?

— За каким они побегут, как кобели за сукой.

— Течка, что ли?

— Вроде того. Только у баб другой манок — похоть или как это называется... В общем, это самое в ней должно быть, течь из неё. Вот из Женьки оно течёт. Из глаз, из губ, из жопы. Отовсюду. Из кожи самой. Видела, кожа у ней какая — прямо не отодрёшься. Вся целиком страшная, а везде у неё манок. И мужики липнут.

— Да?.. И как сделать, чтоб он был, манок этот чёртов?

— Никак, Настюш. Ни-как. Притворяться можно, что он есть, но мужик быстро заметит. И убежит. И ещё мстить будет, что обманула... От природы зависит — она даёт.

И словно действительно сама природа подтолкнула к ней на людной улице Куйбышева этих неюных и наверняка не очень-то счастливых женщин — чтоб поняла: у тебя манка нет, прими это и успокойся.

Но замуж вышла рано — на втором курсе. За однокурсника. Он был у неё первым, и она у него первой. Встретились, как говорится, два одиночества. Два одиночества без манков и с желанием секса. Пожили вместе в съёмной однушке неполные два года и разбежались.

Ирина вернулась к родителям. Старший брат как раз женился и съехал, и трёхкомнатка в доме тридцатых годов, с большими окнами и высокими потолками, стала совсем просторной и тихой. Родители большую часть времени проводили у себя, Ирина — у себя. Собирались на ужин, накрывали стол в зале.

Окончив универ, она удачно устроилась в отделение Росгосстраха, где и работала, прилежно и старательно, уже двенадцатый год. Поднялась до заместителя начальника филиала. От родителей давно съехала, купила в ипотеку двушку недалеко от офиса. Завела кота Ключу.

Мужчины случались. И довольно часто. Но... Да, «но» — огромное и непреодолимое, как стена. Но мужчинам просто нужно разнообразие, и Ирина была таким разнообразием. Сначала страдала, негодовала в душе, когда очередной мужчина исчезал, а потом как-то привыкла, что ли. Смирилась и послушно принимала предназначенные ей крупинки того, что называют любовью.

Не предохранялась. Хотела ребёнка. Кто будет отец — уже не имело большого значения. Но — и опять же это проклятое «но» — но забеременеть не получалось. Анализы показывали, что всё у неё в порядке, а вот — не получалось никак. То ли и в этом природа поставила на ней крест, то ли берегла для встречи с настоящим, со второй половиной, о которой так много повсюду написано, спето, рассказано.

Заботилась о Ключе, купила «ниссанчик», работала, ходила на спектакли в театр Коляды, на концерты. Случайно попала на выступление Вэла и сразу... Не влюбилась — это не то, — песни пронзили,

стали жить внутри отдельными запомнившимися строчками, мелодиями. Сразу, будто выпевшие семена попали в подходящую землю.

С тех пор вот уже лет пять она старалась не пропускать его концерты. Помогал сайт группы, информация от людей, с которыми знакомилась в зале, на квартирах. Знакомилась, но почти не общалась: здоровались, обменивались вопросами и новостями, демонстрирующими товарищество, но не требующими долгих обсуждений. Потом садились рядом, если был квартирник, вставали поближе к сцене, если большой концерт, слушали.

Ирина заметила, что у Вэла часто лопаются струны, и стала покупать их, брать с собой на всякий случай. Иногда пригождались. В такие моменты она чувствовала себя нужной, значительной и счастливой и радовалась, когда Вэл или кто-то из его музыкантов, поклонников группы восклицал при встрече:

— О, привет, Девушка со струной!

...О том, что Вэла сбила машина, узнала на следующий день — прочитала на сайте. И бросилась в больницу. Не пустили. Она и не рвалась — как бешено мчалась через полгорода, наверняка нахватав штрафов, так сразу притихла, лишь врач отчеканил:

— К нему нельзя.

Притихла, точно её прибили, стукнули по макушке. Но врач спасительно добавил:

— Жить, наверное, будет. Только в каком виде — вопрос.

«Хоть в каком», — отозвалось в ней, и она удивилась этому голосу. До сих пор не видела и не представляла Вэла иначе как поющим и играющим на гитаре; она не тусовалась с ним после концертов,

не сидела в кабаке «Штаб» или рюмочной «Маруся». А сейчас вдруг осознала, не умом, а чем-то более важным в ней, что он дорог, необходим ей хоть какой. Пусть будет как Ключа или алоэ на подоконнике.

Приезжала в больницу по два раза в день: в обеденный перерыв и вечером. Сидела сначала у дверей реанимации, потом в самой реанимации у двери палаты, заглядывая внутрь на мгновение, когда входили или выходили врачи и медсёстры. Потом её стали пускать в саму палату на две минуты, на пять, на десять — не потому, что Вэлу становилось лучше, просто к ней привыкли или жалостью прониклись, а может, уважением за терпение.

Иногда приходили музыканты, вечно испуганные и робкие, толклись в коридоре; раза три в неделю Ирина встречала ту, что его сбила. Высокая, поджарая, но при фигуре, симпатичная. И главное — таких она теперь хорошо опознавала — с манком... Сталкиваться с ней не хотелось, и Ирина уходила, поворачивалась спиной. Не возмущённо-брезгливо, а так... Не хотелось быть поблизости. А та вряд ли её замечала — была поглощена разговорами по телефону, наблюдением за Вэлом. Явно ожидала, когда он очнётся, чтоб что-то ему сказать. Да ясно что...

Ожидание продолжалось больше месяца. Врачи по-прежнему не могли определить, каким он вернётся. Тяжёлая травма головы, позвоночника. Про раздробленную левую руку и не упоминали — для них она была ерундой. Речь шла о том, сможет ли он ходить, будет ли человеком или окажется растением, животным.

Много раз казалось, что вот-вот вернётся. Приоткрывал глаза, вздрагивал. Врачи, Ирина бросались к нему, звали, но он снова уходил. На день, на неделю...

И вот на тридцать шестые сутки случилось. Вечером.

Ирина после своего дежурства на стульчике уже хотела ехать домой, как уловила шевеление на кровати. Смотрела в айфон, но краем глаза уловила. Когда многие дни там, прямо и справа, неподвижность, можно уловить самую слабую жизнь.

Опустила айфон, уставилась на Вэла. Он лежал на высокой подушке, почти сидел. Во рту трубка, глаза закрыты, щёки в золотистой щетине — его брили, но нечасто, — на голове узкая полоса бинта, закрывающая шов после трепанации. Этот шов — как венчик на покойнике...

Долго, холодея от страха и надежды, всматривалась. Однообразно попискивал аппарат контроля гемодинамики — за этот месяц Ирина выучила много больничных слов, — не замедляясь, не ускоряясь. И, когда она решила, что померещилось, поднялась и потянулась к висевшей на крючке сумке, Вэл подбросило. Он громко, булькающе задышал; пунктирный писк аппарата превратился в верещание, такое бешеное, что Ирина присела. А потом выскочила в коридор.

Из дежурки уже бежали врачи, медсёстры.

Позже Вэл рассказывал, что, очнувшись, вынырнув, первым делом удивился: «Мощно я вчера погулял», — а когда увидел провода, почувствовал трубку, царапающую горло при попытке проглотить, хотел вскочить, побежать. Сил, говорит, в тот момент было немерено.

Его окружили, прижали к койке, изучали глаза. Сначала видели в них дикое безумие, затем, начав успокаивать, объяснять, где он, что с ним, заметили отзвук, мысль и определили:

— Человек.

Ирина стояла за стеной белых спин, хватала слова врачей и, когда слышала это — «человек», — заплакала. Без рыданий, тихонько...

С этого пошло быстрое, удивлявшее врачей выздоровление.

— Молодость, — пытались объяснять они больше самим себе, чем Ирине, парням из группы, Ольге. — И от природы организм крепкий — затягивает, срастает.

Через неделю Вэла перевели из реанимации в общее отделение. Выделили отдельную палату, наверняка благодаря семье Ольги — они были реально богатыми. Ещё через несколько дней он попросил перевести денег его маме — у него была какая-то сумма на карте; Ирина перевела свои.

— Не сообщать, что с тобой? — спросила.

— Не надо. Потом, может. Или сам сгоняю попроведаю.

Он сказал это, лежащий на койке, с громоздким аппаратом Илизарова на синеватой руке, с загипсованной ногой, корсетом на поясице, бинтом на голове. И Ирина задышала, глотая набегающие слёзы. Не надо показывать, что не верит, что он когда-нибудь будет «гонять».

Сняли аппарат, потом гипс с ноги; Вэл стал пробовать ходить. Медленно, поддерживаемый с двух сторон. Его почти таскали, но ноги передвигал, спину держал прямо и в то же время с явным напряжением, как старающийся не горбиться старик.

— Ничего, ничего, — приговаривал лечащий врач Борис Львович, — раз разработаем. Главное — нервы целы.

Вэл пытался улыбаться, хотя это плохо получалось — губы кривились. Левая рука приводила его в отчаяние: кости и сухожилия срослись, а двигать кистью удавалось с большим трудом, пальцы шевелились как у робота — рывками. Не разрабатывались. Он стонал.

— Больно? — спрашивала Ирина.

— Было бы больно... Как чужая, блин...

В начале октября заговорили о выписке. Другого наверняка бы выписали раньше, но за Вэла платили — администрации не было резона выставлять его быстрее на улицу. И всё-таки больница есть больница, а дом есть дом. Домой ему хотелось.

Но где был дом Вэла? Не вписки, не съёмная конурка, не материна изба, а дом...

Перед выпиской кругом самых близких ему — музыканты, несколько фанов — собрались в кабаке «Штаб», где когда-то Вэл пил пиво после концертов. Собрались, и как-то никто не выражал желания поселять его у себя. Мялись, вздыхали, утыкались взглядами в беззвучно работающие телевизоры на стенах или просяще смотрели друг на друга... И Ирина, словно проснувшись, обнаружила, что тоже мнётся, вздыхает, просит взглядом одного, другого... Встряхнулась, сбрасывая это мерзкое состояние, этот взгляд, и сказала:

— Если он захочет, я заберу. Комната свободная есть.

Все мгновенно обмякли, отвалились на спинки сидений. Прошелестели, как ветерок, выдохи облегчения.

Вэл согласился. Почти равнодушно, а может, безвольно. Наверняка ожидал, что возьмут к себе не бедствующие в квартирном смысле барабанщик или скрипач. Или снимут жильё, будут по очереди помогать. Общение, тусовки в щадящем режиме, попытки репетиций. А придётся жить у этой...

«Нет, — убеждала себя Ирина, будто думала не о себе, а о другой женщине, — у доброй, заботливой, но не из его круга. Она не сделает из своего гнездышка флэт, базу для реп».

«Флэт не сделаю, — отвечала. — А репетиции — почему бы нет».

«Репы и тусы — одно и то же. Не знаешь? Это не класс в музыкалке».

Внутренний спор обрывался, стоило посмотреть на Вэла. Как он ковылял, при каждом шаге оседая к полу; санитары, крепкие парни, держали, а так бы, казалось, осыпался, как груда обтянутых кожей костей... Левая рука была согнута в локте, пальцы висели щёткой.

Выписали. Довели до Иринино «ниссана». Усадили на заднем сиденье. В багажник положили сумку со скопившимся за эти месяцы скарбом. На Вэле был спортивный костюм нелепого голубого цвета с красными полосками, купленный Ольгой или её отцом; они обещали тренажёр-трансформер для восстановления мышц, укрепления позвоночника. Деньги присылать. И, надо признать, сдержали обещания: тренажёр грузчики привезли через два дня, приличные суммы падали на карту Вэла все семь месяцев, пока он жил у Ирины. Наверное, и потом падали — она точно не знала.

Как они прожили вместе эти месяцы? Как... Да хорошо прожили. Хорошо. По крайней мере Ирина.

Да, находилась в постоянном напряжении, но оно было каким-то благодатным, что ли, какое испытывают женщины с детьми. Вэл был её ребёнком.

Каждый день она ожидала от него нового: что вот сегодня он согнёт пальцы сильнее и легче, делает шаг шире и уверенней, сам, без помощи, переберётся через бортик ванны, добавит нагрузку на тренажёре ещё на килограмм...

Действительно, она ощущала себя матерью, а Вэла — ребёнком. Не сыном, не дочкой, а именно ребёнком. Ребёнком, который развивается, растёт, крепнет, но требует внимания и вызывает тревогу. Вдруг что.

Куклы, в которые Ирина очень любила играть в детстве, да и взрослой часто рассаживала вокруг себя, причёсывала, переодевала, — оживали только на время, когда ты проявляешь к ним внимание. Кот Ключа иногда удивлял — казалось, он вот-вот заговорит человеческим языком, сварит кофе, включит кондиционер, когда жарко, или хотя бы сам насыпет себе корма в миску, а не будет просить. Но он оставался котом, не больше.

Нет, кот — это немало, и всё же он никогда не сможет стать человеком. Кот останавливается у черты и не развивается дальше. А ребёнок — человек. Ребёнок меняется — то по чуть-чуть, на какой-то микрон, то вдруг скачком.

Вэл менялся. Всплывал, как он говорил, выше и выше.

— Знаешь, — объяснял медленно, с усилием, но с усилием не физическим, а с тем, когда стараются вспомнить, — я ведь не заметил, как меня... как сбило. Шёл, и чернота. И ничего. Ничего там не уви-

дел. А потом стал всплывать. На секунду, даже меньше. Раз, два, сто раз, наверно... Это очень... мучительно, в общем... Потом всплыл по-настоящему, но так — одно лицо здесь, а сам остальной там ещё... Я тогда как бы концами пальцев за жизнь зацепился. — Вэл смотрел на пальцы левой руки и ухмылялся. — Нет, наверно, зубами. Зубами зацепился. И теперь перехватываюсь всё дальше, выше.

Клюша вёл себя странно. Да нет, поначалу ничего: когда в доме появился немощный человек, он ластился к нему, осторожно ложился на колени. Пытался лечить. Ведь кошки, даже врачи признают, вытягивают из людей болезни. Но Вэл окреп, сделался почти хозяином здесь, и Клюша принял его за соперника. Тем более после того, как Вэл перебрался спать к Ирине.

Она закрывала дверь в спальню — Клюша противно мяукал и шипел, бился, скрёбся. Ирина не выдерживала, впускала, он заскакивал на кровать и ложился по центру, свирепо глядя на Вэла.

Раньше Ирина думала, что это байка — когда коты гадят в обувь неприятному человеку. А оказалось, правда. Клюша испортил тапки Вэла, исцарапал сидушку тренажёра, наделал затяжек на спортивном костюме. Был бы некастрированный, наверняка бы пометил всю квартиру.

Правда, однажды чудесным образом он перестал проявлять к Вэлу агрессивность. Но на Ирину продолжал смотреть без былого дружелюбия, как бы спрашивая: «Ну и когда он уйдёт?»

Спать они стали вместе примерно через месяц... Вэл пришёл и лёг рядом. Просто лёг, даже не погладил её. А Ирина чуть не заплакала. От какого-то не-

бывалого умиротворения. Так спокойно стало. Лежала и слушала дыхание человека. Родного.

Она знала, что он родной. А родные должны быть рядом, вместе. И секса не надо, поцелуев, обнимашек, ласковых слов. Вот так — вместе. Этого достаточно.

Все мужчины, которые бывали здесь, включая тех, с кем был приятен секс, кого она представляла мужем, вызывали раздражение. Раздражало, как они шлёпают тапками, сопят, вообще шевелятся, что трогают её вещи, посуду, жарят глазунью, варят кофе, занимают туалет... её пугало это раздражение, казалось, ни один мужчина не приживётся у неё, даже если будет её действительно любить. Она выдает, как нечто инородное.

И вот появился Вэл, и вот он всё уверенней хозяйничает, и раздражения не возникает. Наоборот, хочется, чтоб он коснулся всего, был своей частичей в каждой мелочи.

Заметила — после того как стали спать вместе, он начал по-настоящему крепнуть. Не только умом, а как-то весь захотел скорее вернуться к себе тому, каким был до больницы. Остервенело захотел.

Ирина боялась, что сделает себе хуже, организм не выдержит нагрузок. Снова сломается, на сей раз навсегда. Читала, парализованные или после травмы позвоночника, особенно молодые, почувствовав улучшение, часто торопятся и становятся инвалидами уже до конца жизни. У большинства — долгой и мучительной.

Вэл крутил педали, тянул железную трубку, поднимая всё более длинный столбик чугуновых или каких там кирпичиков, висел на турничке; подтягивался, приседал, отжимался, мял и мял эспандер, но больше всего времени проводил с гитарой.

## Девушка со струной

Репетиций не было. Вэл вскоре после выписки собрал было ребят, они попробовали, и тут же стало ясно, что пока рано: ни играть, ни петь он не мог.

Ему принесли дешёвенькую шестиструнку, и Вэл стал упражняться. Вернее, учиться играть заново. Сначала — по несколько минут. На большее не то чтобы не было сил — его убивала неспособность левой руки брать даже самые простые аккорды.

Но постепенно несколько минут разрослись до четырёх, шести, восьми часов. Бренькал — так сам называл эти упражнения, скрывая за мусорным словом обиду и досаду, — закрывшись в комнате, напевал поначалу хрипло и задыхаясь, а потом чище и звучнее свой хит:

Я смотрю на восток:  
Заря прогоняет тьму.  
Ночь не останется здесь,  
Я никогда, никогда не умру.

Бетонным тучам меня  
Не поймать, не согнуть.  
Пوماши мне рукой —  
Я отправляюсь в мой путь...

Ирина замирала у двери, слушала, мысленно помогала.

Помогать хотела и делом, тем главным делом, для которого природа создала её женщиной. А Вэл вряд ли в ней сильно нуждался. Да, спали вместе, но почти всегда именно спали — лежали рядом.

Сначала она объясняла себе: он всё-таки болен, истощён; потом поняла: как женщина она ему неинтересна. Иногда случалось, мужчины без этого дол-

го не могут, но происходило без страсти, без рассыпи поцелуев. Это напоминало онанизм, в котором собственную руку заменяет другой человек.

Тогда и стала себя убеждать, что секс — не главное. Они ведь родные. Не по крови, а по чему-то большему. Секс только принижает, грязнит эту их высокую родственность. Убеждала, понимая, что обманывает. Секс в таких отношениях необходим: мужчина и женщина примерно одного возраста не могут быть только друзьями, их должно влечь друг к другу. Если они это влечение по одной из многих причин подавляют, это, наверное, правильно, а если кто-то из двоих его не испытывает, то это не дружба. Признательность, благодарность, симпатия, но не дружба. Вэл не испытывал.

Наутро после близости он был мрачен, стеснялся её, почти весь день проводил в комнате. Зато когда просто спали рядом, поднимался бодрым, приветливым, весёлым. Они завтракали, шутили, Вэл рассказывал забавные случаи из гастрольных кочеваний, а потом шёл к себе и занимался на тренажёре или мучил — опять же его словцо — гитару. Но вечером делался раздражительным, явно томился, не находил себе места. И в итоге ложился к ней в кровать.

В конце зимы стал выходить из дома. Сначала — вместе с Ириной, затем — один. Сидел на скамейке, как старичок, гулял по детской площадке, делал одно, другое подтягивание на турнике.

В середине апреля первый раз поехал в центр. Ирина хотела его сопровождать, он отказался:

— Не надо. Я на такси. Постою на Плотинке, погуляю там...

Вернулся тихий, но светящийся радостью, будто выполнил трудную необходимую работу, прошёл сложное испытание.

Перед сном объявил:

— С пятницы начинаем репять.

— Правда? — Ирина прижалась к нему. — Классно!

Да, она была рада. Искренне рада. И одновременно испугана; в голове застучало как метроном: «Ну вот. Ну вот. Ну вот».

Ну вот и заканчивается их жизнь вместе. Вдвоём. Вэл вырос — окреп — и готов вылететь из гнезда. Хорошо если круг сделает перед тем, как исчезнуть.

«Куда он исчезнет, — с горьковатой усмешкой, но усмешкой там, за губами, внутри, успокоила себя. — В городе останется, и всё продолжится, как до аварии».

Наверняка продолжится. Он будет поблизости. Но нынешний, её домашний Вэл исчезнет.

И через недели две случилось. Надо же было совпасть им на том перекрёстке Ленина и Мамина-Сибиряка. Хоть и центр, но Ирина без машины не бывала там ни разу за последние годы — не её маршрут, — и вот оказалась. «Ниссан» сдала на переобувку, смену масла, диагностику после зимы, а сама решила проверить, так ли хорош новый маникюрный салон, который все хвалили.

Маникюр ей понравился, и ещё мелькнула мысль, что Вэл заметит, похвалит. Шла такая радостная к трамвайной остановке — давно не каталась на трамвае. Тепло было, хорошо. И тут увидела Вэла и девушку.

Сначала подумала, что та самая Ольга. Тоже светлые волосы, тонкая фигура, отшлифованное личико... Нет, эта была моложе, взгляд наивный

и счастливый, щёки пухлые и тугие, как бывает только в юности. И у Вэла счастливый взгляд. Он что-то увлечённо сыпал, быстро-быстро, без всякого усилия. Ирине он никогда вот так ничего не рассказывал — даже шутки, забавные ситуации всё равно получались у него с пробуксовкой. Она объясняла это травмами, слабостью.

Они выходили с бульвара на перекрёсток, а Ирина двигалась им наперерез.

Сейчас Вэл оторвёт от этой взгляд — нужно ведь будет переходить улицу — и наткнётся на неё. Ирина резко развернулась, встала к ним спиной. Сделалось странно неловко, точно это она совершила плохое и её сейчас поймают... Да, он вполне может решить, что следит. А она не следит. Случайно. Или это судьба такая — получать удары на улице: тогда про манок услышала от шедших рядом тёток, теперь это...

Не заметил, прошли мимо, перебежали на красный свет через Ленина, повернули направо в сторону Исети. Там, на набережной, сейчас много людей. Много счастливых людей. Гуляют после рабочего дня. А она... Она одна снова.

Вэл пришёл домой вечером. Не поздно, часов в девять. Сперва выглядел обычно, но, кажется, заметил что-то в Ирине, изменился.

— Слушай, я сказать хотел... — Присел к столу на кухне, за которым она пила чай, а вернее, делала вид, что пьёт: нужно было показать, что у неё всё хорошо — заварник с цветочками, джем, печенюшки в вазочке; бергамотом пахнет, клубникой...

— Да? — Она изобразила удивление. — Что-то случилось?

— Да нет, не случилось... Мне просто... — Вэл мялся, скулы подрагивали от желания и боязни про-

изнести важное; ей вспомнился он тот, в реанимации, скулы у него подрагивали так же, но тогда от отсутствия сил, физических сил. — В общем, пора мне, Ир. Извини, ухожу, в общем. Пора.

Встретились взглядами. Его глаза просили: «Можно?» Её — она хотела верить — были спокойны. Мудры. Внутри, конечно, kloкотало, но как-то не очень. Она думала, будет больнее, будет так, что не сдержится... Нет, сдержаться не требовало больших усилий... Может, если бы он не сказал этого, а пошёл играть на гитаре, вечером лёг с ней рядом, она бы взорвалась, превратилась в визжащую бабу. А может, и нет.

— Знаешь, я с девушкой познакомился... У нас, — Вэл заторопился, — у нас не было ничего. Да. Но я... я влюбился, по ходу... Нет, не в этом дело. Пора просто. Извини, Ир.

«По ходу» вставил наверняка специально. Мог бы другое слово подобрать, но выбрал это. Из тусовочного лексикона. «По ходу», «в натуре», «кайфово»...

— Понимаешь, Ир?

— Да, я понимаю. — Она услышала, что голос у неё деревянный; кашлянула, кивнула на чайник: — Будешь?

— Не хочу... Я тебе очень благодарен, Ир. Очень, без дураков! Если б не ты... Я тебе песню посвящу — я уже начал писать. Девушка со струной. Это ведь метафора целая... Ир... Спасибо тебе.

Он взял её руку, сжал в своей и отпустил.

— Я пойду.

— Конечно.

— Да?

Её развеселило это детское «да?», и давящее на плечи, сгибающее спину в горб свалилось.

— Володя, что ты спрашиваешь? Как маленький. Можно, конечно. Я рада, что ты здоров. Что вернулся. Мне было хорошо эти месяцы, точнее, мне это было нужно. Я поняла, что я сильная.

— Ты сильная, Ир, — с готовностью подтвердил он, с излишней даже готовностью. — Ты удивительная. — Снова взял её руку, щупая пальцами костяшки, перебирая их, как чётки. — Я и не знал, что такие бывают. Правда! Все ведь, знаешь... Не знаю... Спасибо тебе.

Собрался он быстро. Гитару, тренажёр оставил. «Потом, может, ладно?» Через десяток минут стоял в прихожей с рюкзаком на плече... Ирина вспомнила, что рюкзак он купил с неделю назад. Она тогда не поняла зачем — решила, просто понравился.

— Да, я признаться хочу, — сказал после того, как они не очень-то крепко, как знакомые, обнялись. — Я тогда твоего кота побил. Ну, когда он совсем уж... И пообещал, что уйду скоро. И он перестал...

Ирина улыбнулась и кивнула. Поцеловала его в щёку и толкнула к двери.

Он вышел, растерянно постоял на площадке, будто забыв, где что, а потом торопливо пошагал по лестнице. Лифт вызывать не стал.

Ирина закрыла дверь, повернулась лицом к квартире. Двухкомнатной и тихой. Но что-то где-то мягко шлёпнулось, и из спальни, подняв хвост, выбежал Ключа.

### 3

Двадцать пятого мая в клубе «Дом печати» группа Вэла давала первый концерт. Не сольный — выступала перед знаменитой «Курарой», — но всё равно это

## Девушка со струной

было событием. Настоящим возвращением, считай, с того света или уж точно из тюрьмы инвалидности. Мало кто верил, и вот случилось.

Ирина, конечно, пошла.

Во дворе торчали знакомые и незнакомые, одни традиционно обсуждали внешность вокалиста «Курары», другие — ту уже давнюю аварию, удивлялись, как Вэлу удалось выкарабкаться. Некоторые были в курсе — как — и приветливо-благодарно кивали Ирине, шёпотом, слышным ей, объясняли, кто это...

Стали запускать. Ирина купила билет, пробралась ближе к сцене. Постояла, оглянулась — зал был почти полон. Наверняка из-за Вэла.

На сцену вышли барабанщик, басист, скрипач. Занялись инструментами. Сыграли короткий джем, заодно подстраиваясь. Потом появился Вэл. Такой же, как год назад. Высокий, с золотистыми прядями, крепкий, сильный. Легко поднял прислонённую к монитору гитару, перебросил ремень через плечо, поправил микрофон и стал говорить:

— Как вас много. Спасибо! Я вернулся, чуваки!

В зале радостно засвистели, заулюлюкали, захлопали. Вэл остановил шум поднятой рукой.

— Я хочу поблагодарить вас всех, что верили в меня, не забыли. Я хочу сказать спасибо Ирине, которую многие из вас знают как Девушку со струной. Если бы не она... Она меня спасла, короче. Реально. Я хотел написать о ней песню, но пока не нашёл таких слов, чтоб выразить. Я просто хочу сказать ей: «Девушка со струной, спасибо, что я живой!» Спасибо, Ирина... А сейчас — наши старые и новые вещи. Поехали!

Ирина стояла внизу, в толпе, и улыбалась.

## Полчаса

**З**а занавеской, в подсобке, однокурсницы резали подарочные члены и ржали. Посетители, молодая красивая пара, подозрительно косились в ту сторону — наверняка думали, что за ними подсматривают. Татьяна отогнула занавеску:

— Девки, хорош беситься. Всех мне распугаете.

Женька и Славка подавились смехом, закивали: да-да, больше не будем. Но глянули на тарелку с сочно-фиолетовыми кружочками и заржали снова. И снова подавились.

— Выгоню ведь.

— Всё, молчим, Тань, прости.

Ну, не выгонит она их, конечно. Куда им — в общагу? Пусть лучше здесь. Напьются чаю, наедятся...

Ещё до того как Татьяна сюда устроилась, хозяин привёз несколько коробок мармеладных пенисов и велел раздавать их бесплатно. И тем, кто сделает покупку, и тем, кто пойдёт к выходу пустым. «Дарите, ничего страшного. Может, потом появится

желание ещё заглянуть. Глядишь, и завсегда тем станет».

Но от подарочных членов почти все отшатывались, как от заразы. Вот-вот срок годности кончится. И Татьяна скармливает их общаговским однокурсницам. Те вечно голодные.

С собой брать запрещает. Только здесь. У них ума хватит бегать с ними по институту. Поймают: это Татьяна дала? И без этого неудобно, что здесь работает. С радостью бы уволилась, но где возьмут студентку на четыре часа по три раза в неделю...

Наблюдала за парой. Да, красивые, будто кем-то специально подобранные друг к другу. По одному стандарту.

Обычно ведь как: он плотный, квадратный лысун, а она тощая, патлатая, или же она коренастая, низкопопая, с короткой стрижкой, он, наоборот, поджарый, высокий, вихрастый. Да, природа соединяет таких, прилепляет, чтоб разнообразить породы. И лишь иногда попадаются вот такие двое — он и она, — на которых просто любишься, не завидуя, не раздражаясь, а тихо удивляясь, как произведению искусства.

Лет слегка за двадцать, обручальных колец нет на пальцах. Это сейчас ни о чём не говорит, но, кажется, они действительно не женаты. Но живут наверняка вместе. Встречающиеся на несколько часов вот так уверенно-спокойно друг друга не обнимают — он её за талию, вернее, чуть ниже, там, где крестец, а она его за плечо: длинную пухлую руку выше локтя прижала к спине, а кисть лежит на его плече. Пальцы слегка смяли рубашку.

Одеты в таком слегка ретростиле: на ней приталенное, в крупную розу, платье с пышным подолом,

полуботинки с ремешками, на нём бежевая рубашка с коротким рукавом, чёрные брюки со стрелками, чёрные лакированные туфли.

Медленно двигаются вдоль стены-витрины. Там игрушки, аксессуары, приспособления, предназначенные для так называемого разнообразия интимной жизни. За некоторые Татьяне стыдно, и, будь её воля, выбросила бы их на свалку или лучше сожгла. Но кое-что наверняка полезно, когда просто тело партнёра уже стало... Нет, не надоедать, а... У Татьяны было мало парней, самые длительные отношения уместились в полтора месяца, поэтому сформулировать для себя, зачем люди приобретают трусы из кожама или хлыстики, наручники, прозрачные туфли на высоких подошве и каблуках, в которых ходить невозможно, она пока не могла. Но зачем-то им это нужно.

Куда понятней потребности одиноких гастарбайтеров, прибегающих сюда за определённым фрагментом женского тела. Точнее, его имитацией, сделанной из резины разной плотности.

А чулки и колготки здесь, кстати, хорошие, крепкие. Татьяна иногда покупает себе...

То он, то она что-то друг другу без смешков, шёпотом говорят, кивают. Она чуть смущённо улыбается, он серьёзен, глаза иногда вспыхивают, и ему приходится скорее гасить этот огонь... Наверняка у них появились первые признаки пресыщения, точнее, возникло желание попробовать что-то новое. И они зашли сюда.

Татьяна не спрашивает: «Я могу чем-то помочь?» Знает по опыту: людей это всегда смущает, они начинают нервничать и обыкновенно уходят ни с чем. Приставучий продавец в любом магазине вреден, а у них он просто губит всю торговлю.

Эти и так не то чтобы смущены, но стеснены. Кроме Татьяны, в зале ещё две девушки в белых халатах и шапочках с красным крестиком. Их можно принять за кукол для эротических игр, но они живые — они делают экспресс-тесты на ВИЧ.

Акция проходит по всему городу. Хозяина их магазина эта новость застала здесь — позвонили по телефону. Сначала он испугался и возмутился: «Никакого СПИДа у меня тут! У меня радость, а не болезни». Но ему что-то долго говорили в трубку, и он сдался: «Социально значимо... гражданская ответственность... Ну хорошо. Только пускай сразу не бросаются со шприцами своими. У меня покупатель пугливый».

— Славка, блин, да не суй ты мне эту залупь! — слышится из подсобки.

Татьяна отгибает занавеску, сверкает глазами на девок. Те корчатся от сдавленного хохота. Угорают прямо. На тарелке лежат два полукруглых куска мармелада — концы пенисов.

— Выгоню! — шипит Татьяна и оборачивается в зал.

Пара перешёптывается активнее; Татьяна пугается, что выкрики и смех достали девушку и молодого человека и они сейчас уйдут.

Но те подходят к кассе. Говорит молодой человек; девушка блуждает взглядом по сторонам, не желая встречаться с Татьяной глазами.

— Нам, пожалуйста, презервативы «Ситабелла», что ли... которые с усиками. И ещё смазку ту, вон там.

Татьяна кивает. Никакой улыбки, всё должно быть сдержанно, корректно. Выходит из-за прилавка, открывает сначала одну витрину, берёт презервативы, потом другую — где пузырьки со смазкой.

— Простите, эту?

— Левее...

Конечно, мелочи, копейки. Но хоть что-то. Будем надеяться, это пробный шар, разведка боем. Сейчас поймут, что всё нормально, никто их не кусал, и зачистят.

Возвращаются к кассе, Татьяна сканирует товары, называет цену и спрашивает:

— По безналу?

— Да.

— Прикладывается?

— Да. — Молодой человек кладёт карту на дисплей терминала.

Выползает с пощёлкиванием чек. Татьяна отрывает и подаёт его молодому человеку. Теперь можно и улыбнуться:

— Спасибо за покупку! Ждём вас ещё.

— Непременно. — Его не радует её гостеприимство — наверняка он был бы рад, если бы вместо живого человека здесь торчал робот.

Впрочем, многие сейчас предпочитают таким вот магазинам интернет. Выбрал, заказал, получил на почте. И адреса не надо, достаточно абонентского ящика. Никакого личного общения... Скоро магазины наверняка позакрываются. И так их осталось наперечёт.

— Господа, — произносит одна из куколок, — повериться не желаете?

Пара притормозила.

— На что?

— По всему городу проходит акция экспресс-анализа на ВИЧ. Десять минут вашего времени — и вы обретаете уверенность.

— Нет, спасибо.

— Очень жаль. У нашего города сложилась репутация столицы ВИЧ в России. Мы пытаемся её разрушить. В прошлые выходные анализ сдали мэр, популярные рок-музыканты, артисты...

— А это бесплатно?

Куколка воодушевилась:

— Совершенно! Более того — за участие в акции вы получите значки «Я свободен от ВИЧ» и приглашение на субботнюю пробежку с мэром.

Мэра в городе уважали, побегать с ним собиралось по несколько сот человек.

— Что, Мариш, проверимся? — усмехнулся молодой человек.

— А больно?

— Вы что! При нынешних технологиях боль совершенно исключена. Мы проводим анализ по слюне.

— В смысле «по слюне»?

— Да, теперь не обязательно сдавать кровь, — распаковывая коробочку цвета морской волны, стала объяснять куколка; другая готовила второй тест.

Татьяна зашла в подсобку — в зале она теперь бесполезна, а если кто-то войдёт, услышит: над дверью висят колокольчики фэншуй.

Женька и Славка сыто отвалились на спинки стульев. Тарелка пуста — и концами в итоге не брезгнули...

— Спасибо, Танюш.

— Да не за что. Берегите себя.

— В смысле?

— Ох, разнесёт ведь с такого количества...

Девки, конечно, мысленно тут же добавили к её словам неприличное название того, что они сейчас съели, и заржали.

— Тихо! — Татьяна присела на стул, глянула в телефон. — Ещё два часа до смены. Спать хочу...

Славка предложила:

— А пойдёте в «Марусю».

— И что там делать без денег? — отозвалась Женька.

— Ну стопудово кто-то знакомый тусит. Угостят.

Татьяна укоризненно покивала:

— Поели — захотелось бухнуть...

Хоть и ровесница, она действительно ощущала себя старше их. Может, из-за того, что родилась и выросла здесь, в столице области; они же приехали из своих городочков и резвились, как щенята на воле. Может — да скорее всего, — что училась на режиссёрском отделении, а они — на актёрском. Уже сейчас, в начале второго курса, это выражалось в мелочах: одни играли, другая следила, чтоб не заигрывались.

— Почему сразу выпить? — Славка сделала вид, что обиделась; распустила пухлые губы. — Поговорить, людей послушать, потом в этюде использовать.

И Татьяна дребезжаще ответила:

— Не верю-у-у.

Девки с готовностью покатались со смеху.

— Да ну! Чего вы парите?! — слышалось из торгового зала. Голос молодого человека, но какой-то другой, без вежливо-ироничных нот — недоумённо-возмущённый.

«Ещё скандала не хватало». Татьяна вскочила, вышла к прилавку.

Молодой человек и девушка рассматривали пластиковые палочки тестов, а куколки испуганно хлопали глазами.

— Вообще-то ложноположительная реакция допустима, — тоненько произнесла одна, — но, извините, маловероятна.

— Да это чушь, понимаете! — Молодой человек бросил палочку на стол. — По слюне они СПИД определяют.

— ВИЧ...

— Вам вообще бы лучше молчать. Ясно? Мариш, — он взял девушку за локоть, — пошли отсюда.

— Если хотите, — куколка не сдавалась, — можно сделать повторный анализ. Взять кровь... Это не больно. — Вынула из-под стола две коробочки; на сей раз они были фиолетово-белые. — Чтоб развеять сомнения.

Татьяну удивило её самообладание — наверняка ведь впервые столкнулась с такой ситуацией — и вот, продолжает работать.

— Пошли, — тянул девушку молодой человек. А та оторопела, не могла оторваться от палочки.

Он тянул, она стояла. Длинные крупные икры напряглись, появились бугорки мышц — такую действительно не так просто сдвинуть с места.

— Мари-иш!

Она трудно, тягуче отлепила взгляд, но посмотрела не на молодого человека, а на куколок.

— Давайте сделаем.

— Да я говорю, чушь! В секс-шопе они тут будут клинику устраивать. Не надо. Пошли, мы же в «Пиццу-мию» хотели...

— Серёжа, перестань. — И, высвободив руку, она протянула её куколкам.

А в тех уже проснулись медсёстры: ловко открывали коробочки, разрывали упаковки.

— Я не буду, — сказал молодой человек, — ещё реально заразиться тут не хватало.

— Сергей!

И он послушно положил ладонь на стол.

Татьяну толкнули сзади. Оглянулась: девки. Выбрались из подсобки. Загонять обратно не стала — теперь никому до них нет дела, а хихикать они вряд ли станут. Не совсем же дуры.

Молчат, не спрашивают. Значит, поняли.

— Нагоняем кровь, — приговаривала куколка с тонким голосом, хотя теперь он уже был не тонкий, а успокаивающе-мягкий и одновременно тревожный. — Так, пальчик покраснел. Теперь... — Щелчок, напоминающий звук степлера, следом второй. — Вот и всё. Смачиваем индикатор...

— Какой-то тест на беременность, — хмыкнул молодой человек, но голос дрожал, негодование и сарказм в нём словно выгорели, осталась лишь показная весёлость, скрывающая страх.

— Хороший тест. Почти стопроцентная точность.

— Да уж...

Стояли, ждали. Пара, куколки, Татьяна, девки. Даже разноцветные аксессуары, приспособления, игрушки, казалось, наблюдали за людьми.

Татьяна сейчас хотела одного — чтоб никто не вошёл в магазин. Не нужны лишние. Чем меньше... И вообще-то не надо здесь стоять — ни ей, ни девкам. Уйти в подсобку. Спрятаться.

Но не уходила. Смотрела на широкую спину девушки, на розоватые ноги без колготок — начало октября, а тепло, почти лето... Туфельки хорошие, Татьяне такие нравятся: сзади ромбик блестящей кожи, стопа почти вся открыта, а пальцы под остреньким кожаным колпачком. Голень обхваты-

ваает тонкий ремешок; каблук небольшой, напоминающий ножку коньячного фужера. Или бокала. Как правильно?... Да, каблук небольшой, поэтому между пальцами и ступнёй нет излома. Ей неприятно, когда слишком высоко, а эти — как раз... В «Успенском» видела подобные. Дороговаты... Но если подкопить... Хоть бы скорей кончилось... И разошлись...

Одна из куколок то и дело поглядывала на часы. Потом слегка наклонилась, придерживая шапочку с крестиком, и отшатнулась. На какой-то сантиметр, но все заметили. И одновременно вздрогнули. А она продолжала стоять так, полусогнувшись, не поднимая лица.

— Что там? — спросила девушка.

И куколка, будто только ждала вопроса, как разрешения, резко выпрямилась. И сказала не горлом, не связками, а грудью:

— Две полоски.

— Х-хо! — вымученно насмешливый выдох молодого человека.

Девушка взяла один тест. Посмотрела. Положила обратно. Второй. Тоже посмотрела и положила. И обернулась к молодому человеку. Взгляд у неё был... У Бергмана в одном фильме, а может, и не у Бергмана, герой убивает подругу. Вонзает нож в грудь. И она так на него смотрит: вопросительно, незащитно... нет, с каким-то таким сначала детским доверием, а потом детской обидой: я была вся твоя, а ты... И взгляд затухает, затухает...

Так затухал взгляд и у этой. Глаз молодого человека Татьяна не видела, но по спине — спина сгибалась, обвисала, жухла — понимала: жизнь уходит и из него. Или как там? Дух выходит, душа...

— Ты ведь первый, — сказала девушка тихо, но так отчётливо и чисто, пронзительно, что Татьяна содрогнулась и во рту стало горько. — Первый и единственный... Как же...

— И ты у меня одна, Мариш. Правда одна. Честно.

— Как же...

— Это ошибка. Надо ещё...

— Серёжа...

— Если было, до тебя только. Клянусь.

Она словно не слышала, повторяла:

— Как же... Серёжа... Как же теперь...

Он взял её за руки. Она не отдернула. Тихонько потянул. Она медленно, как падающее дерево, привалилась к его груди. Он её обнял. А сам продолжал уменьшаться, вянуть. И она.

Постояли так. И он повёл её к двери.

— Извините, — позвала куколка. — Нужно выписать направление. Пойдите...

Они продолжали медленно уходить. Нет, не шли, а плыли. Их больше не окликали, не останавливали. Не решались.

Татьяна чувствовала: необходимо задержать, поставить на учёт — такие должны быть под наблюдением... Но как это сделать? Оббежать, встать в двери? Не пускать? Это ужас какой-то будет.

Он с видимым усилием потянул дверь на себя. Нежно запели колокольчики. Цепляясь руками, ногами, они пропихнулись на улицу. Дверь поползла обратно, снова колокольчики. Закрылась...

Полчаса назад сюда вошли сильные, полные жизни самец и самка, а вышли сторбленные, немощные старики. Поддерживающие друг друга, чтоб не упасть.

**В книге использованы цитаты  
из публикаций в СМИ:**

**Газета «Известия»**

<https://iz.ru/876774/2019-05-10/rossiia-napravila-zamechaniia-v-nasa-iz-za-zapakha-spirta-na-bortu-mks>

**Сайт телеканала «Матч ТВ»**

[https://matchtv.ru/football/matchtvnews\\_NI1018648\\_Vpervyje\\_v\\_istorii\\_v\\_jevrokubkah\\_budut\\_dva\\_anglijskih\\_finala](https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1018648_Vpervyje_v_istorii_v_jevrokubkah_budut_dva_anglijskih_finala)

**Газета.Ru**

<https://www.gazeta.ru/social/2019/05/10/12348211.shtml>

**Радио «Эхо Москвы»**

<https://echo.msk.ru/news/2423707-echo.html>

**Радио «Эхо Москвы»**

<https://echo.msk.ru/news/2422503-echo.html>

**Газета.Ru**

[https://www.gazeta.ru/culture/2019/05/11/a\\_12349477.shtml](https://www.gazeta.ru/culture/2019/05/11/a_12349477.shtml)

**Проект «Архив»**

[https://archive.ru/publications/1885-Pushkin\\_v\\_tvorchestve\\_Ajvazovskogo\\_dva\\_genija\\_v\\_voprosakh\\_i\\_otvetakh](https://archive.ru/publications/1885-Pushkin_v_tvorchestve_Ajvazovskogo_dva_genija_v_voprosakh_i_otvetakh)

# Содержание

<i>Валерия Пустовая. Моглосьь</i> .....	5
Немужик .....	9
А папа? .....	58
Функции .....	85
Сюжеты .....	97
Очнулся .....	109
Ты меня помнишь? .....	121
Долг .....	151
В залипе .....	176
Петля .....	263
Девушка со струной .....	337
Полчаса .....	370

*Литературно-художественное издание*

**Сенчин Роман Валерьевич**

**ПЕТЛЯ**

**Повесть, рассказы**

16+

Главный редактор *Елена Шубина*

Выпускающий редактор *Вера Котылова*

Художественный редактор *Елисей Жбанов*

Корректоры *Надежда Власенко, Ольга Грецова*

Компьютерная вёрстка *Елены Илюшиной*



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 19.03.20. Формат 84х108/32.

Усл. печ. л. 12,6. Тираж 3500 экз. Заказ № 3556.

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, Россия, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15

Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru) Электронная почта (E-mail) - [sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru)



Общероссийский классификатор продукции  
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации  
Изготовлено в 2020 г.

ООО «Издательство АСТ»  
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705,  
пом. I, 7 этаж  
Наш электронный адрес: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

«Баспа Аста» деген ООО  
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме,  
I жай, 7-қабат  
Біздің электрондық мекенжайымыз: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)  
Интернет-дүкен: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».  
Қазақстан Республикасының импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.  
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике  
Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім  
бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының негізгі  
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.  
Тел.: +8(727) 2515989, 90, 91, 92, факс: +8(727) 2515812, доб. 107  
E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)  
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Роман Сенчин — прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», сборников короткой прозы и публицистики. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера» и «Национального бестселлера».

Тема этой книги — перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая людей в среднем возрасте. Добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, они чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Он вторгается в границы чужого опыта с серьёзным намерением его прожить — да ещё в самых тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах.

ВАЛЕРИЯ ПУСТОВАЯ